

С. Голубков

**В ФАШИСТСКОМ
ЛАГЕРЕ СМЕРТИ**

*воспоминания
бывшего
военнопленного*

*Смоленское книжное
издательство 1963*

После выхода этой книги в 1958 году издательство получило свыше двух тысяч писем.

Письма приходили с севера — из Архангельска и с юга — из Астрахани, из центральных наших городов — Москвы, Ленинграда, Воронежа и с Дальнего Востока, из Калининграда и далекой Якутии.

Писали бывшие узники лагерей смерти, подобных Рославльскому, и школьники, солдаты и матросы, целая группа учителей, библиотечные работники. Многие письма — от родственников погибших в фашистских застенках.

Во всех письмах содержалась просьба — переиздать книгу, чтобы еще больше советских людей узнали о том, что такое фашизм, поняли, какой дорогой ценой заплачено за мир.

Очень хорошо об этом написали учителя из поселка Тура Эвенкийского национального округа:

«У нас не было войны. Мы не видели ее ужасов и, прочтя Вашу книгу эвенкам, мы слышим от них одно: что нам сделать, чтобы не допустить повторения новой войны и создания подобных лагерей? На это мы им говорим: трудиться и еще раз трудиться».

Пусть же новое издание книги послужит этой благородной цели — трудиться во имя мира, во имя счастья советского народа!



Сергей Иванович

ОТ АВТОРА

Во время Великой Отечественной Войны Советского Союза мне пришлось пережить ужасы фашистского плена в одном из рядовых немецких концлагерей. С течением времени все страшное постепенно сглаживалось, забывалось.

Однако теперь, когда американские империалисты вновь раздувают пожар новой мировой войны, размахивают водородной бомбой, пестуют гитлеровских изуверов и даже ставят их во главе армии Западной Германии, когда заплечных дел мастера вновь готовятся к походу на Восток, я не могу молчать.

Покрывая захваченную территорию Европы, в том числе и оккупированную часть нашей страны многочисленными концлагерями, немецкие фашисты предполагали через такие лагеря профильтровать человечество, уничтожить наиболее сознательную, стойкую его часть, а у остальных сломить волю к сопротивлению и превратить их в своих рабов.

Точно такую же цель ставят перед собой американские фашисты, усиленно стараясь развязать новую мировую войну.

В концлагере мне пришлось встретиться со многими советскими людьми, попавшими в тяжелую беду. Советские люди сломлены не были. Они активно боролись против оккупантов и в невероятно тяжелых условиях. Даже смертью своей советские люди призывали живых к борьбе.

Все это мне хотелось показать в своих записках. Правда, с течением времени многое мною забыто, выветрились из памяти имена, фамилии. Но преданность советских людей своему народу, своей Родине не может быть забыта никогда.

И еще одно небольшое замечание. В своих записках мне пришлось писать и о людях, в поведении которых нельзя было обнаружить ничего человеческого. Это, прежде всего, лагерные полицейские, вербовавшиеся немцами из отбросов общества. Их действия не характерны для наших людей. Но писать о них пришлось, потому что эти люди жили в нашем обществе и в какой-то мере мы все несли за них ответственность. Нашему обществу нужно изучать и нетипичное, чтобы не допустить повторения его в дальнейшем.

Этой книгой я хотел вложить свой скромный труд в дело мира. Нашим людям важно знать лицо фашизма, то ли это фашизм немецкий, то ли английский, то ли американский. Фашизм везде одинаков, и несет он человечеству разрушения, страдания, слезы, кровь, порабощение и истребление целых народов.



В ПЛЕНУ

Рано утром, очнувшись от забытья, я увидел около себя пятерых немцев. Лежал я на поляне, не во ржи. Значит, ночью пытался ползти к деревне, где, как мне казалось, немцев не было, но так и не дополз. Немцы стояли без фуражек, в руках у каждого был автомат, у одного перевязана рука, повязка на ней окровавлена — как видно, рана свежая.

«Вот и конец», — подумал я.

Немцы что-то говорили, жестикулируя руками. Несколько раз задавали, очевидно мне, вопросы и потом испытующе смотрели на меня. Я ничего не мог понять и отрицательно мотал головой. Тогда один из них жестом предложил мне встать, приглашая куда-то идти.

— Не могу. Ранен, — сказал я по-русски, отвернул шинель и показал окровавленную штанину. Тогда немцы подняли меня и понесли.

«Сейчас расстреляют».

Принесли меня на опушку леса и положили около старой ели. Сами пошли к землянкам, вырытым здесь же, поблизости.

Я осмотрелся. По опушке тянулись окопы, в глубине леса стояли брезентовые палатки. Немцев было только несколько человек. Как оказалось впоследствии, основная их масса еще отдыхала.

Было сравнительно тихо. Стрельба только кое-где начиналась. Вдали слышались глухие артиллерийские разрывы. День занимался теплый, солнце уже светило ярко, а в небе трепетали жаворонки со своей звонкой песней. Не хотелось думать, что только недавно здесь была жаркая схватка.

А на сердце у меня тяжело. Я, политический работник Красной Армии, оказался в руках фашистов и с минуты на минуту ждал своей смерти.

Вдруг снова в поле раздался шум. Резкие гортанные звуки немецкой речи перемешивались со стонами и русскими словами. Смотрю, сюда же на опушку немцы тащат еще одного нашего раненого. Он громко шумит, ругается. Как видно, немцы не обращают внимания на то, что человек ранен, тащат его без всякого стеснения и без осторожности и доставляют ему невероятные страдания. Я же не могу отвести глаз от раненого. В бледном осунувшемся лице, обросшем бородой, что-то страшно знакомое и близкое. Но кто он — не могу припомнить. Брюки у него тоже в крови. Наспех сделанная повязка мало помогает. Его положили рядом со мной. Один из немцев нагнулся к раненому, повозился около него и выпрямился, держа в руках очень знакомую мне полевую сумку с патронами, которую ночью, будучи раненым, я отдал своему товарищу.

Немцы куда-то отошли.

— Градский! — воскликнул я и даже приподнялся, не отводя глаз от раненого человека. Он утвердительно кивнул головой. Я опустился на землю. Рой мыслей стал осаждать мою голову. Значит, и Градский не прошел. Значит, те крики, выстрелы, которые вновь раздавались после боя, были связаны с ранением Градского! Мне стало еще тяжелее. Я лег на спину и закрыл глаза, ни о чем не думая.

Полежав немного, я вздрогнул, вспомнив про свой партбилет, военные документы. Быстро приподнявшись, я схватился рукой за левый нагрудный карман. Партбилет был на месте. Я подумал, что когда нас расстреляют, то с нашими документами и партбилетами они легко смогут забросить в наш тыл диверсантов. Такие случаи бывали, надо предупредить эту возможность.

— Градский, — тихо шепнул я, — где твои документы? Давай их сюда, я их уничтожу, пока нас не обыскали...

— Я их уже уничтожил, — так же тихо говорит он в ответ.

Тогда я достал партбилет, военное удостоверение, все бумаги, какие у меня были, разорвал их с трудом несколько раз и тут же, недалеко от немецкой землян-

ки, закопал под сосной. Теперь, даже если и найдут мои документы, воспользоваться ими они не смогут. Я облегченно вздохнул и вновь откинулся на спину.

Минут через двадцать вернулись немцы, которые принесли нас. Один из них спустился в землянку. Очевидно, это была штабная землянка, потому что из нее вышли несколько фашистских офицеров и приблизились к нам. В фронтовых петлицах моей гимнастерки виднелись прямоугольники, вероятно поэтому один из них обратился ко мне с вопросом, понимаю ли я по-немецки. Я отрицательно мотнул головой. Тогда Градский на английском языке сказал, что он может говорить на английском языке, а на немецком языке попросил воды. Принесли флягу с чаем и стали пить Градского, предложили и мне. Я отказался. «К чему, — думаю, — все равно сейчас будет конец». Офицеры стали что-то оживленно обсуждать между собой. Один из них снова спустился в землянку и вскоре вышел оттуда в сопровождении офицера с заспанной, помятой физиономией.

Новый офицер подошел к Градскому, присел на услужливо расставленный солдатом складной стул и стал задавать Градскому вопросы на английском языке. Был он в чине майора и время от времени отрывисто бросал немецкие фразы группе почтительно стоявших рядом. Один из немцев записывал слова майора в блокнот.

После первого беглого допроса, который продолжался полчаса, майор резко крикнул что-то. Солдат побежал в недалеко стоящую палатку и привел унтер-офицера с санитарной сумкой.

Нас стали раздевать. Обыскали. Отобрали все личные вещи. Раны перевязали. Пожалуй, я не точно выразился. По нашим повязкам, наложенным после ранения и не останавливающим как следует кровь, наложили новые тугие повязки. Но кровотечение остановилось.

У меня отобрали часы, бумажник, фотокарточки, авторучку, сняли походное снаряжение. Тут же один из офицеров взял сумку, отобранную у Градского, и пристегнул ее к моим ремням. Мне показалось, что немцы догадались, что сумка из одного и того же комплекта, хотя все снаряжение в нашей армии стандартное. Особенно заинтересовала немцев моя шинель. Когда я по-

пал под огонь немецких автоматов, то шинель оказалась простреленной в семнадцати местах. Это гитлеровцев особенно заинтересовало, и они все: и офицеры, и солдаты сгрудились около нее, оживленно разговаривали, перебивая друг друга на своем резком, гортанном языке.

А мне все было совершенно безразлично. Окружение, длительное скитание по смоленским лесам, голод, неудачный бой прошедшей ночью, ранение, плен, наконец,— все это сильно повлияло на меня, и я физически ослабел. Одна только мысль занимала: «Скорей бы кончали». Я был уверен, что немцы нас расстреляют. Вот этого-то конца я и ждал с каким-то нетерпением.

Принесли носилки. На одни носилки положили Градского, на вторые меня. Я поразился. Но потом подумал: «Наверное, сначала хотят допросить, а уж потом расстреляют. Что ж! Пусть так. Немцы от меня все равно ничего не узнают».

Вдруг в деревне, что находилась впереди и немного влево от нас, куда я так настойчиво полз ночью, произошло какое-то движение. Все немцы, как по команде, бросились в окопы и схватились за оружие. Мы остались одни. Раздались выстрелы из пулеметов и автоматов. А оттуда никто не отвечал. Фашисты не жалели патронов и с остервенением обстреливали крайние хаты. Минут через пятнадцать из деревни вышли и побежали к реке Десне несколько человек. Мы предположили, что там находилась наша красноармейская разведка. Как видно, деревня была нейтральной зоной. И очень больно было лежать, видеть своих и знать, что ты уже не можешь быть там, что скоро будешь мертв... Тяжело... очень тяжело...

Скоро снова все затихло. Для нас так и осталось загадкой, почему в нескольких человек на таком отдаленном расстоянии немцы выпустили уйму патронов. Нам показалось, что стреляли они так, чтобы успокоить себя.

Подошла подвода. Прямо на носилках нас положили на подводу и под охраной двух солдат повезли. Я немного приподнялся и стал осматриваться. Везли около часа, и все время дорога шла опушкой леса. И на опушке, и в глубине леса, насколько было видно, везде были раскинута палатки, около которых лежали, стояли, сидели немецкие солдаты, офицеры. Многие в одних трусиках. Августовский день обещал быть жарким. Уже и

теперь чувствовалась духота, хотя и шел только десятый час.

Здесь же, на подводе, Градский передал мне и о результатах своих первых разговоров с немцем. Тогда мне многое стало понятным. В разговоре с майором Градский назвал меня капитаном, а себя инженером. Сказал, что нас якобы было одиннадцать человек и шли мы из окружения. Пробираясь к линии фронта, ночью, во время небольшого боя, мы, раненые, остались, а остальные ушли. Появление разведки в нейтральной деревне как бы подтверждало рассказ Градского... А немецкий майор сказал, что о событиях прошедшей ночи сообщено командиру немецкого полка, и он пожелал видеть нас. Поэтому нас и везут в штаб полка.

Так для нас начался фашистский плен.

В. С. ГРАДСКИЙ

Василий Сергеевич Градский — кадровый офицер Красной Армии. Он окончил Харьковскую военно-хозяйственную академию и этим самым связал всю свою жизнь с интересами обороны нашей страны. До войны он работал в штабе Архангельского военного округа, а когда началась война, занял видную должность в интендантстве нашей армии. С ним мне пришлось пережить не одну трудную минуту плена. Это был суровый на вид человек, с крупными чертами лица, хмурыми бровями, из-под которых выглядывали умные серые глаза. Большой лоб и немного широковатый книзу нос как бы говорили о твердом его характере, об упрямстве, настойчивости. Мне пришлось пробыть с ним в плену больше года, и не раз я мог убедиться, что он остался честным русским человеком, горячо любящим свою страну, русский народ. Своим веселым, общительным нравом, который так не вязался с его суровым внешним видом, Градский скрасил жизнь не одному человеку, попавшему в немецкий концлагерь.

...Лежа рядом с ним на телеге, я невольно вспоминал все события, которые мне пришлось пережить вместе с Василием Сергеевичем. А события были поистине тяжелые.

С Градским мы впервые встретились каких-нибудь две недели тому назад. И вот теперь, лежа рядом, мысленно возвращаюсь к тому, как это случилось...

Наша дивизия в конце июля 1941 года попала в окружение в районе Рославль—Починок—Раковка. До этого мы наступали, и, надо сказать, наступали довольно успешно. Немцы отходили, несмотря на их численное превосходство в танках, самолетах, да и в личном составе. И вдруг нас окружили танковые части противника... Начался отход. Кем-то был дан приказ выходить из окружения небольшими группами. И началось...

К 3 августа мы с Градским оказались в небольшой группе командира нашей дивизии. Шли только ночью — днем идти нельзя, везде уже были немцы. Наша группа пробивалась к Десне. За рекой, как нам казалось, да так оно и было в действительности тогда, стояли наши. Туда, за Десну, стремились все.

Однажды ночью мы подошли к большому лесу. На его опушке расположилась немецкая часть. Нам надо было войти в этот лес во что бы то ни стало. Но немцы нас заметили: засветились ракеты, затрещали пулеметы, автоматы. Мы устремились в глубь леса. Прорвав небольшую цепь врага, углубились в лес километров на семь-восемь. Не было никаких сил идти дальше: решили сделать передышку.

Усталость, волнения и ночной бой основательно дали себя знать. Хоть не сразу, но мы заснули. Ночь была беспокойной. Кругом трещали автоматные очереди, пулеметы. Ночью, да еще в лесу, казалось, что стреляют совсем рядом, хотя стреляли сравнительно далеко. Несколько раз мы просыпались, переговаривались и опять засыпали.

Проснулся я окончательно часов в десять утра. Вся наша группа была здесь, все лежали молча, хотя и не спали, да и говорить-то было не о чем. У всех была одна мысль: «Скорее выйти к своим». О голоде, который уже основательно давал о себе знать, старались не думать.

Командир нашей дивизии — генерал-майор — решил послать разведку. Нам хотелось найти проводника. Местный человек все же лучше сможет ориентироваться.

Я лежал недалеко от генерал-майора. Меня он знал хорошо еще до войны. В армию я был призван в 1939 году и находился на партийной работе. Посмотрев на меня, генерал-майор улыбнулся и спросил:

— Ну, как себя чувствуешь?

— Хорошо, товарищ генерал,— ответил я.

— Вот что,— сказал он, подходя ко мне и присаживаясь на шинель,— я сейчас посылаю разведку. Нам очень нужен местный проводник. Пойди с ними. Помогли найти нам человека. Тебя я хорошо знаю, и ты это сделаешь. Но часам к трем-четырем возвращайся, будем ждать.

— Хорошо,— сказал я.

Оставив свою шинель товарищу, с которым я лежал ночью, я взял трофейный немецкий автомат, поднялся и пошел. Идя по лесу, я делал заметки, оставляя ориентиры для обратного пути. Пошел я с легким сердцем. Ничто не говорило мне о том, что больше я не увижу своих товарищей, с которыми готовился воевать, начинал воевать и испытал первые трудности войны. Я был уверен: все будет хорошо, я скоро вернусь и снова пойду со своими друзьями тяжелой дорогой войны.

Выйдя на зимник (дорога в лесу, которой летом обычно не пользуются), я увидел наших разведчиков. Это были военинженер 3 ранга Градский и политрук Еремеев. Так состоялась тогда наша первая встреча с Градским.

Я подошел к ним. Сели мы на травку. Достали карту, компас, сориентировались и решили идти на северо-восток.

Пошли. Шли молча. Страшно хотелось есть. Уже несколько дней в нашей группе не было продовольствия. Если у кого и обнаруживался завалящий сухарь, его честно делили. По дороге рвали грибы и тут же съедали их сырыми. Если бы у меня сейчас спросили, что это за грибы и можно ли их есть, я не сумел бы ответить. Тогда было просто: сорвешь гриб, понюхаешь и начинаешь пробовать на вкус, если не тошнит, то все в порядке, значит, есть можно. Попадались и ягоды. Малина, брусника, ежевика — все шло в рот, все было для нас съедобно. Так мы дошли до опушки. Осторожно

вышли на опушку и увидели примерно в восьмистах метрах от леса небольшую деревеньку. Но туда путь для нас был закрыт: там уже хозяйничали немцы. Мы прилегли в кустах, ожидая, пока кто-либо из местных жителей пойдет в лес и мы сможем выполнить задачу. Но ждали напрасно. Никто, кроме немцев, из домов не показывался. Я посмотрел на часы. Часы стояли. Как видно, утром я их не заводил, да, может быть, не заводил их уже несколько суток. Судя по солнцу, было около четырех часов пополудни.

Решили возвращаться обратно. Приказ не выполнен. Ко второй деревне идти не управимся, слишком далеко. Товарищи ждут. Дорогу находили по сделанному мною замечкам. Шли уверенно и особенно не маскировались. И вдруг чуть не наскочили прямо на немцев: на нашем зимнике расположилась новая немецкая часть. Как видно, эта часть вошла в лес за время нашего отсутствия и отрезала нам дорогу к группе командира дивизии. Пройдя по зимнику немного на север, мы обнаружили большое болото, а с юга — новую войсковую вражескую часть. Немцы в трусах загорали под вечерним солнцем, весело гоготали.

Мы отбились от своих. Что делать?.. Все дороги буквально были обложены немцами.

Решили ночь переждать в копне. Договорились крепко держаться друг друга и при любых условиях обязательно выйти к своим. Это — самое главное. Чтобы не так беспокоил голод, подтянули потуже ремни и решили закопаться в сено и спать, памятуя, что утро вечера мудренее.

Так и сделали. Мои новые друзья были в шинелях, а я свою оставил. После утомительного путешествия и, вероятно, после сырых грибов мне нездоровилось. Или в воздухе было прохладно, или меня знобило, но, чтобы было теплее, товарищи положили меня в середину и накрыли своими шинелями, а сверху навалили сена: и тепло и вроде маскировка. Но и в такой постели спать не могли. Вспоминали последние бои, строили планы выхода из окружения, беспокоились об оставленных нами товарищах. Мы были уверены: еще встретимся с ними, еще отплатим врагам.

Ночью в направлении, где осталась группа командира, раздались две длинные автоматные очереди. Мы опре-

делили: советский автомат. Нам показалось, что это товарищи дают нам прощальный сигнал.

Еле-еле дождались солнца. Решили вновь идти за проводником, но идти несколько северней вчерашней деревеньки.

Шли без отдыха несколько часов подряд. На грибы уже смотреть не хотелось. Неожиданно услышали звон колокольчиков. Пошли быстрее. Недалеко от опушки, на небольшой лужайке, паслось несколько коров и телят. Скот пасла женщина средних лет. Увидев нас, она растерялась, обрадовалась и испугалась в одно и то же время.

— Здравствуй, гражданочка, скажи, какое это село? — обратился я к ней.

— Кто там, немцы или красноармейцы? — добавляет Градский.

— Ох, милые вы мои. Да как же это вы не боитесь? Ведь кругом тут немцы, — начала скороговоркой женщина. — В деревню не ходите. Там утром еще были немцы, они и ночевали там. А называют эту деревню Большая Ермаковка.

Все было ясно. Путь в деревню и на сей раз нам указан. Послать женщину в деревню за хлебом или проводником мы не решились. Она надоила в кастрюлю молока и угостила нас.

— Вот хлеба у меня нет. Вы подождите, я схожу домой и принесу, — предлагает она.

Но от хлеба мы отказались, отошли несколько, залегли на опушке и стали осматриваться.

В бинокль внимательно осмотрели Большую Ермаковку. Деревенька небольшая, дворов тридцать. От леса она расположена в одном или полутора километрах. Ничего подозрительного мы не заметили. Не было там ни машин, ни лошадей, да и люди не ходили. Деревенька казалась совершенно опустевшей. А нам очень хотелось разведать ее и попытаться найти проводника, хлеб.

Политрук Еремеев предложил такой план: он разделается, снимет шинель, ремень, отдаст нам документы, пистолет, а сам пойдет в деревню. Там попытается узнать обстановку. Если там немцы, то скажет, что идет из Рославльской тюрьмы, где сидел за хулиганство, идет домой в Спас-Деменский район.

После некоторого обсуждения план Еремеева был принят. Уж больно заманчивыми казались и проводник, и хлеб. А главное — проводник.

Политрук ушел. Мы проследили, как он вошел в первый дом, но выйти оттуда он так и не вышел. Наблюдение за деревней вели по очереди. Мне по-прежнему нездоровилось. Градский взял у меня бинокль и стал наблюдать. Я отошел метров на пятьдесят-шестьдесят вглубь и прилег, прислонившись к стволу старой сосны. Мучительно медленно тянулось время. Подсел ко мне Градский, немного поговорили, он вновь отошел, а я задремал.

На опушке раздался шум. Открыв глаза, я вижу: Градский бежит мимо меня и машет рукой — прячься, дескать, сам приседает за пень. На опушку по зимнику въезжает кавалерийский разъезд из тринадцати-пятнадцати немцев. Они едут медленно, переговариваясь между собой. На дорогу и по сторонам не обращают внимания. Но мне показалось, что они ищут нас. Мы в напряжении. Вот уже казалось, что группа проедет мимо и не заметит нас. Но неожиданно один всадник отделяется от отряда и направляется прямо на Градского. Фашист хорошо видит его, присевшего за пнем, и громко кричит об этом своим, пытаясь снять из-за плеча свой автомат. Меня он не видит. Дорога каждая минута. Тогда я поднял свой автомат, прицелился в грудь всадника и дал очередь. Гитлеровец упал, лошадь шарахнулась в сторону. Я перенес автомат на группу, едущую в 30—35 метрах от меня, и разрядил обойму. Из группы упали или соскочили два всадника и упала одна лошадь. Остальные подняли громкий крик и открыли бесперебойную стрельбу. Я стал перезаряжать автомат. Ко мне подскочил Градский, схватил меня за руку и потащил за собой. Мы побежали. Но бежали не назад, а вперед по опушке леса, откуда приехал фашистский разъезд. Гитлеровцы, думая, вероятно, что мы убежали обратно по дороге, поскакали прямо, страшно крича и непрерывно при этом стреляя из автоматов и винтовок. Уж в кого они там стреляли, сказать трудно. Во всяком случае, людей они не видели, а женщина со своим стадом была в стороне от них.

Отбежав от деревни километра три, мы залегли в кустах. Там решили ждать ночи. Стало очевидно, что

Еремеева мы потеряли. Документы Еремеева — партбилет, удостоверение, бумажник, пистолет «ТТ» без патронов и деньги Градский закопал под пнем. Мне же и наследство досталась новенькая серая офицерская шинель артиллерийского образца. На ней не было петлиц, знаков различия и не было нарукавных знаков. Шинель я надел на себя еще когда Еремеев уходил в деревню, да так и не снимал ее. Если бы она лежала на земле, то вряд ли я догадался схватить ее во время нашей стычки и поспешного бегства.

Стемнело. Все затихло. Определившись по компасу и карте, мы вновь пошли на восток. Путь свой направили к Десне, в район Богдановских хуторов. Лесом ночью идти нельзя, поэтому вышли в поле. Часа через полтора удачно пересекли шоссе, где непрерывным потоком шли вражеские машины. Заманчивую мысль разрядить автомат в одну-две автомашины пришлось отбросить, надо было торопиться. Мы попытались определить, сколько машин проходит за час на восток. Но и без подсчета было ясно, что немцы стягивают свои силы на восток. Мащин шло много и все больше крытых. А мы уже знали, что в крытых грузовиках немцы перевозили пехоту. Машины шли в два ряда с методической точностью, с соблюдением небольших интервалов.

Проходя через созревшие поля, неожиданно встретили немецкую подводу. Отошли в нескошенную рожь. Вероятно, на светлом фоне наши темные фигуры особенно выделялись. Подвода остановилась, и один фашист бросился в нашу сторону с возгласом «хальт». Расстреляли его короткой очередью из автомата, а второй соскочил с телеги и ударился бежать. После долго ругали себя за такое безразличие. В телеге, наверное, и хлеб мог быть.

Снова на пути оказался лесок. Углубившись в чащу, мы легли отдыхать, так как уже рассветало и дальше идти было опасно. Но долго спать не могли. К голоду присоединилась жажда. Но воды нигде не было. Роса на листьях не утоляла жажды. В лесу, по дороге, сохранились колени от колес. Два дня назад проходил дождичек. Там, в некоторых колеях, сохранилась жидковатая грязь. Ею мы и пытались напиться.

Так мы и шли. Наконец добрались до большого леса и затаились в нем на день.

Снова потянулись тоскливые, длинные часы. Есть уже не хотелось. О пище просто как-то даже не думалось. А вот жажда не давала покоя. Невольно вспоминались реки, дожди, болота, колодцы... Вода, вода и только вода. Опять стали делать различные эксперименты с грязью, но толку снова не добились.

Наступил долгожданный вечер. С вечерней прохладой у нас поднялось и настроение. Опять вышли на дорогу и опять пошли дальше — на восток. Везде тихо. Мы одни. Ночь стояла темная и теплая. Даже не верилось, что мы в Смоленской области в середине августа. На дороге почти никого не встречали. Правда, иногда попадались отдельные машины, подводы, но мы от них прятались, приседая в нескошенных хлебах.

Вот и кончается лес. Там, за ним, должна быть Десна. Подходя к опушке, мы увидели, что здесь расположилась немецкая воинская часть. Слышен был шум, разговоры, местами горели костры. Заметно чувствовалось уже и дыхание фронта. Если до сих пор была слышна только артиллерийская канонада и какое-то общее гудение, то теперь мы явственно различали винтовочные и автоматные выстрелы. Не оставалось сомнений: мы подходим к фронту. По нашим предположениям, фронт стоит на Десне, а до Десны теперь рукой подать. Обойдя расположенную часть километра за три, мы вошли в лес и углубились в его чашу. Страшно устали. Решили отдохнуть. Снова легли. Проспали часов до шести утра.

Когда мы проснулись, то поняли, что попали в неприятельский лагерь. Кругом нас, оказывается, немцы. Как они не заметили нас — трудно сказать. Мы встали, осмотрелись и решили отойти в лес подалее. И — о счастье: отходя вглубь, заметили небольшой колодец. На дне его стояла вода. Это после стольких-то дней жажды! Правда, воды мало, трудно даже флягу набрать, да и ржавая она какая-то. Но все же это вода. Мы напились. Грязноватая вода с привкусом соли показалась нам лучше всяких иных напитков. В мою флягу набрали еще воды про запас.

Когда мы отходили дальше, у нас из-под ног, тяжело взмахивая крыльями, вылетел большой глухарь.

Невольно я вскинул автомат, но вовремя удержался. Стрелять нельзя. Кругом немцы. А замечательное мясо улетело. Глухарь улетал, а я во рту чувствовал вкус его мяса.

Обойдя немцев, мы вышли на опушку. На поляне стоят отдельные домики. Снова определились по карте. Оказывается, подошли к Богдановским хуторам. А там, вон за той небольшой опушкой, должна быть Десна, а за ней и наши... От мысли, что скоро будем в кругу своих, скоро увидим красноармейцев, товарищей, становилось радостно, поднималось настроение. Теперь осталось немного. Теперь требуется осторожность и еще раз осторожность. Ведь кругом нас, в лесу, да и у реки — враги.

Залегли. Решили понаблюдать за домиками в бинокль. Казалось, что они не жилые, даже окна выбиты и чернеют пустотой. Подойти к домикам не составляло особого труда. Нужно только спуститься по лощинке вниз, дойти до крайнего домика, а потом подняться кустарником и осмотреться. Так мы и решили. Пошли. По дороге попался телефонный кабель, по трогать его не стали, хотя очень хотелось перерезать. Подошли к домику и увидели малинник. Я до сих пор не понимаю, что с нами случилось. Мы шли осторожно, остерегались. А как дошли до малинника, так про все забыли. Через час, примерно, когда уже не хотелось смотреть на малину, мы вспомнили, куда и зачем шли. Встали и осторожно осмотрели все помещения. В домиках, как и предполагали, никого. Зашли в крайний — пусто. Окна и двери выбиты. В остальных домах то же самое. Мы тщательно все обыскали, думали, хоть хлеба найдем, но поиски наши были бесполезны. Ни одного, даже самого маленького, кусочка хлеба мы так и не нашли.

Залезли на чердак. Отсюда решили наметить наш ночной путь. Осмотрелись. Прямо перед нами лесок, а за ним Десна. В стороне видно, как воды ее блестят на солнце. Влево от нас деревенька, но в ней, как видно, тоже нет никого из населения, да и войск нет. На фронте относительно спокойно. Редкие артиллерийские разрывы да прокатывающаяся стрельба из автоматического оружия то затихали, то усиливались временами. Нам казалось, что мы близки к цели. Ведь каких-

либо 700—800 метров отделяют нас от своих. Обнявшись и пожелав друг другу удачи, слезли с чердака и пошли к опушке леса, назад, где решили отдохнуть перед ночной дорогой.

Наша радость понизила бдительность, и мы чуть-чуть не попали в руки врага. Недалеко от опушки леса заметили часового, стоящего, к счастью, к нам спиной. Мы присели. Оказалось, что и тут расположена целая немецкая часть. Сюда нам нельзя. Рожью поползли в другом направлении. Рожь густая, уже пора убирать, а она стоит, склоняя свои тучные колосья, не уместающиеся на ладони, и роняя зерна. Урожай огромный, но убирать рожь некому.

Выползли на опушку. Отошли немного вглубь и легли в кустах. Чувствовалось, что кругом немцы. Всюду слышны их голоса; приподнявшись немного, можно было даже видеть, как они разгуливают по опушке, куда-то наряжают подводу. Мы терпеливо ждали. Начало темнеть. Наконец время подошло к десяти часам вечера.

— Пора,— нетерпеливо говорит Градский,— пойдем.

— Подожди,— сдерживаю я его.

Стали готовиться к походу. На мне походное снаряжение, полевая сумка и немецкий автомат в руках. Одет я в летнюю форму, еще хорошие хромовые сапоги. На голове у меня доньшко от стальной каски. Еще когда мы попали первый раз в лес, каска оказалась неудобной, ветки ударяли по ней и производили шум, слышимый далеко. Тогда один товарищ выломал доньшко из каски и надел его на голову, а каску выбросил. Его примеру последовали многие, в том числе и я: все что-то есть на голове. Сверху я надел шинель Еремеева. Так и решил идти.

Здесь мы допустили и вторую ошибку, ставшую для нас роковой. До реки метров 700—800 нам предстояло пройти рожью. Надо было ползти. Ночь не совсем темная. На нескошенных хлебах хорошо видны черные фигуры, чего мы не могли учесть, находясь в лесу. Градский меня уговорил: «Пойдем быстрее». Быстрее хотелось и мне. Мысли мои витали уже там, на той стороне Десны. Мне уже чудилось, что мы плывем через реку. Мягкая теплая вода струится по моим ногам, и я с удовольствием ее пью и никак не могу напиться, а там, на

берегу, нас встречают красноармейцы и накладывают в котелок макароны на коровьем масле. Такие мысли увели меня далеко от действительности. И я проявил торопливость, недостойную воина Советской Армии. Эта торопливость и явилась пагубной и для меня и для моего спутника. Мне не надо было соглашаться с Градским. Но сделанного не воротишь.

Пошли. Шли по нескошенной ржи. Когда до берега оставалось пятнадцать-двадцать метров, неожиданно раздались выстрелы. Сразу затрещали автоматы и пулеметы, и я внезапно перестал чувствовать свою ногу. Я не мог дальше идти, опустился на землю. Градский сел рядом со мной.

— Что?.. Ранен? — спросил он.

— Не знаю, кажется, ранен, — ответил я.

И тут я почувствовал, как по правой ноге потекла горячая кровь. Достали индивидуальные пакеты. А запасы пакетов мы берегли крепко. Широким бинтом затащили ногу. Боли не чувствовал, однако совсем не мог ступить на эту ногу. И дальше идти не мог. Немного полежали. А стрельба не прекращалась. Стреляли сразу из нескольких точек. Вспышки были хорошо видны. Стало ясно: дальше идти не смогу, а нести меня некому. Тогда я решил.

— Умирать, так умирать с почетом, товарищ Градский, — сказал я. Лег поудобнее и на вспышки стал отвечать выстрелами из автомата. Так я расстрелял шесть обойм. Бой длился минут 20—25, не больше. Когда уже не осталось заряженных магазинов, я почувствовал страшную слабость. А немцы не прекращали стрельбу, их пули летели роем, взрывая землю вокруг нас. Стали стрелять и с опушки, нам в спину, и слева. Немцы стреляли трассирующими пулями, чертя из конца в конец ржаное поле, где мы лежали. Вероятно, вспышки нашего автомата им тоже были хорошо видны.

— Ну что же, товарищ Градский! Давай попрошаймся. Продолжай путь один... Видишь, я дальше идти не могу... Обо мне передай нашим: шел до последнего... Попытаюсь доползти до деревни... А там видно будет... — сказал я.

Так и решили. Я передал автомат Градскому, вместе с ним зарядили несколько магазинов. Обнялись... И он пополз. Движения его, вероятно, заметили немцы. Снова

усилилась стрельба, которая до этого немного утихла. Снова стали раздаваться резкие гортанные крики гитлеровцев.

Я остался один лежать на земле. А мысли мои были далеко, в Воронежской области, в небольшом городке Острогожске, где оставалась жена с одиннадцатилетней дочерью и полуторогодовалым сынишкой. От них я же получил ни одного письма. Домой посылал, пока была возможность, иногда писал по два письма в день, но из дома не получил ни одной весточки. Теперь, когда смерть витала около меня, когда уже не было надежд на спасенье, мысли мои понеслись туда, к любимой жене и дорогим мне детям. Мне страшно хотелось знать только одно: где они и что с ними?

Так я лежал один в нескошенной ржи.

Очевидно, я потерял сознание, потому что мне вдруг почудилось, что сквозь непрерывный свист пуль ко мне подошла моя жена Тамара. Я хорошо видел ее черное платье, бледное лицо. Подошла, улыбнулась, положила мне на голову руку, теплоту ее руки я остро ощущал на лбу, и сказала: «Лежишь? Ну, ничего, не волнуйся. Я скоро приду за тобой». Я принял ее появление как должное. Меня удивило только одно: как она могла подойти ко мне, не боясь такой стрельбы? Я хотел спросить ее об этом, но не успел. Она уже пошла дальше. Потом подполз ко мне генерал-майор, командир нашей дивизии. «Так вот ты где?.. Что?.. Лежишь?.. Лежи... лежи. Мы сейчас придем за тобой», — сказал он немного грубовато и снова пополз дальше.

Я отчетливо видел, как он пополз, как зашевелилась рожь, как передвигались его ноги.

Но все это было галлюцинацией. Это следствие моего болезненного состояния и ранения. Я забылся. Нельзя сказать, что я потерял сознание. Нет, просто забылся. Несколько раз приходил в себя. У меня ничего не болело. Начинал ползти в сторону деревни, что впереди, слева. Попытался подняться, но не мог стоять, опять падал. Ничего мне не хотелось, ни о чем я не думал. Так протекала эта страшная и длинная ночь. Временами по полю неслись душераздирающие крики. Когда я приходил в себя и прислушивался, становилось ясно: кто-то кричал о помощи и кричал на русском языке. Наверно, тоже какой-то раненый. Значит, я не один. О Градском

не вспоминал. Я был уверен: он вышел. Он должен выйти, не мог не выйти...

...Все это вновь мне пришлось пережить, лежа на немецкой подводе по дороге в фашистский штаб полка.

В долгие бессонные ночи концлагеря, лежа рядом с Градским на нарах, мы еще и еще раз анализировали, когда и какой именно ошибочный шаг привел нас к печальному результату.

Может быть потому, что ошибка была обоюдной, мы с Градским особенно держались друг за дружку, сблизились.

ДОПРОС

Наконец, нас привезли в деревню Григорьевку. Здесь стоял штаб немецкого полка. В деревне было много солдат. Немцы чувствовали себя свободно, ходили в трусиках, головы многих повязаны полотенцем, без оружия. Меня такое положение страшно возмутило. «Пришли, точно к себе домой, и распоряжаются, как хозяйева земли русской, а мы ничего им сделать не можем», — сказал я Градскому. Страшно обидно было, росла злоба к фашистам. Но мы были бессильны...

Нас перенесли в пустую избу. Вся изба состояла из одной комнаты. По обычаю центральной России, стены здесь не оштукатурены. Потолок, стены и пол чисто вымыты. Справа стояла большая русская печь. По стенам, как это бывает в деревнях, висели большие холщовые полотенца, расшитые яркими рисунками. Стола почему-то не было. Сюда в передний угол поставили носилки с Градским. Меня сняли с носилок и положили на невысокие полаты за печкой. Хозяев избы не было видно. Вероятно, их выселили.

Положив нас, солдаты ушли. В окна заглядывали наши русские люди. У большинства из них были испуганные, жалостливые лица. Говорить и думать ни о чем не хотелось.

— Майор говорит, что они пленных не расстреливают, — сказал мне Градский.

— Враки! Знаем, как не расстреливают! — ответил я. — Да меня сейчас это и меньше всего интересует. Жизнь уже потеряла для меня ценность. Я попал в руки врага и не смог перед пленом сам застрелиться. Вот чего я себе простить не могу.

Наступило молчание. Как-то невольно я стал думать о словах, сказанных Градским. Почему он так сказал?.. Неужели он спрашивал у майора? Неужели Градский боится смерти?.. Я резко обратился к своему товарищу:

— А что? Ты спрашивал об этом у майора?

— Нет.— сказал Градский. — Он с этого беседу начал. Наоборот, я ему ответил: смерть не страшит нас, и мы не просим ни о чем немцев. Пусть делают с нами, что хотят.

Я облегченно вздохнул. Просить о пощаде у фашистов я считал недостойным советского человека. Пусть делают, что хотят. Опять мысли возвращаются к Градскому. Как я мог дурно подумать о нем? Ведь мы провели с ним не один день вместе. Никогда, ни одним словом он не жаловался на трудности, не роптал на создавшиеся условия. Наоборот, он и в трудные минуты был бодр, уверен, что мы выйдем из окружения, торопился к своим, чтобы стать снова полезным своей стране, своему народу. Потом, без воды, не есть почти восемь суток и не упасть духом, а все время быть смелым, настойчивым... И после моего ранения опять продолжать путь...

Вдруг открывается дверь и входит толстый, лет 55—57, человек. На погонах у него — звезда капрала. В руках сверток бумаги. Подошел, молча оглядел нас. Остановился против меня и на чистом русском языке спросил:

— Вы куда ранены?

От неожиданности я даже приподнялся.

— Лежите, лежите! Что вас волнует?

— Позвольте, вы русский? — вместо ответа спросил я.

— Да, я русский. Но уже больше двадцати лет не живу в России.

— Так вы белоэмигрант! — невольно воскликнул я.

— Не белоэмигрант, а несчастный человек, — резко ответил он. — Так куда же вы ранены?

— Я ранен в ногу. Что за рана — не знаю. Болей не чувствую, но и ноги не чувствую.

— Ну, ничего. Поправитесь! Виноваты большевики. Но теперь война скоро кончится.

— Как скоро кончится?.. Война только началась, — недоуменно сказал я.

— Нет. С немецкой армией большевики воевать не смогут. Ведь мы уже к Десне подошли.

Тут мне стало ясно, что на Десне по всему фронту немцев задержали и дальше не пускают. Это меня успокоило. «Не зря же мы там оборону строили,— подумал я. — Наши труды не пропали даром».

— Я на службе у немцев добровольно, работаю толмачом, то есть переводчиком,— продолжал этот русский в форме немецкого капрала. — Сам я из города Петербурга. У меня там свой дом, и скоро я его обратно получу. Большевики заставили меня долго жить не на родине. Но ничего, скоро Россия будет свободной!

— Позвольте. Что же вы понимаете под свободой? — не удержался я.

— Нельзя ли воды и хотя бы кусочек хлеба,— попросил Градский. — Мы восемь суток не ели.

— Это хорошо, что вы голодаете. При ранении голодать полезно. Я читал статью одного голландского профессора, так тот пишет, что при голодании раны быстрее затягиваются. Я голодал в течение двадцати суток.

— Видя непроизвольную улыбку у нас на губах, он продолжал: — Не подумайте, что я голодал потому, что кушать у меня было нечего. Нет, я голодал в виде эксперимента, и двадцать суток голода хорошо перенес, конечно, с водой. После голодовки весь организм мой просто обновился. Полезно поголодать и вам. — Потом, глядя то на меня, то на Градского, он произнес: — Что только большевики с вами сделали? Ведь вы не большевики? Попали в окружение — так надо сразу сдаваться, а не лезть на рожон.

— Почему вы знаете, что мы не большевики, что мы не политработники? — спросил я.



С. Голубков перед войной
1941 — 1945 годов.

— Нет! Вы не политработники. Сразу по вас видно. Вот, смотрите, — указывает он на мою голову, — голова стриженная, а комиссары и политработники не стригутся, ходят с шевелюрой. Это самый первый и самый верный признак.

Следует сказать, что фашисты долго держались этого заблуждения. Нам известно много случаев, когда простого советского солдата, лишь потому, что у него были большие волосы, считали политработником и отправляли в особые бараки, откуда была только одна дорога — на кладбище. Я никогда не брил головы. Но во время мобилизации мне товарищи посоветовали остричь волосы и сами показали пример, сняв свои пышные кудри. Когда я ехал на фронт, на станции Мичуринск я последовал их примеру. Теперь же у меня отросло небольшие волосы. Градский вообще брился наголо. Поэтому немцы располагали «веским» доказательством, что мы не политработники. Я не стал убеждать фашистского переводчика.

— Ваша группа наделала дел во время ночной перестрелки, — продолжал этот добровольный немец, — убито два хороших солдата и ранено три. Видите, а мы к вам относимся гуманно. Ведь из вашей группы мы ранили только двоих и никого не убили. Значит, стреляли больше с вашей стороны.

У меня учащенно забилось сердце. Значит, наша смерть будет оправдана. Мы все же не одного фашистского мерзавца отправили в места, где им положено находиться. И в последний раз нам тоже удалось кое-что сделать. Градский бросил на меня взгляд и довольно усмехнулся.

Добровольный немец долго еще нам говорил о гуманности своих хозяев, которым он честно служит. Потом перешел к «зверствам» большевиков. И чего, чего он только ни говорил! Оказывается, «большевики разлучают мужей с женами», при мобилизации «расстреливают» непокорных, все ходят с оружием в руках, врываются в любой дом и в любое время. Много говорил он в таком духе. Наконец, я не выдержал.

— Все, что вы говорите, не соответствует действительности, — сказал я. — Ведь мы, советские люди, жили и работали в Советской стране, и порядки большевиков нам лучше известны.

Фашистский переводчик оторопел. Во время своей длинной речи он ходил по комнате, а тут остановился, тупо уставился на меня.

— Так вы, наверное, сами большевики, — изрек он после некоторого раздумья.

— А разве это имеет какое-либо значение? — спросил я. — Мы ваши пленные. Можете считать нас кем угодно...

Продолжать «приятную» беседу дальше не удалось. Дверь распахнулась, и вошли три офицера. Один — в чине майора, лет 30—32. Высокий, с большими выпуклыми глазами, в пенсне, в серых замшевых перчатках, в высоких ярко начищенных сапогах со шпорами, он уверенно шел впереди всех. По почтительному отношению окружающих видно: майор и есть тот командир полка, которого ждали все и для которого нас задержали здесь. Толмач быстро отскочил в сторону, выбросил правую руку вперед и громко пристукнул каблукми. Майор не обратил никакого внимания на лакейское приветствие холуя, подошел ко мне, посмотрел и что-то сказал, ни к кому не обращаясь. Я как лежал, так и остался лежать. Даже не сделал движения приподняться.

Быстро подбежал толмач и перевел:

— Господин майор, командир здешнего полка, спрашивает, где вас ранили, то есть в каком месте?

— Скажите майору, — медленно ответил я, — не знаем. Это лучше всего могут сказать те, кто ранил и пленил нас.

Майор опять что-то быстро произнес, достал свою планшетку и вместе с офицерами начал рассматривать карту. Сделав какую-то отметку, он протянул карту мне. Я посмотрел.

Карта отпечатана на хорошей меловой бумаге, прекрасно показаны все населенные пункты на русском и немецком языках. Довольно крупный масштаб: один сантиметр равен одному километру. Карта выполнена очень подробно. Тут же голубой лентой извиляется Десна. У меня невольно промелькнула мысль: «Как хорошо работает вражеская разведка». Вот и Богдановские хутора, где произошел ночной бой. Держа карандаш у Богдановских хуторов, майор преобладал подтверждения.

Я пожал плечами и посмотрел на майора молча. В

упор. Так длилось секунд десять-пятнадцать. Майор опустил карту и опять что-то сказал быстро и отрывисто.

— Господин майор спрашивает, вы — лазутчики? Мост через Десну взорван или цел? — перевел снова толмач.

Градский, к которому непосредственно не обращался майор, все время молчал.

+ «Значит, не дошли даже до Екимович. Не везде еще и на Десну вышли», — быстро мелькнула у меня новая мысль, так как только екимовичский мост и мог интересовать немцев, только он мог иметь военно-тактическое значение. Я еще раз пожал плечами и ничего не ответил.

Майор с группой офицеров заговорил еще быстрее, бросив несколько фраз переводчику. Переводчик ответил майору и снова громко стукнул каблуками, вытянулся и приложил руку к козырьку. На такую картину смотреть было противно. Создавалось впечатление, что какой-то червяк приподнялся и как бы тянется ввысь. Так вел себя белогвардеец перед своим хозяином — фашистским офицером. Майор со своей свитой удалился.

— Господин майор приказал вас отправить в полевой лазарет и накормить, хотя вы и не дали нам нужных сведений, — сказал толмач. — Сейчас вам подадут кушать. Господин майор объясняет ваше нежелание отвечать усталостью, ранением, и он прощает ваше молчание.

Что мы могли сказать фашистскому холую?.. Я понимал бесполезность говорить с ним на такую тему. Да и не хотел. Я также промолчал, пожав плечами. Уходя, толмач оставил нам две большие газеты, издаваемые в Берлине на русском языке, со словами:

— Почитаете! У вас будет свободное время.

Я не хотел брать газеты. Но потом взял. Я подумал: врага надо знать со всех сторон. Мои убеждения, мысли переделать нельзя. Ведь с 1923 года я в рядах Ленинского комсомола, потом в партии. Комсомол и партия годы меня воспитывали, и какие-то разговоры или фашистские газетенки меня не переубедят. Газеты я взял, думая потом использовать их в своих целях. Бумага всегда и везде нужна.

Вскоре принесли большую кастрюлю и около килограмма хлеба. Вместо ожидаемого чая, нам налили в фляги кипятку, заваренного какой-то травой. Отрезали по большому куску хлеба. Я порекомендовал Градскому много не есть. Да он и сам знал. Трудно передать, что я почувствовал, когда стал пить немецкий «чай» и есть хотя и русский хлеб, но из немецких рук.

Приехала немецкая санитарная машина. Опять появился толмач. Он принес некоторые наши вещи. Мне возвратили часы и фотокарточки семьи, Градскому тоже кое-что отдали.

Мы были удивлены и долго не могли понять, чем вызвано возвращение некоторых, хотя и не всех наших личных вещей. Мы уже слышали, что фашисты охотились за советскими часами. И только когда мы попали в лагерь, нам стало многое понятно. Оказывается, на нас была составлена опись. В опись включена и часть наших личных вещей. Из группы офицеров, к которым мы попали в плен утром 14 августа после боя, вероятно, нашелся один более или менее честный человек (ведь не все же немцы одинаковы), а может быть, они не могли наши вещи поделить без скандала, и они занесли наше имущество в опись. Эта опись спасла нас от многого. Мои сапоги некоторые немцы даже не один раз примеряли, а как дойдут до описи — так все. Написанное пером фашисты фетишизировали, и опись сохранила нас от окончательного разграбления. Подробно о таких описях нам стало известно уже в концлагере, а сначала все казалось удивительным, непонятным.

Уложив нас в санитарную машину, отправили. Ехали около часа лесом, потом полем. К вечеру, наконец, остановились. А куда приехали, мы так и не могли разобраться. На окраине деревни стояли колхозные амбары, рядом большая изба — здесь, вероятно, раньше размещались правление и клуб колхоза. Большой двор был заставлен автомашинами. Все дома заняты под вражеский полевой госпиталь. Нас внесли в избу и впервые стали делать настоящие перевязки. Положили сразу на топчаны, и к нам обоим подошли врачи. Старые повязки разрезали и содрали не жалеючи. Я терпеливо наблюдал, что будет дальше. Раны промыли перекисью водорода, смазали ихтиоловой мазью и снова забинтовали. У меня оказалось четыре раны. Две ка-

кие-то рваные и две поменьше. Я предположил, что ранение пулевое, навывлет, и где пуля вышла, там отверстие шире. Только одно казалось странным: одно широкое отверстие впереди, а второе немного сзади. После перевязки стал чувствовать себя спокойней, а то все время ощущалась зудящая боль. Кость цела, хотя немного и задета. Но об этом я уже узнал потом, в концлагере.

У Градского положение значительно хуже. На правой ноге у него раздроблен коленный сустав. И если я чувствовал свою ногу, мог даже приподнять ее осторожно руками, то Василий Сергеевич не мог даже пошевелить ногой.

После перевязки нас отнесли в один из колхозных амбаров. Положили прямо на сено. Сено свежее, душистое. Кроме нас, в амбаре не было никого. Дверь не закрыли, а под навесом около дверей расположились немецкие санитары. Санитаров было много, а раненых в госпитале сравнительно мало. Оказывается, немцы своих раненых здесь только предварительно обрабатывали и сразу же, без задержки, отправляли дальше, на запад.

Даже теперь, хотя и не происходило крупных боев и дело ограничивалось только небольшими стычками, у них в день иногда поступало по 300—350 человек. Но поступление раненых начиналось с двенадцати часов дня. К нашему прибытию они своих раненых успели отправить. Как видно, дорого стоил им не только успех наступления, но даже и остановка продвижения.

А на Десне они задержались. Как мы поняли потом, особенно большой урон наносила немцам наша артиллерия. Немцы страшно боялись артиллерийской канонады и места себе не находили во время артобстрела.

Никого из мирного населения к нам близко не допускали. На ночь дверь запирали на наружный засов. В таких условиях бежать нельзя. Да мысль о побеге пока и не могла быть осуществлена, хотя она зародилась с первой минуты пленения, а теперь начинала все больше развиваться и крепнуть, несмотря на то, что мы оба не в состоянии были ходить.

К нам начались «экскурсии» немцев. Придут группами, станут, смотрят и о чем-то оживленно переговариваются между собой. Нередко находились и пере-

водчики. Во время таких расспросов немцев особенно интересовала боеспособность Красной Армии, почему она сопротивляется и долго ли будет сопротивляться? На такие вопросы мы отвечали односложно.

— Как же не сопротивляться?.. — отвечали мы. — Ведь мы защищаемся. На нас напали.

Однажды пришла очередная большая группа немцев. Среди них находилось и несколько офицеров. Один из них особенно интересовался, почему Красная Армия не сдается. Нам он задал такой вопрос:

— Думает ли Красная Армия наступать?

— Да, наступать наша армия, безусловно, будет, — отвечал я. — Временные неудачи есть следствие внезапного нападения.

Офицер послал куда-то одного солдата. Скоро тот принес небольшую политическую карту мира на немецком языке. Офицер подошел к карте и, показывая пальцем на нее, сказал через переводчика:

— Смотрите, мы от Москвы недалеко. А Берлин — вот где. Неужели Красная Армия еще думает наступать на Берлин? — и при этом офицер победоносно посмотрел на своих товарищей и громко засмеялся.

Меня покоробил самоуверенный, наглый тон «завоевателя». Я не выдержал. Приподнялся и медленно, но громко сказал:

— Да, Красная Армия еще будет наступать и пойдет на Берлин. В этом все убеждены — и наш народ, и наша Армия. И Москву взять нельзя, как нельзя победить русский народ!

Мой ответ разозлил их. Они загудели, как растревоженные осы. Стали громко кричать, показывая на меня пальцами, некоторые открыто смеялись.

Градского мой ответ восхитил. После ухода немцев он сказал:

— Правильно. Так и надо им отвечать. Пусть будет, что будет. Надоело их бахвальство. А расстрелом они нас не испугают.

Мы думали, что немцы после такого случая перестанут к нам ходить. Вышло же наоборот. Посещения их участились. Теперь число желающих посмотреть на живых большевиков увеличилось. Слово «большевик» многими произносилось с угрозой, со злобой, а неко-

торыми — с иронией. Мы же перестали обращать на них внимание, иногда даже не отвечали на их вопросы.

Тоскливо тянулось время. От нечего делать мы начали просматривать газеты, полученные от толмача в штабе полка, и открыто, от души над ними смеялись. Газеты издавались русскими организациями в Берлине, по-видимому, белогвардейцами. Названия их у меня не сохранились в памяти, периодичность тоже не припомню. Однако газеты были большие, одна на 32 страницах, вторая на 24.

Писали там такую чепуху, что каждый мало-мальски разбирающийся человек не мог на них не плюнуть. Там, например, отводились целые статьи созданному в воображении гитлеровцев акционерному обществу по разработке богатств... Урала и Средней Азии, что напоминало популярную русскую сказочку о дележе шкуры еще не убитого медведя. Точно определяли, кому и что общество продаст, и даже подсчитали, сколько оно получит прибыли. Там же обсуждался проект нового «русского правительства». Вспоминались прошлые обанкротившиеся политические деятели. Описывалась подробно жизнь А. Ф. Керенского в Америке. Много строк отводили тому, как он проводит свои дни, о чем думает, с кем говорит, где бывает. Подробно описывали жизнь людей, историей выброшенных из нашей страны. Очень много и громко пели гимны фашистской армии и, конечно, ругали большевиков.

Но бросалась нам в глаза и такая особенность. Говоря о войне Германии с СССР, ни одна из газет ни слова не сказала о войне Германии с Англией. Мало того, английские имена произносились с явным почтением, даже некоторые английские дельцы упоминались как участники «акционерного общества по эксплуатации Урала и Средней Азии». США рассматривалась как потенциальный ближайший союзник. В одной газетенке даже сообщалось, что США скоро должны объявить войну большевикам.

Кормили нас нельзя сказать, что плохо, но давали понемногу. Как видно, пищу приносили из общего котла. Приготовлено все было почти вкусно, а может быть, здесь и длительная голодовка сказалась, и нам все было вкусно и мало: ведь немцы вообще вкусно готовить

не умели. Хлеба нам давали не больше 200—250 граммов в день. Чай я просто пить не мог. У немцев своего чая нет. Вместо чая они заваривали луговую траву. Такой чай напоминал по запаху русскую баню, а к банному запаху чая я весь плен так и не мог привыкнуть. Утром давали ячменный кофе. Однако и кофе давали мало. Все время я так и не мог понять, чем вызваны ограничения воды? Ведь хоть воды-то можно бы давать вдоволь. А как спросишь, то всегда получаешь ответ: запрещено — ферботен. Так протекали наши дни в немецком полевом лазарете.

Однажды утром, дней через семь-восемь после нашего лежания на сене, в немецком лазарете началась большая суетня. Туда и сюда засновали машины, но раненых они не привозили. Что-то начали грузить. Мы догадались: вероятно, госпиталь получил распоряжение о передислокации. Так оно и получилось на самом деле. К нашему амбару подошла санитарная автомашина. В помещение вошли два немца, один из них разговаривал по-русски. Он объяснил: госпиталь переезжает, и нас отвезут в Починок.

Снова нас погрузили и повезли. Ехали долго и тяжело. Часа через три с половиной приехали в Починок. Подъехали к большому кирпичному зданию. Один немец ушел. Через тридцать минут, примерно, он пришел и говорит:

— Приказано вас отвезти в концлагерь для военнопленных. Здесь мест нет.

Опять поехали. Ехать снова было мучительно тяжело. У меня разболелась нога. Градский всю дорогу стонал. Немецкая санитарная машина слишком высока, неудобна, страшно качает, а при длительном пути просто невыносима. Всего в машину можно поместить четырех тяжелораненых да человек пять-шесть легкораненых, как говорят, «сидячих». В машине душно. Смотреть на дорогу нельзя, нет окон. Шофер не обращает внимания, кого везет. Ему лишь бы ехать да ехать поскорее. Дорога плохая, ухабистая. У меня кружилась голова, стреляла нога, нечем было дышать. А про моего бедного товарища и говорить не приходится: он лежал в полузабытье.

Наконец машина остановилась. Снаружи слышался невероятный шум, русская речь. Санитары открыли дверь машины, и нас высадили. Машина быстро развернулась и уехала. Мы очутились среди русских. Нас доставили в Рославльский концлагерь для военнопленных.

В КОНЦЛАГЕРЕ

Но сначала мы не знали, куда нас завезли. Кругом было много людей. Все в советской форме, но без знаков различия и до невозможности грязные. Шинели у многих разорваны, без хлястиков, гимнастерки тоже грязные, в крови, поясов ни у кого нет. Некоторые в нижнем, окровавленном белье. Лица большинства окружающих заросли щетиной, многие были без пилоток и вообще без головных уборов. Большинство были перевязаны пропитанными кровью бинтами. Обмундирование тоже в крови, мало того, что пропитано кровью, но еще все засохло, как-то заскорузло. Руки у многих грязные, как видно, давно не мытые. И что сразу бросилось в глаза: почти у всех просящие, какие-то испуганные, жалостливые взгляды, как будто все они в чем-то страшно виноваты. В воздухе стоял больничный запах, но пахло не лекарством, а трупным разложением. Во рту ощущался сладковато-тошнотворный едкий привкус.

Это и был как раз тот концентрационный лагерь для военнопленных, куда нас обещали доставить.

Лагерь был создан фашистами на западной окраине города Рославля Смоленской области. Он был расположен, если ехать по Варшавскому шоссе с запада, не доезжая города, сразу же около шоссеной дороги, с правой стороны.

До войны здесь располагалась школа для младших командиров пограничных войск Наркомата внутренних дел. Для школы было построено два больших двухэтажных здания из серого кирпича. Рядом была оборудована кухня, тоже из такого серого кирпича. Вокруг кирпичных зданий стояли деревянные постройки, где находились различные склады: вещевые, продовольственные и даже оружейные. Несколько складских зданий сделаны тоже из серого кирпича. Два

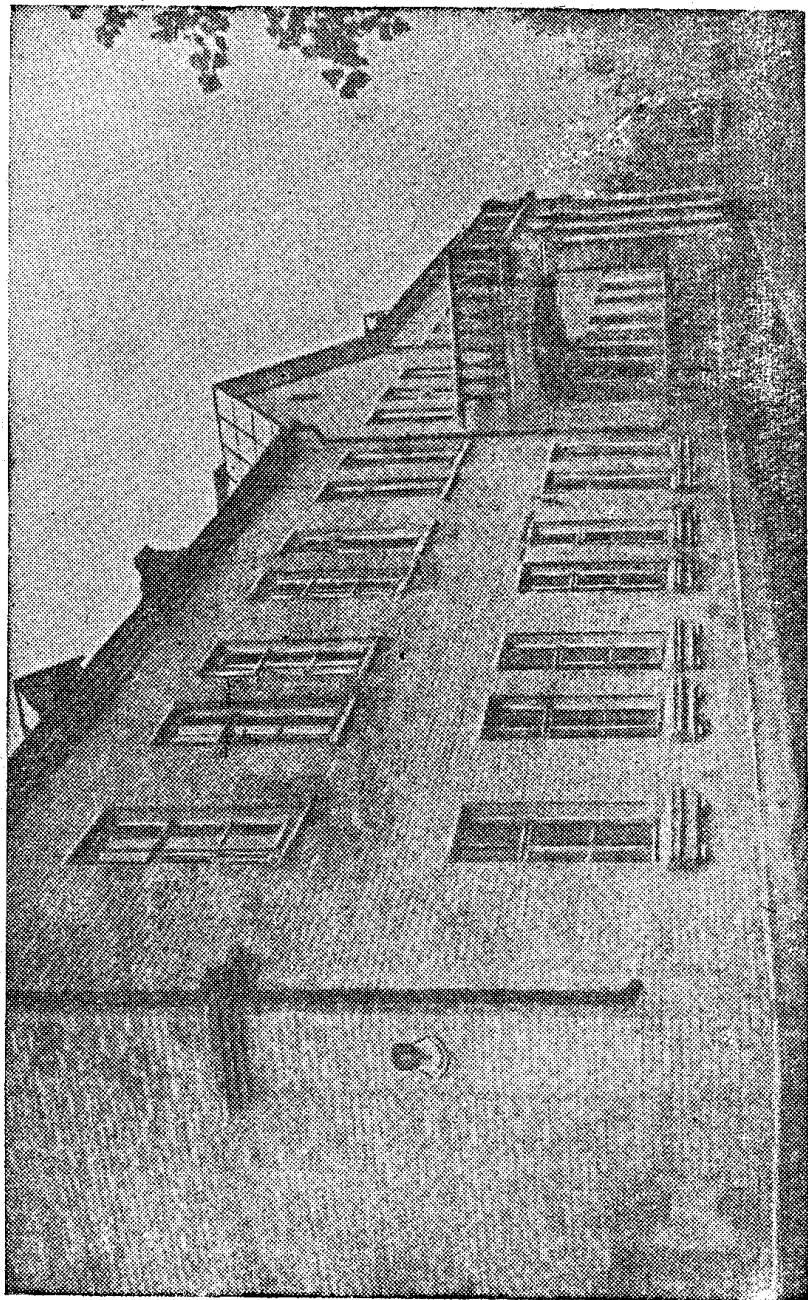
сарая были особенно велики, примерно по 35 метров длиной и шириной до 25 метров.

Всю территорию бывшей школы, вместе с постройками, немцы и отвели под концентрационный лагерь для военнопленных. Кроме того, сюда же они включили и несколько жилых домов, расположенных около шоссе на окраине города. В домах этих, вероятно, раньше жили семьи командно-начальствующего состава школы, и они имели как бы общее архитектурное оформление со школой. Территория лагеря довольно большая, что-то около 800—900 метров в длину и 600—700 в ширину.

Что-то, а концлагери фашисты строили крепко, надежно, с большим умением. Сразу чувствовалась их опытность в этом деле. Весь лагерь обнесен большой изгородью из колючей проволоки, высота которой была выше трех метров. Проволока переплеталась так часто, что пролезть через нее было нельзя. Колючей проволоки для концлагерей враг не жалел. Через три метра от первой проволочной изгороди шла вторая такая же изгородь. А расстояние между ними переплеталось тоже проволокой в виде паутины. Если даже кто, вздумав бежать, и преодолел бы первый ряд изгороди (что исключалось вообще), уж «паутинку» и второй ряд преодолеть совсем не представлялось возможным.

Кругом лагеря, с наружной стороны, ходили парами часовые. Участок их наблюдения не превышал 50—60 метров. Через каждые 200—250 метров кругом стояли вышки. Там дежурили часовые с пулеметами и с прожекторами. А в поле, около лагеря, со всех сторон оборудованы были специальные блиндажи с дотами и дзотами. Сюда на ночь назначалась особая команда на случай, если бы партизаны или еще кто-либо вздумал напасть на лагерь и освободить пленных. Около центральных ворот, в особом доме, который отделялся от лагеря и от города тоже проволокой, дежурил отряд немцев. Дальше, в поле, стояли вражеские секреты. Гитлеровцы несли внешнюю охрану своими силами. Этого никому не доверяли.

Во главе лагеря стоял фашистский офицер. Отдельные службы тоже управлялись офицерами из фашистов, но внутреннее управление передавалось лагерной



Рославльская городская больница, где во время оккупации был первый корпус концлагеря.

полиции. Через полицию немцы и осуществляли полное руководство лагерной жизнью. В полицию фашисты подбирали, главным образом, людей, скомпрометировавших себя перед Советской властью — деклассированных элементов, уголовников, бывших кулаков.

Лагерная полиция была многочисленной, и в ней стояло иногда до 150—250 человек. От лагерной полиции выделялась кухонная полиция человек 20—30 и лазаретная — человек 15—20.

На вооружении полицейские имели пистолеты, специальные плетки или особые дубинки. Правда, огнестрельное оружие фашисты доверяли не всем полицейским, но и дубинка в руках изуверствующего выродка являлась тяжелым оружием. У начальника лагерной полиции на поясе в кобуре всегда был пистолет. Начальник лагерной полиции имел большие права, и ему фашистские власти оказывали особое доверие.

Пользуясь своим положением, полицейские отбирали одежду у пленных и одевались хорошо. На левых рукавах они носили красные повязки, где белыми буквами было вышито: «полицай». Человек с такой повязкой на руке не стеснялся в своем поведении. Действия полицейских вызвали возмущение целого лагеря. Это знали полицейские и, в свою очередь, мстили пленным. Жили полицейские отдельно от пленных, рядом с лагерной охраной, но и в город их не всех и не всегда пускали. Фашисты, оказывается, не всем своим холоум доверяли.

И вот сюда-то, в такой лагерь, попали и мы. Правда, тогда в августе 1941 года, лагерь не был еще так укреплен, как об этом сказано выше. Тогда здесь под лагерь была отведена сравнительно небольшая территория, хотя и густо опутанная проволокой и охраняемая снаружи немцами. Не было тогда и полицейских, они появились несколько позже. Проще было и управление внутри лагеря, если не сказать, что управления вообще сначала не имелось, так как лагерем ведали фронтовые части, а им было не до управления. Сгнав в одно место большое количество пленных, фронтовые части держали собранных, как скот, не интересуясь, что и как происходит там, внутри самого лагеря.

...Когда немцы сняли нас с машины и уехали, нас сразу же обступили со всех сторон. Посыпались вопросы: «Кто?», «Откуда?», «Когда попали в плен?», «Где ранены?», «Какое у вас воинское звание?» и многие другие. Мы не управлялись отвечать. Кроме того, многие стали обращаться с просьбами: кто просит табачку на закруточку, кто — хоть маленький кусочек хлеба, кто — бумажки на сигарку и т. п. Удовлетворить все просьбы, естественно, мы не могли.

Тут-то я и вспомнил про белогвардейские газеты. И, вероятно, впервые за все время существования этих газет они сыграли более или менее полезную роль. Я достал их, разорвал на мелкие части и раздал по кусочку товарищам по несчастью. В несколько минут газеты расхватали. Я искренне пожалел, что бумаги оказалось мало.

От расспросов и просьб я не знал, куда деваться. Видя мое беспомощное состояние, русский пленный врач Федоров пришел мне на помощь. Он просто приказал санитарам, тоже из пленных, положить меня на носилки и отнести в четвертую палату, на второй этаж здания № 2. Градского отнесли туда же немного раньше меня.

Оказалось, что здесь, в концлагере, пленные русские врачи организовали госпиталь для раненых и больных. Они пришли на помощь своим товарищам, находящимся в еще худшем состоянии.

Госпиталь, или лазарет, как его часто называли, размещался в обоих двухэтажных зданиях или корпусах, где раньше жили курсанты пограншколы. Никто из немцев, как я узнал впоследствии, не собирался организовывать госпиталь для пленных. Это сами пленные врачи проявили свою инициативу.

Устроен был госпиталь самым примитивным образом. В каждом здании, или, как мы тогда говорили, корпусе, четыре палаты, две в нижнем этаже, две в верхнем. В палатах стояли сколоченные на скорую руку из неотесанных, к тому же плохо пригнанных друг к другу досок нары в два этажа. Доски были взяты из разобранных тут же в лагере сараев. И делалось все это самими же пленными.

В такой палате можно разместить 160, от силы 180 человек. А всего в здании могли поместиться че-

ловек, 640—720. Я говорю про нормальные условия. В действительности же было иное положение: в зимнее время в одном здании находилось по 1800—2000 человек. Люди лежали на полу, в проходе, в коридорах и даже на чердаках под железной крышей (зимой-то!). И все же на чердаке было лучше, чем лежать в сорокаградусный мороз во дворе на земле.

Конечно, никаких матрацев, одеял, подушек или чего-либо подобного в госпитале и в помине не было. Не было даже простой соломы и негде было ее достать, так как из лагеря никого не выпускали. Раненый лежал на своей шинели, если только она у него имелась. А нет, то просто так, на голых досках или на голом полу.

Кроме восьми палат, в двух зданиях-корпусах было несколько служебных комнат. Оба здания-корпуса однотипные, в них одинаковые и условия, одинаково они и использовались. По одной маленькой комнате в каждом здании отводилось для аптек. Впрочем, лекарств в них никогда не было. Обычно в аптеку все, кто имел, отдавали бинты, а потом здесь же стирали использованные и опять пускали их в употребление. По одной комнате занимали врачи, фельдшера, а впоследствии лучшие комнаты заняла лазаретная полиция (но это потом, несколько позже). Кроме того, на каждый корпус полагались санитары, рабочие. Подбирали такой персонал пленные врачи по своему усмотрению, и жили санитары и рабочие где придется, часто даже в палате вместе с ранеными.

В палате мы снова были подвергнуты всевозможным вопросам и расспросам, но уже «сидячих» и «лежащих» раненых, которые по состоянию своего здоровья не могли спускаться вниз, но тоже хотели знать, что и как делается на фронтах.

Мое положение оказалось затруднительным. На мне был хороший офицерский костюм. Ведь я был кадровым офицером Красной Армии, а не пришел по мобилизации, как многие. В петлицах у меня приколоты прямоугольники, и я их не считал нужным снимать во время окружения. Новенькая шинель (хоть и не моя), приличные брюки — все это значительно выделяло меня из окружающих. На мне была форма, в которой я начинал воевать и предполагал умереть и

которую я оберегал по мере своих сил. Некоторое время я носил эту форму и в лагере, но потом, по совету того же врача Федорова, чтобы не выделяться из общей массы, не привлекать к себе ненужного внимания, снял прямоугольники и спрятал их в карман.

На вопросы окружающих я старался ответить спрavedливо. Подробно рассказывал обстоятельства первых дней боев, об окружении, ранении. Здесь мне было о чем говорить, и слушали меня внимательно. Только о своем воинском звании я поддерживал версию Градского, а чаще всего молчал. Да, собственно, никто не требовал никакого подтверждения. Никого мое воинское звание и не интересовало.

Никакого учета, переписи пленных, ничего подобного в лагере не проводилось. Я свободно мог называть себя как угодно и кем угодно. Многие так и делали. Вот почему в дальнейшем при упоминании фамилий отдельных лиц, попадавших в лагерь, трудно ручаться за достоверность их имен и фамилий. Можно быть уверенным: чуть ли не добрая половина пленных жила в лагере под чужим именем, под чужой фамилией.

Я же свою фамилию называл правильно. Надобности выдумывать мне не было. Мою фамилию каждый не сразу запоминал. Обычно вместо Голубкова меня называли Голубевым, Голубовым или Голубцовым. На все эти фамилии я одинаково отзывался. То, что я Голубков, знали только близкие мне по духу люди, а их я не опасался.

Пока лагерь еще не был оборудован и укреплен, убежать из него не представляло труда. Достаточно подойти к изгороди, а изгородь была еще в один ряд, дожждаться, когда часовой немного отойдет, перелезть через проволоку, затеряться среди гражданского населения, и дело сделано. Гражданского населения около лагеря особенно в первые месяцы толпилось много. Так многие и уходили из лагеря. Я не говорю, что убежали, так как побег по существу не походил на побег.

Но я был ранен. Первые месяцы не мог ходить без костылей. Сама по себе рана не тяжелая, но задета берцовая кость, и при ходьбе напряжение мышцы вызывало страшные боли. То, что я убегу из лагеря, не

вызывало у меня сомнения. В этом я твердо был уверен. Мысль о побеге ни на одну минуту не оставляла меня. Вопрос был только во времени. Надо подлечить раны, подобрать группу товарищей и идти в леса, партизанить, помогать бить врага и на оккупированной фашистами земле. Вот к чему устремились теперь все мои помыслы. Но для этого нужно было время.

Часа четыре «допрашивали» меня и «лежачие», и «сидячие», и, наконец, «ходячие», пришедшие со двора. Всех интересовал один вопрос: «Как фронт? Стал или движется?». Всем нужно дать ответ. Сказать не знаю — нельзя. Такой ответ мог просто морально убить их, и мы понимали состояние своих новых товарищей. Нам было что сказать, и мы говорили: «Фронт стоит. Немцы не везде подошли к Десне. В частности, в Екимовичах они даже и к реке не подошли». И мы их не обманывали. Мы говорили настоящую правду. Допрос в штабе фашистского полка — вот особенно веское свидетельство нашей правоты.

Надо было видеть радость, воодушевление раненых и всех присутствующих от такого сообщения. Во всех концах палаты, а потом и во всем лагере обсуждались наши слова, и у многих они подняли настроение. Много возникло разговоров о том, что Десна выполнит историческую роль. Она задержит немцев и даст возможность нашей Красной Армии подготовить сильный удар по врагу. Нашлись люди, которые рассказывали, как они строили оборону и что они там сделали.

К вечеру в нашу палату пришли «ходячие» раненые и из соседнего второго здания, пришли пленные из общего лагеря, пришли, чтобы самим поговорить, послушать, спросить, убедиться в правоте дошедших до них слухов. Всем надо было снова рассказывать, повторять, чтобы поднять их настроение. И мы не скупались на слова, говорили страстно, горячо, так, как вряд ли говорили на беседах в мирное время. Да нам уже помогали и многие из присутствующих. Нашлось немало добровольных помощников, которые не только передавали наши слова, но и комментировали их.

Всех интересовал вопрос: «Когда Красная Армия перейдет в наступление и освободит нас»? Вокруг это-

го вопроса в основном велись тогда разговоры, делалось много предположений. То, что Красная Армия перейдет в наступление, сомнений ни у кого не вызвало. Все были уверены в силе и могуществе своей родной Красной Армии и ожидали этого наступления теперь, в августе или сентябре 1941 года.

В первый же вечер мы убедились, что питание в лагере «не налажено», и когда оно будет «налажено», никто толком не знал. Немецкие власти даже не отвечали на такие вопросы, если их спрашивали. Для раненых привозили только воду да разрешали принимать «приношения» от населения. Только тем раненые и жили. В общем же лагере, для здоровых пленных, и воды-то не было.

Среди медицинских работников, да и среди раненых нашлось немало людей и из нашей дивизии. Оказалось впоследствии, что были даже люди, знавшие меня как политрабработника дивизии, но никто из них не выдал меня.

Новые знакомые дали мне и Градскому несколько кусочков хлеба, зеленых помидоров, яблок. Огня в госпитале не было, да его и не разрешили бы зажигать. Началась первая наша ночь в концлагере, и провели мы ее в разговорах со своими новыми друзьями, в мечтах о том счастливом времени, когда снова сможем приносить активную помощь нашей горячо любимой Родине, Красной Армии.

Вот и рассвет. Я достал немного воды. У товарищей нашлись безопасные бритвы, мыло, и впервые за много дней мы побрились, умылись и сразу почувствовали некоторое облегчение. Недаром говорят: «Как побреешься; так больше начинаешь уважать себя».

Но начинало мучить безделье. Лежать надоело. Время тянулось тоскливо. Разговоры иссякли. Я поднялся на нарах и выглянул в окно. Город был хорошо виден, а внизу, прямо под окном (так как сначала проволока проходила здесь), стояла большая толпа населения. Многие тут же ночевали.

К лагерю приходили большей частью женщины. И приходили они нередко издалека. Здесь можно было встретить людей из Полтавской, Могилевской, Харь-

ковской, Минской и многих других областей. Весть о Рославльском лагере, куда фашисты доставляют пленных, раненых из многих областей, разнеслась далеко и разнеслась очень быстро. Люди шли, надеясь встретить знакомого, родственника или близкого или узнать про них, шли большей частью не с пустыми руками. Приносили прежде всего различные продукты. И если никого из близких или знакомых они не находили, то все продукты передавали в госпиталь или в лагерь. По окрестным деревням и селам шли разговоры: фашисты в Рославле собрали несколько тысяч пленных и не кормят их, а морят голодом. Наш народ, особенно женщины, которым и самим несладко было в оккупации, проявляли редкое мужество и сердечность, пытались, чем могли, помочь пленным. Вскоре среди населения развернулся сбор в пользу пленных. Урожай в то первое военное лето выдался замечательный. Но пленные нуждались не только в продовольствии. Вот почему собирали все, что только можно: продовольствие, медикаменты, одежду. Собранное привозили к лагерю на специальных подводах. Народ сам принимал меры к спасению своих русских людей.

Но лагерное начальство вскоре запретило передачи пленным. Под видом требования организованности эта сердечность русского человека, его отзывчивость были использованы немецкой комендатурой: лывиную долю приносимого населением враги стали забирать себе. Но народ и здесь нашел выход. Вообще большую часть врагов, стоящих на охране, легко можно было подкупить, и особенно за продукты. За десяток яиц любой гитлеровец охотно продал бы и своего коменданта, и самого себя. Среди пленных в ходу была такая поговорка: «Любой немец способен продать своего фюрера, лишь бы дали за него сходную цену. Просто желающих купить фюрера не находилось». Так за 10—15 яиц народ покупал охрану.

Но в первое время продовольствие, вещи в своем большинстве попадали в лагерь, минуя комендатуру, а следовательно, не все разворовывалось.

Сначала пленные только и жили приносимым населением. Однако попадало в лагерь слишком мало. «Ходячим» раненым было значительно легче. Они спускались вниз; подходили к изгороди, и здесь им из тол-

ны бросали и папиросы, и хлеб, и сухари, и вареное мясо, то есть все, что только можно бросить. Некоторые ухитрялись даже получить миску супа или бутылку молока. И на такого счастливица смотрели сотни глаз.

Плохо приходилось «сидячим» раненым. Они довольствовались тем, что им приносили «ходячие». Попадало же очень мало: ведь в лагере было несколько тысяч человек, и все хотели есть. Глядя в окна и наблюдая «охоту» голодных людей за куском хлеба, мы все только и думали о хлебе. О другом и думать не хотелось. Простой ломоть черного хлеба — предел мечтаний.

Но, как говорит русская поговорка, «голь на выдумки хитра». И мы придумали. У меня было донышко от каски. Я пристроил к нему веревочку и стал спускать его вниз, прямо в толпу, туда, где стояли женщины с продуктами. Сердобольные русские женщины не оставляли и нас без внимания. На нашу долю стало больше перепадать хлеба. Иной раз нас радовала и бутылочка молока. С питанием стало несколько легче.

Я сделал себе костыль и мог уже самостоятельно передвигаться по палате, а потом даже и выходить на двор, в общий лагерь. Значительно расширился и увеличился круг моих знакомых. Стал заходить я и в соседнее здание, или, как оно называлось, в первый корпус. Мне сказали, что там, в маленькой комнатке, лежат раненые советские офицеры. Хотелось посмотреть, что это за люди.

И как-то я отправился. С трудом, но все же взобрался на второй этаж. Вот и заветная дверь. Захожу в маленькую комнатку. Там вдоль стен стояли три топчана. На них лежали два советских полковника и капитан. Знаки различия у них не сняты. Здравуюсь. Смотрю и глазам своим не верю: на крайнем топчане лежит полковник Прудников Андрей Семенович, командир одного нашего стрелкового полка. Человек, с которым я собирался воевать, воевал и готовился идти на прорыв во время окружения. Обнялись и крепко расцеловались. Сразу на меня пахнуло чем-то родным, близким и в то же время далеким.

Сначала мы сидели молча, крепко пожимая друг другу руки. Потом разговорились. У Прудникова раны

тяжелые: раздроблена кость руки в предплечье и прострелена навывлет грудь. Ранили его во время прорыва, в котором должен был участвовать и я.

Рассказал подробно он и о самой операции, о которой, по существу, мы тогда, в окружении, ничего не знали, вернее, не знали о ней подробностей. Операция прошла успешно, хотя и был большой и жаркий бой. Наши выбили немцев с их позиций лобовой атакой.

Атак русских фашисты боятся и, как правило, не принимают. Захватив переправу через реку Остер, отряд Прудникова не один раз отбивал массированные атаки немцев. Гитлеровцы понесли большие потери, одних танков у них было подбито семь. Успешно проходил и выход наших частей из окружения. Но немецкое командование старалось всеми средствами не дать нашим прорваться и сил для этого не жалело. Самолеты все время бомбили отряд. Во время одного такого большого налета пулеметным огнем с бреющего полета Прудников и был ранен, а комиссар полка, батальонный комиссар В. Н. Макаров, убит.

Особенно подействовали на меня слова о гибели Макарова: ведь я должен был ехать комиссаром этого отряда вместо него. Но и на сей раз смерть обошла меня. Мне стало очень тяжело. Жаль товарища. Ведь Макарова я знал хорошо. Мы долго работали вместе, часто встречались по различным делам. А теперь его нет. Любили его в полку, пользовался он авторитетом и в штадиве.

После некоторого молчания Андрей Степанович продолжал свой тяжелый рассказ.

Когда он очнулся, поблизости никого уже не было. Бой стих. Его не подобрала. Вероятно, подумали, что он убит, а хоронить было некогда. Он не знал, кто в соседнем лесу: свои или враги. Не знал, сколько времени прошло после боя. Немного отполз в сторону и лег в кустах, там силы его оставили. На второй день его увидел фашистский солдат. Солдат, как видно, был без оружия, что-то кричал, но подойти к нему не решался. Постояв немного, немец ушел. Андрей Степанович попытался вновь замаскироваться, кое-как затянул свои раны рубахой, отполз немного глубже в лес и снова спрятался в валежник. Но вскоре пришли семь немцев с собакой, его разыскали и доставили в конц-

лагерь. Положение Црудникова оказалось тяжелым. Здесь он долго лежал без сознания и вряд ли вообще выжил, если бы не заботы русских пленных врачей. Но выздоровление затягивалось и главным образом из-за голода.

Я долго говорил со своим боевым товарищем. Мы вспоминали старых друзей, мирную жизнь, первые бои. Рассказал я ему и про свое положение. Он одобрил мой план — затеряться в общей массе и постараться скорее бежать.

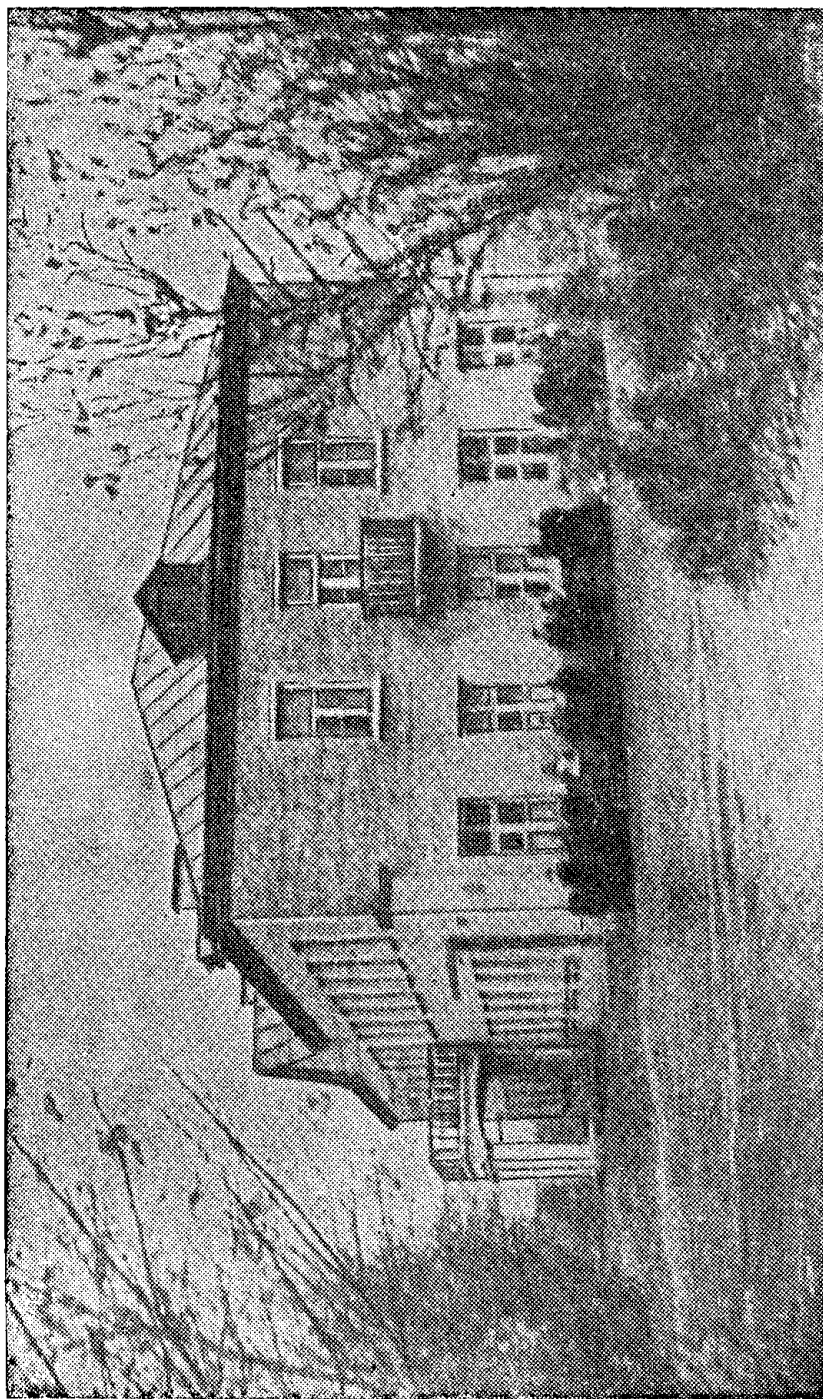
Познакомился я и с другим полковником — артиллеристом Киселевым. Лет 40—42, полный, круглолицый мужчина. Он был начальником артиллерии в одной из дивизий. Он и его адъютант — капитан (фамилии не помню) — были в подавленном состоянии, и их можно хорошо понять: неудачи первых месяцев войны, ранение и плен не могут создать хорошего настроения. Но я старался рассеять их мрачные мысли, говорил им о их возможной еще борьбе против фашистов, говорил о необходимости найти место и среди пленных: надо ободрять пленных, призывать их к борьбе.

Я говорил эти слова, несмотря на то, что у самого было тяжело и мрачно на сердце.

В лагере начали вводить новые порядки. Фронтвая часть, организовавшая лагерь, передала его «СД», то есть государственной фашистской политической полиции. Усилилась охрана всего лагеря. В общем лагере выстроили всех пленных и отделили командно-политический состав от рядового. Отдельно отобрали политработников и евреев. Как стало потом известно, политработников и евреев отправили на кладбище и там без суда и следствия расстреляли.

Приказано было взять на поименный учет офицеров и в госпитале.

Передо мной снова встал вопрос: «Что делать? Назвать себя политработником и умереть или затеряться в общей массе и попытаться еще быть полезным своей Родине?» Уже приступили к составлению списков командно-политического состава в госпитале. Рядовой состав никого не интересовал, и его не учитывали. Если же назвать себя капитаном, значит, тоже попасть



Здание Рославльской городской больницы, куда в августе 1941 года были заключены в концлагерь раненые С. Голубков и В. Градский.

в список, все время находиться под наблюдением администрации. А это, в свою очередь, значило, что как только раны закроются, меня увезут дальше на запад, а может быть, и в Германию, во всяком случае туда, откуда труднее будет бежать. Мне тяжело было отказываться от того, чем я гордился — от своей причастности к политическим работникам, но отказ этот был внешним, внутренне я им оставался все это время.

† Опять пошел на совет к Прудникову, хотя уже раз мы и говорили с ним на эту тему. Посоветовался и с Градским. Решено. Я остаюсь в лагере. Теперь прошу своих товарищей не называть меня по званию, а звать просто по имени и отчеству. Думаю, что в общей массе пленных я смогу больше принести пользы своему народу, попавшему в беду. Да и убежать в таких условиях будет значительно легче.

Резко ухудшилось питание пленных. Новое начальство вообще запретило принимать продукты от населения. Людей, стоявших около лагеря, теперь разгоняли. Лагерь стали все больше и больше опутывать колючей проволокой. Территорию его значительно расширили. Изгородь от стен зданий госпиталя отнесли метров на 150 вперед, к городу. Теперь уже нельзя было «ловить» нашей удочкой из окна. Не стали разрешать и населению бросать продукты через изгородь, а пленных от изгороди стали отгонять.

Однако среди охраны лагеря находились разные люди. Ведь и немцы не все фашисты. Встречались и такие, которые разрешали подходить пленным к изгороди и получать от населения продукты. Таких охранников, правда, встречалось мало, и их в лагере скоро узнали. Хорошую смену, то есть смену внешней охраны, где встречались такие, как нам казалось, гуманные люди, все ждали с нетерпением.

Но в своем большинстве немцы смотрели на русских, а особенно на пленных, как на людей низшей расы, и относились к нам презрительно. Если же голод толкал некоторых пленных на поступки унижительного характера, то тем самым русские, по мнению фашистов, только показывали свою дикость, некультурность, отсталость. Находилось много охранников-гитлеровцев, которые специально старались поставить пленных в унижительное положение.

Зайдет, бывало, фашистский унтер в лагерь и гуляет около проволоки, но держится поближе все же к своей охране. Прохаживаясь вдоль изгороди, унтер делает вид, что поглощен своими мыслями и якобы не обращает внимания на окружающих. Осмелев, пленные делают знаки женщинам, стоящим по ту сторону. Те через изгородь бросают в лагерь за проволоку куски хлеба, помидоры, огурцы и т. п. Люди в лагере голодные, ничего по несколько дней сплошь и рядом не ели. За куском хлеба из-за проволоки следят сотни жадных глаз. К каждому брошенному куску хлеба бросается большая группа людей. А «цивилизованному» колонизатору только того и надо. Он бросается к свалке, стреляя на ходу и размахивая плеткой направо и налево. Охрана тоже обычно в таких случаях начинает стрелять. Поднимается тревога и снаружи лагеря. А унтер, самодовольно гогоча, громко кричит что-то своей охране, презрительно показывая на голодных, оборванных, прязных и заросших людей, которых сами же фашисты довели до отчаяния, довели до такого состояния, что кусок хлеба, все время маячащий у них перед глазами, заставляет их терять свое человеческое достоинство.

Можно ли сказать, что здесь пленные виноваты? Нет! Вина целиком должна лечь на так называемых «цивилизованных», не дававших пленным ни воды, ни хлеба и этим самым доводивших их до отчаяния. Я знал людей, которые до конца держались за свое человеческое достоинство и не участвовали в этих свалках. Они стали первыми жертвами голода.

Сначала такие забавы носили как бы невинный характер. Стреляли больше вверх. Фашисты довольствовались испугом людей и действием своей плетки. Но потом «цивилизаторам» показалось этого мало. Охранники стали стрелять в кучу пленных, бросающихся за куском хлеба.

Очень хорошо помню, как 27 сентября 1941 года произошло подобное варварство. Эта дата навсегда запомнилась мне.

В погожий день молодой фельдфебель прогуливался с автоматом вдоль проволоки в лагере, а сам зорко следили за поведением голодных людей. Какая-то женщина подбежала к изгороди снаружи и стала бросать

в лагерь огурцы, хлеб, помидоры. Следом за ней подбежали еще несколько женщин и тоже что-то бросили за проволоку. Женщин заметили в лагере. Голодные пленные устремились туда. В нескольких местах столпились группы людей. Фельдфебелью такое положение показалось возмутительным. Не раздумывая, он поднимает свой автомат и весь магазин разряжает в пленных. Следом за фельдфебелем начала стрелять охрана. Охрана стала стрелять не только в кучи пленных, но и в мирных женщин, близко стоящих у изгороди и осмелившихся бросить несколько кусков хлеба голодным людям. Послышались громкие крики, стоны, плач. Фельдфебель перезарядил автомат и снова открыл огонь уже по убегающим пленным. Стрельбу услышали в караульном помещении. Поднялась общая тревога. Гитлеровцы, выбегая из караульного помещения, долго не раздумывали: они также открыли огонь по лагерю.

В самом лагере раздались громкие крики: «Спасайтесь! Немцы расстреливают пленных». Еще больше усилилась суматоха. Стрельба все разгоралась. Теперь уже работали и станковые пулеметы с наблюдательных вышек. Пленные старались укрыться, где только можно, многие ложились прямо на землю. Расстрел продолжался минут 20—25. В итоге убито 64 и ранено 58 пленных. Среди женщин, стоявших около изгороди, тоже две убиты, а раненых другие женщины унесли с собой, а сколько — не известно. Но раненые были, и было их немало.

К вечеру в лагерь приехал оберст, то есть немецкий полковник. По его приказанию построили весь лагерь. Построение происходило около нашего здания. Под охраной 25 автоматчиков полковник поднялся на импровизированную трибуну — поставленный здесь же стол — и, играя стеклом, произнес напыщенную резкую речь, яро грозя кому-то кулаком в замшевой перчатке. Речь длилась минут 20—25. Переводчик перевел ее буквально в нескольких словах. Смысл ее сводился к следующему: господин полковник недоволен поведением русских пленных, которые пытались подняться в лагере восстание и организовать побег. Если есть жертвы, то вина здесь исключительно русских, которые не умеют еще вести себя прилично. Чтобы не бы-

ло недоразумений в дальнейшем, господин полковник предупреждает: подходить к проволоке на 30—40 метров не разрешается. Всякий подошедший к изгороди будет расстрелян без предупреждения.

Молча, понурив головы, выслушали мы грозное предупреждение. В нас стреляли, и мы же, оказывается, виноваты. Вот она, логика фашистов!

После речи полковник в сопровождении свиты и под охраной тех же автоматчиков «осматривал» лагерь и госпиталь. Громко стуча ярко начищенными сапогами со шпорами, брезгливо оттопырив нижнюю губу, полковник скучающе бросал взоры на госпитальные палаты и постарался сократить свой осмотр. На обход двух зданий госпиталя военнопленных у него ушло не больше 15—20 минут. Он даже не захотел выслушать русских пленных врачей, которые работали в лагере. Высокий чин не зашел и на кухню, да, собственно, там и делать-то было нечего. Пленных еще не кормили, варить было нечего, кухня кипятила раненым два раза в день только одну воду, да и то не всем. Причем, воду привозили в бочках из города сами раненые на себе.

С тем высокий чин под той же надежной охраной и отбыл из лагеря.

ПЕРВАЯ ДИВЕРСИЯ

К сентябрю 1941 года в лагере находилось до 15 тысяч человек. Больших боев с августа по сентябрь не было: как известно, немцы не наступали в это время. Однако лагерь непрерывно пополнялся. А пополнялся он за счет так называемых рабочих команд. Еще когда немцам удалось взять первых пленных, войсковые немецкие части организовали у себя из них рабочие команды. Таких команд было много. Немцы обрадовались даровой рабочей силе. Теперь фронт стабилизировался. Рабочие команды во многих частях ликвидировались. Немецким частям разрешали брать пленных на работу только из лагеря.

На оккупированной территории устанавливалась новая фашистская власть. Старосты, полицейские угодили перед своими хозяевами и вылавливали «окру-

женцев», отправляли в лагерь всех лиц не местного происхождения или местных людей, чем-либо навредивших оккупантам.

Новые люди приносили в лагерь различные вести. Эти вести подвергались всевозможным судам и пересудам. Всем хотелось понять, что же происходит в стране.

В нашей палате обычно всегда собирались люди, чтобы поделиться новостью и обсудить создавшееся положение. Наши нары превратились в своеобразный клуб, где не только обсуждали новости, но, особенно по вечерам, рассказывали сказки, занимательные истории и вспоминали первые свои боевые дела.

Больше всего занимали нас дела недавних дней. Первые дни войны, наше наступление, окружение, разгром и пленение ни на минуту не забывались. Это и естественно. Рана еще свежая, и она основательно кровоточила. Люди, которые в первые дни войны приняли на себя удар фашистской армии, обагрили своей кровью нашу землю и в силу стечения обстоятельств попали в руки врага, такие люди хотели разобраться в происходящих событиях.

Тому, кто не пережил подобного, кто не был на фронте в первые месяцы войны, трудно представить себе ту злость, боль, горечь, которые возникали у каждого честного русского человека, видящего успех фашистской армии и ничего не могущего сделать, чтобы решительно изменить положение.

7, — Нет! — воскликнул однажды лейтенант Сергей Аксенов. — Все же мы хорошо воевали! — Аксенов был из нашей дивизии. Мы хорошо знали о том, что он рассказывал.

— Наш полк наступал. Мы заняли тогда деревню Захарьевку, выбили врага из Лихновки, и батальоны развернули наступление на Лындовку. Все эти деревни недалеко друг от друга. Нам хорошо помогали и соседние полки. В конце июля у нас был несомненный успех. Это неоспоримо. Враг отходил. Его отход видели все. Батальон наш наступал в направлении на высоту 271 и был уже недалеко от Лындовки. Несмотря на то, что наступать приходилось по открытому месту, красноармейцы шли уверенно, быстро. Разрывы снарядов немецкой артиллерии, небольшие группы фа-

шистских самолетов не могли остановить стремительного рывка советских войск, и через 20—25 минут батальон захватил высоту 271. Высота находилась в двух—двух с половиной километрах от деревни и очень хорошо защищала подступы к ней. Оставшееся расстояние мы были вынуждены переходить открытым полем, на котором раньше, вероятно, был выгон. Наши артиллеристы не рассчитали такого стремительного рывка своей пехоты и не успели перенести огонь с высоты, до того занимаемой врагом: мы попали под огонь своей же артиллерии и остановились. Пока выяснялась обстановка, пока то да се, минут 10—15 прошло. И они, эти 15 минут, навсегда остались в моей памяти.

Под прикрытием пулеметного и мелкокалиберного артиллерийского огня, усилившегося из деревни, с правого фланга села вышли шесть средних немецких танков. Пехота залегла. Наша артиллерия перенесла огонь на деревню. И тут-то началось...

Я и сейчас все это представляю себе как какой-то страшный и тяжелый сон. Из башен танков все время шел непрерывный огонь. Работали пулеметы. Их огонь прижимал наших бойцов к земле, не давал им подняться, а бойцы лежали на открытом и ничем не защищенном месте. Бутылок с горючим («КС») у нас почти не было. Да люди еще и не научились действовать ими как следует. Противотанковая оборона отстала... На открытом поле хозяевами положения оставались немецкие танки. Танки стали ходить вдоль фронта и гусеницами давить наших людей, расстреливая из пулеметов тех, кто пытался подняться.

Мы с комбатом тоже легли. Стоять было нельзя. Укрыться тоже было негде, да тут и не до укрытия. На наших глазах гибли хорошие, бесстрашные воины, до того не один раз ходившие в атаку на автоматы врага. На гусеницы танков навертывалось человеческое мясо, лилась кровь... И мы... мы, лежа на открытом поле, ничем не могли помочь своим людям, бессильно кусали губы и изливали потоки ругани по адресу немцев и, чего таить, ругали свое командование, которое, зная о силах врага, послало нас, не поддержав танками и самолетами. Правда, кое у кого оставались бутылки с

«КС», и их бросали, но они существенного вреда танкам не приносили, хотя один танк и загорелся.

Вы спросите, сколько прошло времени? Сейчас не скажу. Нам сперва казалось, что прошло очень мало, потом — очень много времени.

И вот, пройдя несколько раз вдоль фронта, танки повернули и безнаказанно ушли в деревню, а на смену им прилетели 23 немецких самолета типа «Юнкерс-88», которые один за другим начали пикировать на батальон, сбрасывать небольшие бомбы и расстреливать красноармейцев пулеметным огнем с бреющего полета.

Наступление наше приостановилось. Когда мы подсчитали потери, то оказалось: раздавлено, убито и ранено только в одном нашем батальоне 56 человек...

Взволнованная речь Аксенова произвела тягостное впечатление. Все молчали, но потом горячо заговорили, и все сходились на одном: несмотря на очень трудные условия, советский солдат дрался храбро, стойко и не жалел своей жизни в кровопролитных схватках.

— Сергей Александрович! — обращался ко мне Егор Ермолов. — Вы помните лейтенанта Захарченко? Я был во время окружения с ним вместе. Вот, я вам скажу, герой, так герой. Таких немало у нас!

Когда нас окружили у деревни Усоки, комбат послал на прорыв лейтенанта Захарченко. Нас было человек 20. Мы вброд перешли через Остер, и он первый очутился на том берегу. А там стояли немецкие противотанковые пушки. Лейтенант подкрался к ним через кусты и бросил гранату. Несколько немцев упало, а остальные разбежались. Так, вы знаете, лейтенант подбежал к противотанковым пушкам и стал из них стрелять в немецкие танки. Все знает и все умеет. Два фашистских танка поджег из немецких пушек. А пока он сам стрелял, мы из спаренного зенитного пулемета уложили массу немцев. Ведь Захарченко, если бы ему тогда хоть немного помогли, один прорвал бы окружение немцев. Мы за ним готовы были идти и в огонь, и в воду. Но убили гады нашего командира. Мы его принесли еще живого к своим, но спасти не смогли, умер.

Захарченко я знал. Это был кадровый офицер нашей дивизии, человек кипучей энергии, и в мирное

время у него часто были конфликты, приходилось ему сидеть даже на гауптвахте. Во время войны его энергия нашла выход. Уже в первые дни боев он зарекомендовал себя как отчаянной смелости человек, а во время окружения его находчивость, бесстрашие были поистине беспримерны.

Тот же лейтенант Аксенов рассказывал нам и о том, как были взяты нашими войсками первые пленные. Этот случай тоже многие знали у нас и подтверждали его своими словами.

— Полк успешно наступал на деревню Круглое, — говорил Аксенов. — К вечеру немцы контратаковали нас. Третий батальон немного потеснили. Но на помощь ему пошел батальон капитана Петрашевича. Завязалась ожесточенная перестрелка. Петрашевич поднялся и с криком «Вперед! за Родину!» побежал на атакующих гитлеровцев. За ним дружно, с громким криком «ура!» ринулись все мы. Немцы, не ожидая такого, повернув, побежали назад. Но группа немцев, человек в 150, растерялась и убежать не успела, так как командир нашего первого батальона тоже поднял своих людей и этим самым отрезал им путь к отступлению. Много немцев, побросав оружие, подняли руки вверх, а некоторые стали стрелять в тех, кто поднял руки. У нас не сразу поняли, что большая группа фашистов сдается. Когда мы прекратили огонь, то оказалось, что нами захвачено 88 немцев, среди них несколько офицеров, один даже гауптман, то есть капитан. А убитых лежало на поле боя столько, что трудно пересчитать — несколько сот. Дорого стоила врагу контратака.

Пленных отвели в лошину, к мосту. Политрук Богданов хорошо знал немецкий язык, он приказал им сдать оружие. На разостланную солдатскую плащпалатку немцы стали выбрасывать из своих карманов какие-то вещи, противогазные сумки. Богданов объяснил, что личные вещи пусть немцы оставят себе. Но фашисты продолжали разгружать свои карманы. Когда мы стали рассматривать, что за вещи выбросили немцы, то негодование охватило нас, советских людей. Все выброшенное немцами было наше, советское. Здесь и перочинные ножички, и самопишущие ручки, и детские платки, и куклы, и дамские платки, коф-

точки — чего-чего здесь только не было! И все было наше, родное. Немцы боялись оставить у себя то, что успели награбить у нашего населения, и они разгружали свои карманы от предметов, которые говорили о настоящих делах «цивилизованных» европейцев. Немцам были здесь только порнографические открытки, имевшиеся чуть ли не у каждого.

— До этого у меня было еще какое-то человеческое чувство к пленным врагам, — говорил Аксенов, — я не понимал еще по-настоящему врага даже после обращения главы правительства по радио 3 июля. Я еще смотрел на врагов, как на людей. А когда они начали поспешно выбрасывать все эти не имеющие военного значения вещи, мы поняли как нельзя лучше истинное лицо фашистов. Нам стало ясно, что ничего человеческого в них нет и быть не может. Я помню, как комиссар полка и представитель политотдела дивизии вызвали политруков из батальонов, раздали им брошенные фашистами предметы и рекомендовали не только рассказать красноармейцам, но и показать, чем занимаются на нашей земле «цивилизованные» завоеватели. Знаете, товарищи, я пожалел, что не сразу мог распознать фашистов такими, какими они были в действительности...

После этого наступление на деревню Круглое развернулось с новой силой. Брошенные немцами награбленные вещи сыграли свою роль. Красноармейцы передавали эти вещи из рук в руки и особенно берегли куклы и детские платица. Вещи действовали лучше всяких слов. Это была самая действенная и самая доходчивая агитация. Эти вещи лучше всяких слов показывали, кто пришел на русскую землю и с какими целями. Злость разжигала наших людей.

Мы снова подняли батальон в атаку на Круглое. Я бежал рядом с капитаном Петрашевичем. В руках у меня уже был трофейный автомат. Но атака была и на этот раз отбита. Немцы отразили ее автоматическим огнем. У нас же на весь полк насчитывалось только несколько автоматов вместе с трофейными, да еще с ограниченным количеством патронов. А у немцев автоматами были вооружены целые подразделения.

— Мы залегли, — рассказывал дальше Аксенов, — и снова стали готовиться к атаке. Собрали все пулеметы

ты и расставили их на флангах. Выдвинули полковую и батальонную артиллерию. И, поднявшись еще раз, решительным броском выбили немцев из деревни Круглое. Бросок был так стремителен, что фашисты не успели даже похоронить своих убитых, оставили много раненых. В руки наших бойцов попали богатые трофеи. Здесь и автоматы, и пулеметы, и даже несколько танков, закопанных в землю. Ничто не радовало так нашего бойца, как автомат. И хотя немецкие автоматы значительно хуже наших, все же ими охотно вооружались и офицеры, и бойцы.

Мирного населения в деревне не было. Все дома немцами сожжены. Деревня изрыта окопами, блиндажами, ходами сообщения. Все сделано для обороны надежно, крепко, хорошо, но ничто фашистам не помогло. Вот так мы и воевали...

Однажды вечером санитар Федор Касьянов привел к нам из общего лагеря нового пленного Ивана Нечаева. Нечаев воевал в должности старшины роты. Его часть удачно громила фашистов в Белоруссии, но потом очутилась в тяжелом положении. Нечаев попал в окружение. Товарищи уговаривали его остаться до поры до времени в одной из деревень Мстиславльского района, переждать, а потом действовать, смотря по обстоятельствам. Он согласился. Но смириться с действиями немцев он не мог и нагрубил полицейским. Те направили его в лагерь без всяких разговоров, как присталого человека.

От него мы впервые узнали о так называемом «новом порядке», который немцы устанавливали на оккупированной территории. Колхозы немцы распустили. Но колхозное имущество и скот разбирать крестьянам не разрешили. Все это они объявили немецким достоянием. Урожай также приказали собирать сообща. «Мы потом, — говорили они, — дадим хлеб, кому нужно, а пока работайте». Весь хлеб немцы предполагали взять для своей армии.

— А кто же работал? — спрашивает Павел Сляров, сидящий тут же и внимательно слушающий рассказчика.

— Да кто, — продолжает Нечаев. — Женщин согнали. Ведь мужчин почти не было. Пригоняли и пленных из рабочих команд, а наблюдение за работой вели

немецкие солдаты, староста и полицейские. Только трудно перехитрить наших людей. Почти весь хлеб крестьяне развезли по домам. Брала не только зерном, но и снопами. Это и вернее. Чем немцу давать, пусть больше наши пользуются.

— Вот и недовольны нами немецкие власти стали: хлеб убрали, а в закрома Гитлеру мало попало, — продолжал дальше Иван. — Ну и стали искать, кто научил крестьян хлеб растаскивать. Всех нас и забрали сюда, в лагерь. Мы ведь не местные. На нас зло и срывали.

— Слушай, Иван, — говорит Градский, — расскажи, как народ принял новые порядки. Неужели мирится с таким положением?

— Что тебе говорить! — отвечал Иван. — Как видишь. Раз сгоняет в лагерь всех мужчин, значит, веры нам нет. В нашем районе почти в каждом селе каждую ночь что-нибудь горит. Многие ушли в партизаны.

Сообщение о партизанах всех нас прямо-таки взбудоражило. До нас доходили слухи о начавшейся партизанской борьбе народа против гитлеровских оккупантов, но ничего точного мы не знали. Не мог ничего ясно рассказать нам и Нечаев.

— А ты что же не пошел к партизанам? — спрашивает Юнин.

— Что не пошел? Дурак был. Думал, здесь работы хватит, — отвечает Иван. — А теперь вижу, что давно надо было туда идти. Вот и попал сюда через свою глупость.

Такие беседы, споры, рассказы раскрывали настоящее лицо человека, и мы скоро узнали друг друга. Около наших нар стали группироваться люди, стремящиеся к борьбе. Нельзя сказать, что патриотическая группа в лагере складывалась одна. Нет! Таких групп было много. В каждой палате, на кухне да и в общем лагере люди объединялись. Сначала они объединялись для того, чтобы помочь товарищам, землякам в беде. А потом, когда они ближе узнали друг друга, цели их объединения ширились.

Около наших нар, кроме меня и Градского, постоянно были В. И. Шабаров — бывший работник особого

отряда, назвавшийся рядовым, П. Г. Скляр — боец, родом из Смоленской области, В. Юнин — учитель из Горьковской области, П. И. Федоров — врач из Воронежской области, С. Аксенов, скрывающий свое лейтенантское звание, Федор Касьянов — санитар, Иван Нечаев — старшина и некоторые другие. Мы часто собирались вместе, особенно в долгие и темные вечера и ночи. Спать не могли и время проводили в различных разговорах, спорах. Но все сходились на одном: борьбу против немцев надо продолжать. Продолжать эту борьбу надо всеми способами и средствами, даже в плену!

И однажды мы от слов решили перейти к делу. Как уже говорилось, отдельные воинские части и немецкие учреждения с первых дней существования лагеря пользовались пленными как даровой рабочей силой.

Обычно утром у комендатуры выстраивались представители таких учреждений и частей. Комендант отпускал пленных на работу. Пленных грузили на закрытые брезентом автомашины и увозили, а иногда и просто уводили из лагеря. Почти всегда рабочие возвращались в тот же день.

Мы не хотели работать на немцев, и на тех, кто шел в рабочие команды к немцам, мы вначале смотрели подозрительно. Но ведь голод не тетка. В лагере людей совсем не кормили. Голодный человек вынужден искать хлеб. Это же естественно. И пленные в рабочие команды шли очень охотно, так как на работе людям давали два раза есть. Мало того, что их там кормили, пленные были далеки от своих страшных мыслей, от одиночества, лагеря. А это уже большое дело. Иногда люди вынуждены были идти на работу, чтобы провести разведку, а главное и основное — достать кусок для себя и своего больного или раненого товарища. С этим приходилось считаться.

На одном из своих совещаний мы решили перейти к наступлению.

— Пора перестать быть пассивными наблюдателями, — говорил Шабаров. — Надо браться за дело.

И мы постановили: раз нам пока нельзя бежать, не удастся с оружием в руках воевать против немцев, то надо вести работу среди всей массы пленных. Лучше

всего убедить людей не ходить к немцам на работу. Но поскольку часть людей все-таки ходит на работу, то нужно делать так, чтобы вместо пользы немцам, наши люди приносили бы им на этих работах вред. Нам хотелось всеми силами и способами хоть немного, но помогать нашему фронту.

С такой целью мы и решили использовать рабочие команды. Кроме того, через рабочие команды мы надеялись установить связь с подпольным центром в городе, если такой есть, или с партизанским отрядом.

На разведку в рабочую команду наметили послать одного из своих проверенных людей. Выбор пал на Павла Григорьевича СклЯрова. Да он и сам горел желанием пойти, разузнать подробно, что делается, как и чем живут люди в городе.

— Павел Григорьевич до войны работал бригадиром одного из колхозов во Вхходском районе Смоленской области. Ему было лет 28—29. Открытое лицо, черные живые глаза и сильные крепкие руки выделяли его из многих окружающих. Сообразительный и решительный, он уже не один раз выходил «на охоту» за продовольствием к проволоке, и всегда его выходы бывали удачными. Без хлеба СклЯров еще никогда не возвращался. Не один раз он успешно вступал и в «объяснения» с охраной. Несколько немецких слов, жестикуляция рук, мимика лица — вот все и ясно, контакт устанавливается быстро. Все вместе взятое, сочетаемое с природным умом, сообразительностью и хитростью, делали СклЯрова хорошим разведчиком, и мы были уверены в его успехе.

Рана на ноге у него уже заживала, хотя он и продолжал жить в госпитале. Выходить из госпиталя в общий лагерь многие и не торопились. Зачем? Врачи, зная положение в лагере, тоже не торопились отпускать даже тех, кто уже выздоровел.

В середине сентября 1941 года СклЯров ушел на работу. Вечером, придя к нам, рассказал:

— Взяли меня в команду для работы на вешевом складе. Это недалеко от станции. Там раньше тоже был склад, но склад нашей, Советской, Армии. Имущества уж больно много, и все наше, советское. Чего, чего там только нет — и гимнастерки, и брюки... Вот, смотрите.

Действительно. Павел был одет во все новое. Таким образом одевались все, кто ходил туда.

Делали это довольно просто. Свое снимали, бросали, а новое там же надевали. Потом, придя в лагерь, они обычно менялись одеждой со своими товарищами, с тем, чтобы завтра опять надеть новое и таким образом снабдить одеждой возможно большее число пленных, которые сами не могли по каким-либо причинам попасть в рабочие команды.

— А вот вам, — протягивает он мне новый шерстяной подшлемник и фуфайку, — пригодится.

— А как же вы пронесли? — поинтересовался я.

— Пронести легко, — отвечает он и смеется. — Охрану купили: Любой немец только этим и живет. Они не особенно проверяют. На одежду даже не обращают внимания. За небольшую взятку охранники пропускали в лагерь и с одеждой, и с продовольствием.

Все рабочие знали нрав немцев и этим широко пользовались.

Несколько раз выходил Склярлов на работу. Но установить связь с местным подпольем ему все не удавалось, хотя выходы его приносили нам большую пользу. Некоторым нашим товарищам он заменил обмундирование, приносил и продукты, потом принес даже несколько книг: Пушкина, Лермонтова, Некрасова.

Положение на складе навело нас на мысль поджечь его. Имущества там насчитывалось на несколько миллионов рублей. Последнее время происходила сортировка обмундирования. Приходили туда целые немецкие подразделения и отбирали себе одежду, вероятно, для диверсионных групп, засылаемых в тыл нашей армии.

Под склад был занят большой деревянный сарай. Работало там обычно не более 30 пленных, а охрану несли только два немца. Подробно обсудив план диверсии, мы решили поручить провести эту операцию Павлу. Он согласился. Только попросил себе помощника.

Вместе с ним вышел на работу в тот замечательный день и Шабаров. Ребята пошли, уверенные в том, что дело доведут до конца.

Ушли. Страшно тоскливо тянулось время. Нам казалось, что дню конца не будет. Но вот наступил вечер.

Возвращаются в лагерь рабочие. Приходят наши диверсанты. Шабаров рассказывает:

— Я хотел зажигалку открытую среди имущества оставить, да как сделаешь, чтобы она не потухла? Думал, думал — ничего не получается. В сарае, где мы работали, никого из немцев не было. Они завели нас, а сами ушли и дверь заперли снаружи. Свет к нам проникал в маленькие окошечки. Ну, ребята сразу же спать легли. Хорошо, мягко, тепло. А мы с Павлом никак не придумаем «адскую машину». Наконец, придумали. Павел запасливый, у него оказалась с собой небольшая свечка. Обложили ее бумагой, зажгли перед уходом, когда нас выпускали из сарая, и пошли.

— Все уже вышли, — перебивает его Павел, — охранники собирались склад запирать, да подошел фашистский офицер. Он открыл дверь и зашел в склад. У меня сердце так и оторвалось: сейчас увидит нашу свечу, нас всех прикажет расстрелять, и затея наша лопнет. Минуты через две-три офицер выходит, мирно что-то насвистывает, а в руках новенькое шерстяное одеяло. Ему одеяло понадобилось. И вот вопрос — не заметил он свечу или та вовсе погасла?! Ну, теперь наше дело только ждать.

И мы дождались. Ночью за станцией в направлении вещевого склада запылал большой пожар. Но пожары в то время бывали очень часто, и мы терялись в догадках: «наш» ли это пожар?! Утром Павел пошел к комендатуре, на развод. Но на склад пленных уже не отбирали: не понадобилось, как видно, за отсутствием склада.

Павел все же пошел в город с другой бригадой. Сумел примкнуть к рабочим, ходившим как раз на станцию. Там он и узнал подробности прошедшей ночи. И вот, что нам стало известно.

Пожар был большой. Сгорело, кроме вещевого склада, еще два больших амбара, служивших складом для продовольствия. Там для оккупантов хранились рожь и мука. Так как рожь и мука полностью не сгорели, а только пропахли дымом и обгорели, то теперь окрестные крестьяне берут все это на корм скоту. Фашистские власти не захотели даже обгорелый хлеб отдать в лагерь пленным. А в лагере и такому хлебу обрадовались бы.

Причина пожара для немецких властей, как видно, так и осталась невыясненной. А может, они и не доискивались до причины. Во всяком случае на пленных они вряд ли подумали, так как никого из пленных, кажется, по этому вопросу не беспокоили. Так или иначе, а нам было бы известно об этом.

Удачно проведенная диверсия подняла наше настроение. В кругу своих, обсуждая первую свою диверсию, мы пришли к выводу, что такую работу надо усиливать. И вечером на нарах мы выработали план, по которому решили организовывать и направлять деятельность патриотов. В основном этот план сводился к тому, чтобы держать в курсе событий на фронтах всех пленных и уже одним этим поднимать у них настроение, вселять уверенность в правоту нашего дела и веру в победу над врагом.

Все средства следует использовать для такой цели: беседы, листовки, написанные просто от руки, а теперь еще и диверсии, подобные совершенной Склярным и Шабаровым. Мы решили тщательней присматриваться к пленным, искать смелых, решительных людей, привлекать их к практической деятельности против оккупантов, всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами препятствовать фашистам вербовать из пленных рабочую, а тем более военную силу.

Как воздух, нужна была нам связь с внешним миром, с подпольем, в существовании которого мы просто не хотели сомневаться. Очень хотелось нам с помощью подполья достать оружие и потом освободить весь лагерь. Такое дело нам казалось вполне возможным.

Вместе с этим договорились брать на заметку всех тех, кто активно помогал фашистам, запоминать таких людей до поры до времени. А такие люди уже были в лагере, их было немного, но они нам мешали.

Вот так мы и сформулировали свои первые задачи в конце сентября 1941 года. В знак верности своим целям мы крепко пожали друг другу руки. К нашей группе примыкало тогда уже более 35 человек. Стали мы выявлять и устанавливать связь и с другими такими группами в лагере.

И вот теперь, уже после войны, вспоминая и оценивая действия свои и товарищей, я все больше и боль-

ше убеждаюсь: как иногда бывала наивна и прозрачна вся наша конспирация. Мы плохо маскировались, да и не сразу научились этому нужному делу. Ведь собирались мы почти открыто и часто в палате; тоже почти не таясь, составляли и писали свои листовки-прокламации.

С точки зрения сегодняшнего дня, кажется, что достаточно было бы какому-либо работнику из лагерной администрации заметить это, и наша группа неминуемо была бы схвачена. Что нас спасло?

Нас спасла, пожалуй, излишняя самоуверенность немецко-фашистских властей. Самодовольные солдафоны, особенно в первое время, не допускали и мысли о том, что в лагере могут организовываться тайные группы и зреть заговоры против «высшей» немецкой расы. Беспощадный террор, массовые расстрелы и истязания в отношении непокорных, по их мнению, верное средство заставить советских людей в лагере смириться с своим положением и признать власть поработителей.

Наше счастье было и в том, что немецкие власти во внутреннюю жизнь лагеря почти не вмешивались, передоверяя это лагерной полиции. А полицейские, завербованные из различного сброда, были в большинстве случаев трусы из трусов и на ночь, например, в лагере не оставались никогда.

НАШИ ЛИСТОВКИ

В сентябре уже похолодало. Особенно мерзли мы ночами. Только отдельные счастливыцы имели шарф, полотенце, шапку, фуфайку или еще что-нибудь, чем можно было хоть немного защитить себя от холода. У огромного большинства пленных не было ничего теплого. Единственным спасением стали маленькие костры. И хотя немцы запрещали разводить огонь, часто даже стреляли по кострам, люди продолжали поддерживать огонь. В это время все пленные уже не умещались в помещениях и половина их жила под открытым небом.

К этому же времени относится событие, которое активизировало деятельность нашей группы внутри лагеря.

Однажды утром в лагерь въехали две большие автомашины. Они были затянуты брезентом. Из кузовов стали выпрыгивать автоматчики и подзывать к себе пленных. Голодные люди подумали, что их собирают на работу. Стали подходить. Окружив человек пятьдесят-шестьдесят пленных, немцы приказали им снять что у кого было: шинели, ботинки, шапки. Сначала никто не понял, что случилось, и все недоуменно стояли, не расходясь. Такая же участь постигла еще одну группу. Раздетых стали разгонять, «псдбадривая» прикладами автоматов и стрельбой вверх. Пленные перестали подходить к машинам. Тогда немцы отправились по баракам и там тоже раздели и разули людей. С некоторых снимали даже гимнастерки. Нагрузив обмундированием две большие машины, немцы уехали, а раздетым пленным предоставили возможность умирать не только голодной, но и холодной смертью.

Всех нас волновал вопрос: зачем фашистам понадобилась форма Красной Армии?.. А так как это событие произошло вскоре после пожара вещевого склада на станции, то мы пришли тогда только к одному выводу: фашисты, наверно, решили заслать в тыл нашей армии диверсантов, и для такого дела им понадобилась форма. Другой вывод сделать было трудно. Переделать советскую форму на немецкую невозможно. Правда, немцы с удовольствием надевали русские хромовые сапоги, военное снаряжение, но шинель, ботинки им не подходили. По крайней мере, я никогда не видел советского обмундирования на немецких солдатах.

По такому поводу мы и решили выпустить свою первую листовку. Договорились писать карандашом. Чернила имелись только в госпитале; написав листовки чернилами, мы сразу выделили бы госпиталь, а этого делать не следовало. Писали на простой тетрадной бумаге. Тетрадную бумагу, карандаши и чернила нам приносили пленные, которые попадали в рабочие команды. Написали около пятидесяти прокламаций и ночью развесили около кухни, на столбах, на стенках сараев, а во многих случаях просто бросали на землю.

Утром пленные читали:

«Товарищи! Немцы раздевают пленных, готовя новые диверсионные группы в тыл Красной Армии. Фашисты заставляют вас работать против нашей Родины. Не ходите на работу к гитлеровцам, а если пойдете, то вредите им. Хотя вы и в плену, но и здесь помогайте Красной Армии в ее борьбе против фашистских палачей. Прячьте свое обмундирование. Не дайте врагу обмануть вас».

Так выглядела наша первая листовочка. В лагере сразу же заговорили о ней. Многие думали, что листовки доставлены с Большой земли, и это помогало им не чувствовать себя брошенными и одинокими. Лагерь загудел, закипел: листовочка подняла дух пленных. Люди поняли, что и в невыносимо тяжелых условиях еще не все пропало, еще возможна борьба.

Василий Юнин ухитрился повесить такую листовочку даже около комендатуры, где составлялись команды из пленных для посылки на работу. Она висела два дня, не вызывая подозрений у немцев. Только на третий день гитлеровцы вникли в ее содержание. Но она уже сделала свое дело. Когда на второй день в лагерь вновь приехали машины за обмундированием, многого собрать они уже не смогли. Предупрежденный народ, завидя машины, сумел поспрятать свое обмундирование и не дать его немцам.

Но зато теперь лагерное начальство при приеме пленных в лагерь отбирало у них кожаную обувь, ремни, алюминиевую посуду: фляги, котелки, ложки. Вместо кожаной обуви пленным выдавали деревянные башмаки — «сабо», а вместо котелков — консервные банки на 750 граммов. Ложек вообще не давали. Фашисты, вероятно, считали, что ложка — роскошь, доступная только «цивилизованному человеку». Но люди научились обманывать лагерное начальство, и, вопреки правилам фашистских властей, в лагерь попадали и оставались в нем и кожаная обувь, и котелки.

Тогда комендант, при помощи лагерной полиции, время от времени стал проводить «облавы», охотясь за обувью и посудой. Делали они это довольно просто: выстраивали весь лагерь и проверяли. Если замечают у кого кожаную обувь или алюминиевую посуду, то сразу отнимут. А долицейские во время таких

сборов обыскивали бараки и все, что там находили более или менее ценного, тоже присваивали. Облавы происходили и в госпитале. Там тоже охотились за кожаной обувью и алюминием, которых, очевидно, у немцев явно недоставало.

Но чем больше охотились немцы за всеми этими вещами, тем упорнее мы прятали их. У нас уже имелись свои люди и среди полицейских. Они обычно успевали загодя оповестить нас о готовящейся облаве.

За 15—20 минут до облавы мы приподнимали несколько досок в полу на первом этаже, залезали в подпол и там в вырытую яму складывали обувь, фляги, котелки, часы — все, что еще оставалось у нас ценного.

Таким образом, облавы ничего не давали коменданту. А ночью, когда нас и можно было бы захватить врасплох, делать облавы оккупанты не решались. Обычно, как только начинало темнеть, все немцы и их приспешники — полицейские — старались поскорее уйти из лагеря.

В начале октября начались сильные заморозки. Как уже говорилось, всем пленным мест под крышей не хватало. Костры никто уже не пытался разжигать: за это людей тут же расстреливали.

И однажды в переполненном деревянном сарае двое пленных повздорили из-за места. В скандал вмешались и другие, произошла свалка, поднялся шум. Наружная охрана, услышав крики в сарае, не долго думая, как всегда без предупреждения, открыла огонь из автоматов. В сарае раньше размещался вещевой склад, там были поделаны в три яруса полки, а теперь на всех этих полках устроились люди, которых с наступлением холодов становилось все больше и больше.

Как только раздались выстрелы, толпа шархнулась к другой стене. Движение было настолько сильным, что ветхая стена распалась, и люди вывалились наружу. Внешняя охрана пустила световые ракеты. Загорелись прожекторы. Увидев разрушенный сарай и движение людей около него, охранники стали стрелять по сараю и по людям. Скоро уже стреляла вся охрана. С вышек застрекотали станковые пулеметы. Стрельба и крики подняли весь лагерь. К охране присоединилась караульная команда. Расстрел не прекращался всю ночь.

Наступил рассвет. Нашим глазам предстала жуткая картина: полуразрушенный сарай, кругом убитые и раненые. Некоторые раненые, пролежав всю ночь без помощи, не приходя в сознание, умирали.

Снова приехало немецкое начальство. Вместе с вышестоящим немецким офицером пришел и комендант лагеря — майор. Осмотрев место «происшествия», майор приказал опять построить весь лагерь и произнес речь, примерно, такого содержания:

— Русские сами виноваты. Они хотели убежать из лагеря и получили по заслугам. И так будет всегда и с каждым, кто станет нарушать наши порядки.

Вот и все. А о том, что холодно, что люди раздеты, что стрелять начала охрана без предупреждения, что никто близко к проволоке не подходил и убитые лежали на расстоянии 100—150 метров от изгороди — ни слова. Сами пленные потом подводили этот печальный итог: 126 убитых и 218 раненых. Вот он, результат той холодной и огненной ночи.

Этот второй массовый расстрел тяжело подействовал на всех пленных. Каждому казалось, что гибель его неминуема.

Мы откликнулись на расстрел пленных новой листовкой.

«Товарищи пленные! — писали мы. — Фашисты не считают вас за людей. Голод, холод, расстрелы — все они используют для уничтожения советских людей. Неужели вы будете терпеть?.. Надо бежать в леса для партизанской борьбы. Надо вредить немцам на любой работе. Помогайте всеми средствами Красной Армии, приближайте победу над врагом».

Мы опять нарочно писали не от имени пленных, а как бы от имени лиц, находящихся вне лагеря. Делали мы это и из соображений безопасности и потому, что верили: есть люди вне лагеря, которые здесь, на оккупированной врагом земле, борются против этого врага. Мы сами верили в это и хотели вселить такую уверенность в сердце каждого пленного.

Участились случаи побега с работы. Конвойным, сопровождавшим рабочую команду, приходилось отвечать за каждого сбежавшего. Конвойные всячески изворачивались, оправдывались, старались обмануть ко-

мендатуру лагеря, если у них бывали побеги пленных. В таком случае они шли на всякие ухищрения.

Много можно рассказать о том, как конвойные выходили из положения, когда случались побеги пленных.

Однажды вечером немец вел в лагерь группу пленных. На работу из лагеря он взял 20 человек. Возвращаясь обратно, в городе он вздумал пересчитать свою команду. Налицо оказалось только 19 человек. Одного не хватает. Конвойный сам себе не верит. Пересчитал еще раз, снова одного не хватает. Что делать?.. Вести 19 человек? Но комендант потребует объяснений! Ведь у него записано, сколько было взято на работу. Конвойный ясно представляет те неприятности, которые будут у него в связи с побегом пленного. Как же выйти из положения?.. Где искать беглеца?.. Немец думает недолго. Он видит, что по улице идет человек, явно не пленный.

— Русь, русь, комм, комм.

Прохожий, ничего не подозревая, подходит. Немец толкает его в строй и приказывает идти к лагерю. Крики, шум затихают при виде направленного на него автомата. Охранник привел группу к комендатуре. А там, не обращая внимания на протест «пленного», да, вероятно, и не понимая его, просто пересчитали людей. Счет верен. Конвойный же, самодовольно раскуривая сигаретку, поглядывал через решетку и громко смеялся, довольный своей выдумкой.

Подобным образом в лагерь попал не один десяток новых пленных. Многие впоследствии так и остались в лагере. Такие люди сами говорили: днем раньше, днем позже, а в концлагерь неминуемо попадать придется.

В конце сентября и начале октября участились случаи доставки в лагерь людей, которые, по мнению немцев, могли бы воевать. А когда в октябре—ноябре 1941 года оккупационные власти проводили сплошную проверку «политической благонадежности» населения в занятых ими районах, то всех, кто хоть немножко попал под сомнение, забирали. Людей обычно сортировали. Коммунистов отбирали и сажали в тюрьму, а остальных отправляли в концлагерь. Конечно, отбирали только мужское население. Люди, доставленные в лагерь в октябре—ноябре 1941 года, собранные с ок-

купированной территории, в большинстве никогда не служили в Советской Армии, но фашистами все они считались пленными.

Так искусственно увеличивалось число военнопленных у гитлеровского военного командования.

ПРОРЫВ НА ДЕСНЕ

Начиная со второй половины сентября, по Варшавскому шоссе через Рославль, к Десне, непрерывным потоком шли машины с новыми фашистскими войсками. День и ночь гудели тракторы, танки, автомашины. Шли артиллерия, пехота, мотоциклетчики. Усилилось движение поездов. Появилось много немецких частей и в городе. Кругом концлагеря они располагались на отдых, на дневку. Были они в центре города, о чем рассказывали уходившие на работу рабочие.

Особенно наблюдательным оказался Складов. Он даже подсчитывал, сколько танков и автомашин проходило по шоссе в час. Его сведения всегда бывали интересными и ценными в военном отношении. Павел отличался природными данными разведчика. Не владея хорошо немецким языком, он каким-то образом узнавал, что новые части шли из Дании, Польши, Чехословакии, а некоторые только что сформировались в Германии. Все войска направлялись в одном направлении — на восток. Не подлежало сомнению, что гитлеровцы готовят новый мощный удар на Десне.

Нам очень хотелось, чтобы сведения о продвижении немцев стали известны там, на Большой земле, в нашей Красной Армии, нам страстно хотелось помешать предстоящему немецкому наступлению. Но ничего дельного для осуществления своего желания мы придумать не могли. Приходилось сидеть, терпеть и ждать. Однако новую листовку мы составили и все же выпустили. Теперь мы писали о предстоящем наступлении немцев и призывали усилить диверсионную деятельность в тылу врага где и чем только можно. Призывали бежать из плена, искать партизан.

Складов и Шабаров несколько раз ходили на работу в город с целью разведки и желая навредить фашистам. Однако и там сделать что-либо существенного

они не смогли. Немцы были осторожны, пленных в те времена они ставили на второстепенную работу.

И вот в первых числах октября началось... Грохот орудий на Десне потряс весь наш лагерь. Все сосредоточенно смотрели на восток, нетерпеливо допрашивали каждого, кто возвращался с работы, с жадностью набрасывались даже на немецкие газеты, старались хотя бы между строк прочитать о том, что же происходит, и предугадать, как будут дальше развиваться события.

Вскоре стало известно, что немцы прорвали фронт на Десне и пошли на Москву.

Все фашистские газеты завопили о своей новой победе! К октябрю в Смоленске начали издавать большую фашистскую газету на русском языке. Подписывал ее некто Долгоненков, как видно, прохвост из прохвостов. В Рославле тоже стали издавать небольшую газетенку грязного содержания. Да еще где-то издавалась такая же газетенка — «Речь». «Речь» подписывали прохвосты, мало чем отличающиеся от Долгоненкова: сначала некто Октан, потом какой-то Бобрров. Они стоили друг друга.

Тон газет заискивающий, явно подхалимский в отношении своих хозяев — немцев. Весь гнев обрушивался на большевиков, на все советское.

Комендант лагеря приказал фашистские газеты доставлять в лагерь, рассчитывая с их помощью вести идеологическую обработку пленных. В газетах писали об очень больших успехах фашистской армии, о неспособности Красной Армии к сопротивлению.

Мы старались доказать окружающим лживость, несостоятельность утверждений фашистской печати. Особенно бросалось в глаза то обстоятельство в сводках немецкого командования, что победы фашистам достаются уж больно легко. Было одно понятно: немцы просто врут. Но на мало закаленного в политическом отношении человека такая печать все же могла подействовать. Нам надо было во что бы то ни стало дискредитировать немецкие сводки, подорвать к ним доверие. И мы долго не могли придумать, что и как нам надо сделать. Но все же додумались.

Однажды в палате собралось много пленных. Пришли даже люди из общего лагеря. Вечерами обычно

собирались у нас в палате: или обменивались впечатлениями за еще один лагерный день, или слушали отдельные рассказы, а рассказчиков было много. Хорошим рассказчиком считался и Василий Сергеевич Градский. Его всегда слушали охотно. Приходили пленные и из других палат.

И вот Василий Сергеевич начал:

— Слушайте. Я расскажу интересное событие из наших дней. Последние новости.

Все насторожились. Многие придвинулись к нему поближе. В палате стало тихо.

— Вы должны знать, что Гитлер, когда начинал войну против Советского Союза, обратился с призывом к солдатам не жалеть своей жизни для достижения победы над русскими. Так вот. Услужливая немецкая церковь объявила: кто будет убит на полях России, тот сразу же попадет в рай и без всяких проволочек станет довольствоваться всеми благами райской жизни без карточек и всяких там других ограничений.

В один погожий августовский день после большого и жаркого сражения под Ельней по небу шли немцы.

(Он нарочно взял Ельню. В палате лежало много раненых под Ельней, и все знали о больших потерях немцев в июле и августе там, хотя немцы эти потери преуменьшали во много раз).

— Так вот, после такого боя по небу шагает отряд немцев в составе около 900 человек. Шли долго, тяжело, но без ропота. Они знали, куда идут. Им предстоял вечный отдых в раю. Отряд, отчеканивая шаг, подходит к дверям рая и останавливается. Майор, ведущий колонну, подходит к апостолу Петру, стоящему у дверей, и докладывает:

— Ваше апостольское величие, по приказанию фюрера отряд немецких воинов после сражения 28 июля под Ельней явился для вечного отдыха в раю.

Апостол Петр окинул скептическим взглядом большую группу немцев, подумал, почесал себе лысину и, обращаясь к архангелу Гавриилу, сказал:

— Гаврюша, ну-ка, слетай в небесную канцелярию и принеси сюда гитлеровскую газетку со сводкой за 28 июля.

Архангел Гавриил, громко стуча крыльями, полетел и вскоре принес требуемую газету. Апостол Петр надел очки, развернул лист и стал отыскивать нужное место.

— Гмм... гм... Так сражение, говоришь, произошло 28-го? Стой, стой. Вот оно. Сводка Верховного командования германской армии... Так... так... Ну что же... Стройтесь... подравняйтесь... Сейчас впускать буду, — сказал Петр. Свернув газету, засунул ее за пояс и открыл большим ключом двери рая.

Майор скомандовал. Немцы подтянулись, подравнялись. Апостол Петр подошел, отсчитал 15 человек и впустил в рай. Потом молча запер ворота, снова повесил ключ от дверей себе на пояс и, посмотрев на стоящих немцев, сказал:

— А вы что стоите?.. Остальные пусть в ад идут. Вот смотрите, в сводке ваш фюрер пишет, что 28 июля под Ельней убито только 15 человек. Их я и впустил... Остальным тут места нет. — И показал газету со сводкой. Немцы стали протестовать, шуметь... Но ничего не помогло. Сводка есть сводка.

В палате было немало людей, которые сами не раз убеждались в больших потерях гитлеровцев, да и в боях за Ельню многие участвовали сами. Поэтому анекдот Василия Сергеевича сыграл свою роль: он еще и еще раз заставил пленных сомневаться в правдивости немецких сообщений. Такие шуточные рассказы находили доступ к их сердцам быстрее, чем самые наи-серьезнейшие разговоры на эту тему.

...Началось новое большое наступление немцев. Наша оборона на Десне оказалась взломанной мощным танковым ударом. Враг рвался к столице нашей Родины — Москве. Немецкая печать закричала о большом окружении в районе Вязьмы.

В лагере начались приготовления к приему новой партии пленных. Его срочно расширили и укрепили. Пришло и новое фашистское начальство. Комендантом лагеря назначили немецкого офицера, доктора юридических наук Кунца. Это был человек среднего роста, суховатый, лет 35, с землистым цветом лица, в пенсне, невзрачный и, как мы убедились очень скоро, злой. На пленных новый комендант не смотрел. В лагере его почти никогда не видели, а если он иногда и пока-

В 836 ш 9

звался среди пленных, то всегда с многочисленной охраной.

Всех, кто чуть-чуть нарушал режим лагеря, «ученый» комендант отправлял незамедлительно на кладбище, не вдаваясь в подробности.

При комендатуре создали отделение гестапо, целью которого было выявить среди пленных политработников и евреев. Начальником гестапо назначили капитана Дидмана. Видной фигурой в комендатуре стал немецкий фельдфебель Курт Миллер, фашист, хорошо владевший русским языком. Курт Миллер официально являлся помощником начальника гестапо, а по существу — безраздельным хозяином всего лагеря. Это был настоящий зверь. Он сам расстреливал пленных, не докладывая Дидману, который редко появлялся в лагере. Если же и появлялся, то в пьяном виде, а в этом виде он был еще страшнее Миллера.

Начальником лазарета военнопленных назначили немецкого врача, тоже нациста — Франца Лейпельта. Это был высокий, сухой старик на длинных ногах, с большим животом, вечно слезящимися глазами и мокрым носом.

На первый взгляд он казался безразличным к своим обязанностям и к судьбе советских раненых и больных. Но это только на первый взгляд. На самом деле этот старик был заинтересован в том, чтобы истребить как можно больше советских людей. И этому делу он служил хорошо. Ведь если и была большая смертность среди раненых, больных пленных, если и отсутствовали медикаменты, то заслуга здесь перед фашистами в первую очередь Лейпельта.

Он ежедневно посещал госпиталь. В сопровождении переводчика Вильгельма Теодоровича Бифеля — немца с Поволжья — и двух немецких санитаров Лейпельт медленным, старческим шагом проходил по палатам корпусов, выслушивал доклады и просьбы русских врачей, неизменно повторял — «гут», «гут» и так же медленно уходил обратно, предоставляя времени делать свое страшное дело.

Расплата ожидала русского врача, осмелившегося пожаловаться на отсутствие медикаментов, на плохое питание в лагере. Такого врача немедленно убирали из госпиталя и из лагеря вообще. Бесследно исчезали

из лагеря и те военнопленные, которые решались открыто высказать свое недовольство лагерными порядками. Таких людей оккупанты считали коммунистами. А коммунистам из лагеря была только одна дорога — на Вознесенское кладбище.

— «Ученый» комендант Кунц, гестаповец Дидман, его зверский помощник Курт Миллер и так называемый врач Франц Лейпельт — вот фашистские мерзавцы, уничтожившие сотни тысяч советских людей, попавших в концлагерь города Рославля.

Новое большое наступление немцев немедленно отразилось на положении пленных. До сих пор пленные считали себя одной группой, не опасались друг друга и в своих высказываниях, рассуждениях держались общей линии. Открыто ругали фашистов, грозили им. Оккупантов пленные рассматривали не только как врагов нашей страны, нашего народа, но и как личных своих врагов. Отсюда мы и определили свое отношение к немцам, свои действия в отношении их.

— Теперь дело изменилось. Успехи немцев, да и фашистская пропаганда оказали какое-то влияние на некоторую часть пленных. Нашлись люди, которые стали верить немцам. Правда, большинство пленных сломлено так и не было. Но, к нашему несчастью, нашлись и такие, которые стали приспособливаться к фашистским властям, а некоторые и откровенно перешли на сторону врага, решив, что теперь гитлеровцы окончательно завоюют нашу страну и, значит, надо устраиваться.

Старшим врачом первого корпуса госпиталя гитлеровские власти назначили Ибрагима Абдуловича Бекешева — татарина из Казани. Сравнительно молодой, лет 29—30, плотного телосложения, с мягкими чертами лица и ясными подвижными карими глазами, небольшими черными усиками, Бекешев напоминал откормленного породистого кота. Как говорил сам о себе Бекешев, он происходил из старинного дворянского рода. Отец и мать его Советской властью были высланы на север еще в 20-х годах, а он все время жил и воспитывался у дяди, сумел получить образование в советском вузе. Замкнутый и неразговорчивый, Бекешев

вместе с женой, тоже врачом, добровольно перешел к немцам.

Старшим врачом второго корпуса назначили Михаила Григорьевича Солодовникова, русского, заносчивого и грубого человека. Среди многих врачей-пленных упорно шли разговоры, что Солодовников даже не врач, а только фельдшер. Но трудно сказать, где правда, а где ложь, да истина в то время никого и не интересовала. Солодовников всегда ходил с плеткой, которой он часто пользовался как лекарством, по его собственному выражению.

Таковы были первые немецкие слуги из пленных, с которыми пришлось столкнуться в тяжелых условиях лагеря. В госпитале было много пленных врачей, фельдшеров, и они неприязненно восприняли появление первых фашистских подручных и старались сторониться их.

Но как мы ни сторонились этих явных перебежчиков, с ними приходилось сталкиваться. Настроение у всех стало еще более подавленным. Все ждали чего-то особенного, необычного. Часто, бывало, соберемся вечером вместе, все затихнет кругом, и мы сидим молча, не хочется ни о чем говорить. Точных сведений о событиях на фронте у нас не было. Верить немецкой пропаганде не хотелось. Даже вспоминать их сводки было неприятно. Разговор не вязался.

В фашистской неволе слишком тяжело приходилось переживать успехи немецкого командования. Слыша кругом, что немцы под Москвой и Ленинградом, что вот-вот падут наши столичные города и не имея полной информации, мы невольно падали духом. Каждый честный русский человек мучительно переживал военные успехи немцев. Правда, мы и в эти тяжелые минуты не верили, что русский народ можно поставить на колени, не верили в разгром Красной Армии, но таялась на сердце была невыносимой, порой и свет казался не милым.

Ночи я почти не спал. Часто и ночью мы с друзьями сидели на нарах, все ждали чего-то, что могло бы определить наше место в происходящих событиях. Даже в листовках мы не знали, что писать.

Однажды, выйдя на двор, я столкнулся лицом к лицу с высоким худощавым человеком лет 25—26. Про-

долговатое лицо, большой с горбинкой нос и черные глаза навывкате показались мне очень знакомыми. Однако кто он, откуда — припомнить никак не мог. Мне казалось, что он знает меня как политработника и может выдать... Пристальный взгляд, брошенный им на меня, убеждал в таком предположении. Я решил выяснить наши отношения. И как-то, снова встретившись с ним, я спросил:

— Слушайте, вы мне кажетесь знакомым.

— Да и я как будто вас знаю, — слышу ответ.

— Откуда вы родом?

— Из Воронежской области, — отвечает.

— А где вы комплектовались при мобилизации?

— В городе Острогжске Воронежской области.

При таком ответе мое сердце застучало сильнее. «Знает, — думаю, — меня как политработника. Ведь это наша дивизия».

— А как ваша фамилия? — снова задаю ему вопрос.

— Павлов Георгий Константинович, — слышу в ответ.

— Позвольте, Павлов Константин Константинович ваш брат? Вы очень похожи на него.

После утвердительного ответа у меня несколько отлегло от сердца. Константина Константиновича Павлова я знал еще в годы коллективизации, когда вместе с ним мы работали в Хворостянском районе Центрально-черноземной области. Он был тогда старшим агрономом райземотдела. Еще перед войной мы встречались в Воронеже. И вот в лагере я встретился с его братом, удивительно похожим на Константина, только несколько моложе. Его брат был честный человек, и Георгий не мог быть другим.

Разговорились. Оказывается, Георгий Павлов работал начальником финансовой части медсанбата нашей дивизии. В армию он пришел по мобилизации. Но хорошо меня знать не мог, хотя и утверждал, что видел меня не один раз в штабе дивизии. Впоследствии мы быстро сошлись с Павловым.

В госпитале он работал водовозом. Это тяжелое дело. В лагере своей воды не было. Водопровод в городе не действовал. А лагерь без воды жить не мог. И чтобы обеспечить лагерь и госпиталь водой, выход находили довольно простой. В обычную нашу красно-

армейскую двуколку впрягали человек 6—7 пленных, и в сопровождении немца-конвойного пленные несколько раз ездили на реку, в город, набирали там воду и привозили ее в госпиталь. Точно так же возили воду и для всего лагеря. Воды требовалось много, а ее все равно не доставало, и она ценилась на вес золота. Контроль за расходом воды был строгий: ее отпускали только для нужд кухни. Просто попить, умыться или побриться — никто не имел возможности.

И Павлов вместе с другими впрягался в повозку и ездил за водой, выполняя лошадиную, как он говорил, работу. Георгий оказался нужным и деятельным человеком для нашей группы. Вода от лагеря находилась далеко, километрах в полутора-двух. Один рейс продолжался часа два, потому что водовозы пользовались любой возможностью встретиться с людьми с воли, с местным населением. Кроме того, через водовозов население стремилось передать в лагерь хоть что-нибудь из продуктов и одежды. Павлов, в частности, привозил нам хлеб, одежду, книги, бумагу.

Водовозы пользовались относительной свободой, их обычно не обыскивали при въезде. «Обоз» выезжал в запасные ворота, а не через главный выход, и так как с ними всегда бывал конвойный немец с винтовкой, внешняя охрана на водовозов почти не обращала внимания.

Через Георгия мы намеревались установить связь с местной подпольной группой в городе и дали ему соответствующее задание. Он часто беседовал с гражданами, главным образом с женщинами, но установить настоящую связь с группой ему так и не удалось, хотя с некоторыми связными ему и приходилось не один раз встречаться. А когда он, наконец, нащупал связного, пленных неожиданно перестали посылать за водой.

Павлов обладал чувством здорового юмора. Как бы тяжело ему ни приходилось, он своими занимательными историями, анекдотами, шутками и прибаутками поднимал дух окружающих, отвлекая их от мрачной действительности. Он едко высмеивал немцев, давал им довольно подходящие и меткие прозвища. Сопровождавший их немец был высокий, неуклюжий, с длинной шеей — и получил кличку ишака. Немец не знал рус-

ского языка и охотно отзывался на данное ему прозвище.

После ликвидации водовозов в начале октября Павлов перешел в первый корпус хозяйственником. Он уговаривал меня тоже перейти в первый корпус. После некоторого раздумья я так и сделал. Сначала я числился в первом корпусе больным в палате, а потом перешел в рабочую команду и даже поселился в комнате фельдшеров, которые были здесь на положении простых рабочих.

Обычно все врачи и фельдшера из общего лагеря направлялись в госпиталь. Иногда набиралось в госпитале до 70 врачей, а занятыми на работе оказывалось не больше 5—6 человек. Да им без медикаментов почти ничего и не приходилось делать. Много находилось не у дел и фельдшеров. Кроме того, в госпитале всегда жили люди, которым в нормальных условиях там и делать нечего. Так, в госпитале жили художник, профессор литературы, инженеры, преподаватели, один писатель и многие другие специалисты. Они не были ранеными. Но послать их в общий лагерь — значит обречь этих людей на гибель и после выздоровления держали их при госпитале. Таким образом, в госпитале набиралось много, на первый взгляд, посторонних людей. Здесь хоть крыша над головой была. Ведь никто никакого штата для госпиталя не определял, никто не интересовался, кто и на каком основании проживает там.

Так же произошло и со мной. Сперва я еще числился раненым в палате, а потом, когда рана поджила, попал в рабочую команду, то есть питание получал из бачка, приносимого для рабочих. Разницы здесь нет никакой, разве что баланду разливали разные люди. Вот и все различие. Все были пленными и всех кормили гнилой баландой.

Круг тех, с кем я мог говорить открыто, значительно увеличился. В нашу группу уже входили люди обоих корпусов госпиталя и общего лагеря. Время от времени мы обсуждали план предстоящих действий. Не один раз намечали и план коллективного побега. Особое место в нашей группе занимал вопрос об усиленном развертывании патриотической деятельности в общем лагере среди здоровых пленных.

А. З. ВОЛКОВ

В лагерь начали доставлять людей из так называемого «вяземского окружения». Трудно было нам судить о размерах и о характере нового окружения.

Говорили на этот счет по-разному.

Газетные сообщения фашистов были просто фантастическими и вызывали только улыбку. Судя по утверждению фашистов, Красной Армии давно уже не существовало и никакого сопротивления гитлеровской армии Советы якобы не оказывали. Приходилось только удивляться, почему же тогда фашисты все еще не в Москве?

Однако бои под Вязьмой были, как видно, большие, и пленные, взятые под Вязьмой, именовались пленными «вяземского окружения».

Многие из них понимали, что такое плен, и угрюмо, сосредоточенно молчали, не отвечая на задаваемые вопросы даже нам. Они переживали позор плена, не определили еще своего места в плену и, конечно, им было больно говорить, как и при каких обстоятельствах они попали в руки врага. Трогать их кровоточащую рану мы не хотели и старались сделать так, чтобы они сами рассказали и о себе, и о событиях на фронте. Поступали мы так еще и потому, что многие из новых пленных совершенно опустили руки, не видя возможности продолжать борьбу против оккупантов. Да и на нас они смотрели как на врагов. Находились и такие, которым казалось, что с их пленением гибнет и Советская власть и Красная Армия. К счастью, таких людей было немного.

Но рассказы и этих немногих людей действовали, конечно, на пленных отрицательно. Гнетущее состояние в лагере усиливалось. Фашистские газетенки надрывались изо всех сил, стараясь раздуть успехи немцев. Нам же страшно хотелось знать, что на самом деле происходит на фронтах. Но сведений получить было неоткуда.

Общее тяжелое настроение действовало и на нашу группу. И группа начала постепенно таять. В такой обстановке Павел Складов решил бежать один: «Куда угодно, лишь бы бить сволочей фашистов. Не могу сидеть без дела». Может, говорил он это и не совсем обдуманно, но задерживать его мы не стали. Договори-

лись, что он попытается бежать в Белоруссию, разыщет какой-нибудь партизанский отряд, сделает все возможное, чтобы связаться оттуда с нами.

В один из ближайших после этого дней он вышел на работу в город и обратно в лагерь не вернулся. Нам было ясно — бежал. На этом, к сожалению, оборвалась наша связь с одним из стойких и решительных товарищей: с Павлом встретиться нам больше так и не удалось.

Как-то отделился Василий Юнин: в одиночку переживал успехи немцев.

Не находил себе места и врач Федоров. И когда отправляли очередную группу офицерского состава из пленных, он уехал с этой группой дальше на запад, думая найти выход по дороге. Мы его тоже не отговаривали.

И. К. Емельяненко, П. В. Быченков, С. В. Веселовский, В. М. Кичигин, Ф. И. Косумов и многие другие приходили ко мне, тяжело вздыхали и требовали ответа: что будет дальше? Что нам делать и как себя вести? Но я не мог дать им ответа.

В это время фашистская печать много кричала и о том, что окружен город Ленинград, что гитлеровские войска подошли вплотную к Москве, и она якобы вот-вот должна пасть. Усилили свою деятельность профашистские элементы внутри лагеря. Стали распространяться слухи, что скоро окончится война, и немцы будут отпускать пленных по домам, а для этого надо доказать свою преданность новым властям. Выйти же из лагеря каждому хотелось. Все понимали, что рано или поздно, а при существующем положении дорога из лагеря только одна — на Вознесенское кладбище. Среди пленных все больше и больше стали появляться немецкие пропагандисты, агитаторы, которые распространяли всякую клевету на советские порядки. Возражать таким агитаторам строго воспрещалось. Возражающие брались на заметку, а потом «незаметно» исчезали.

Нужны были какие-то решительные действия, чтобы ободрить наших товарищей, поднять у них моральный дух. Нужно было срочно что-то придумать. А мы не находили, за что и как надо взяться в первую очередь.

Как-то днем я зашел в казарму, в которой жил Павлов. Несколько дней тому назад в лагерь достави-

ли еще одну большую партию пленных. В связи с этим появилось много всевозможных разговоров, слухов. Хотелось поговорить, хоть в разговоре с товарищами душу отвести. В комнате сидел человек среднего роста с светлым чистым лицом, правильными чертами и серыми умными глазами. На вид ему было не более 35 лет.

— Вот, познакомься.

Волков Алексей Захарович — командир транспортной роты нашего медсанбата, мой старый сослуживец, — рекомендует его Георгий.

Я крепко пожал Волкову руку. Чем-то знакомым и близким пахнуло на меня. Он был в нашей дивизии. Знает моих товарищей.

Разговорились. Он подробно рассказал о том, как генерал-майор, командир нашей дивизии, с своей группой вышел из августовского окружения. Дивизия снова участвовала в боях, а сейчас она действует на Вяземском направ-



Алексей Захарович Волков.

лении. Воевала дивизия уверенно, била врага решительно и смело. А вот он, Волков, случайно потерял ориентировку при транспортировке раненых и выехал прямо на немцев. Успел поджечь машину, но, отстреливаясь, был ранен в руку, дальше защищаться не мог и, таким образом, попал в плен. В лагере он находился уже несколько дней. Случайно, около кухни, его встретил Павлов и привел сюда. В течение нескольких дней пребывания в общем концлагере Волков ничего не ел. Он сделал несколько попыток получить горячую пищу, но это оказалось не таким-то простым делом.

— Три дня тому назад, часов в двенадцать, — рассказал Волков, — полицейские закричали: «Становись! Сейчас на кухню пойдем». Мы все построились. Пошли...

Около кухни, о чем я уже знал, были отгорожены длинные узенькие проходы, как на вокзале у билетной кассы, только длиннее. В таком коридорчике можно было идти лишь одному человеку. Таких коридорчиков было что-то около двадцати. В каждый коридорчик входил один пленный и под наблюдением полицейского двигался дальше. В конце стоял большой котел. Кухонный рабочий черпаком, сделанным из консервной банки, наливал пленному жидкой похлебки из гнилой муки граммов по 750 и выдавал кусок хлеба граммов в сто — и все. Задерживаться нельзя. Полицейский кричал: «Проходи!», а если пленный мешкал, то его подгоняли ударом плетки.

— Я не знал, куда налить баланду, — продолжал Волков. — У меня не нашлось ни котелка, ни банки. Взяв хлеб, я остановился около котла в нерешительности. Вдруг сильный удар плеткой по голове и грубый окрик полицейского «чего стал?» заставили меня пробежать мимо котла, так я и не взял горячей пищи. Даже банку для баланды себе достать не смог. А сегодня я подставил пилотку вместо котелка, куда мне и налили баланды. Я послал баланду без ложки, а пилотку облизал и снова надел на голову.

Пилотка лежала здесь же, на скамье, слипшаяся. Так оно и было, в пилотку получали баланду многие. Если не подставишь пилотку, то вообще ничего не получишь. Из двух зол приходилось выбирать меньшее.

Начались морозы. Даже днем стало холодно. А пленные в пилотках, ботинках и легких шинелях, многие даже и без шинелей, в одних гимнастерках. Да еще мокрую пилотку приходится надевать на голову. Ночевать чуть ли не всем приходилось на открытом воздухе. Места в немногих закрытых бараках брались приступом. В такую критическую минуту Павлов заметил Волкова и привел его в госпиталь и этим самым спас его от верной смерти. Раненая рука у Алексея почернела. Давно не делалось перевязки, да и перевязывать оказалось нечем, так как у него не было ни бинтов, ни марли.

Волкова сначала зачислили, как раненого, в одну из палат. А потом ему придумали должность дневального. Инженер-путеец по образованию, коммунист по убеждениям, Алексей Захарович сразу занял положе-

ние одного из руководителей нашей патриотической группы и при его поддержке мы почувствовали себя тверже.

— Бороться надо,— сказал Алексей Захарович, когда мы собрались в узком своем кругу и рассказали ему о своем желании помогать фронту даже в условиях фашистской неволи и о том, что нами уже сделано. — Не следует падать духом, не надо отчаиваться. И в плену можно много полезного сделать. Давайте-ка, друзья, организуем нашу работу в более широком масштабе. Давайте больше вовлекать пленных в посильную для них борьбу против немцев. По вашим рассказам, многим пленным, вашим же товарищам по несчастью, вы не доверяете. А напрасно! Все мы — советские люди, только попали в страшную беду. Все пленные так же любят свой народ и желают ему самого хорошего. Об этом нам надо помнить. Правда, осторожность нужна, но ее не надо смешивать с подозрительностью. Если мы хотим добра нашему русскому народу, — а как видно, все мы этого хотим, — так давайте действовать смелее, решительнее! На рожон идти не нужно, я против глупого риска, однако без риска в наших условиях ничего не получится. Нам терять нечего. А если мы будем сидеть сложа руки, то неизбежно пропадем. Лагерные условия к этому ведут. Но уж если умирать, так с пользой для народа. Правда, вы не сидели сложа руки, но у вас маловато людей. Вы мало связаны с другими группами в лагере. А ведь такие группы, конечно, есть. Здесь, в госпитале, много коммунистов. Коммунист и сам должен оставаться всегда коммунистом и людей призывать к действию.

Взволнованная речь Алексея Захаровича произвела на нас большое впечатление. Мы чувствовали правоту его слов. Как-то так получилось, что наша группа до сих пор тесной связи с другими группами не имела и действовала нерешительно. Мы стали подсчитывать свои силы. Оказалось, что среди нас семь членов партии, три кандидата и пять комсомольцев. Товарищи раньше не говорили о своей партийности, а теперь не стали молчать.

Тут же договорились об установлении связей с другими группами и объединении общих усилий для борьбы. Волков взялся связаться с общим лагерем, Юнин —

с инженерами. На мою долю досталась лагерная кухня.

На кухне работало более семидесяти пленных. Они варили баланду на несколько десятков тысяч человек, кипятили воду, пекли и резали хлеб, раздавали пищу. Надзор за ними осуществлял немецкий фелдфебель. Ему помогали полицейские. Установить связь с рабочими кухни, наладить там патриотическую работу — значило бы обеспечить значительную помощь всем заключенным. Патриотическую работу на кухне скоро возглавил Филипп Иванович Дрожжин.

Собрание с участием Алексея Волкова как бы окончательно оформило создание патриотического центра в лагере. Правда, мы не выбирали руководителей, не произносили слово «центр», но как-то само собой получалось, что по всем вопросам товарищи стали обращаться к Алексею Захаровичу и ко мне. Мы же ничего не решали без совета с товарищами.

Скоро к нам в госпиталь стали приходить люди из различных бараков, из кухни, из общего лагеря и из других палат. Товарищи шли с новостями, принесенными с работы, посоветоваться, показать найденную листовку, шли просто так — отвести в разговоре душу.

И мы, ни на одну минуту не забывая об осторожности и конспирации, значительно расширили с этого времени свою работу.

ЛАГЕРЬ ДНЕМ И НОЧЬЮ

В лагере творилось что-то трудноописуемое. К концу 1941 года здесь насчитывалось больше 100 тысяч пленных. Немногочисленные помещения лагеря не могли вместить такого количества людей. Все было сделано для того, чтобы погубло как можно больше пленных. Нельзя было достать даже простой охапки ржаной соломы, которую можно было бы использовать в качестве подстилки, да и укрыться при случае.

Начались дожди, морозы, а десятки тысяч людей размещались на голой земле. В течение нескольких ночей деревянные постройки, находящиеся на территории лагеря, были разрушены, растащены и сожжены. Люди грелись около небольших костров. Жестокая рас-

права фашистской охраны с пленными, разрушающими сараи, мало помогала. Замерзших, голодных, доведенных до отчаяния людей не пугала уже сама смерть.

Стрельба наружной охраны не прекращалась ни днем, ни ночью. То и дело раздавались выстрелы или по кострам, или просто охранники расстреливали людей, осмелившихся близко подойти к изгороди.

На работу пленных из лагеря брать почти перестали. Большинство ничего не делало. Целые толпы людей осаждали двери корпусов госпиталя. Они старались попасть в помещение. Многие из них, действительно, были больными, но взять их было некуда. Все палаты были забиты ранеными и больными до отказа. Люди лежали под нарами, в проходах, прямо на цементном полу без всякой подстилки. Пленные врачи, как уже говорилось, решили разместить больных и на чердаке. И скоро люди лежали на чердаках, под крышей. Хотя чердаки и не утеплены, но все же там было лучше, чем на дворе. Там хотя от ветра и дождя укрыться можно.

Большое здание рядом со вторым корпусом госпиталя, где когда-то помещался ружейный склад, наши врачи тоже теперь приспособили под палату для больных и раненых. Здесь разместили около 1800 человек. Люди ютились на всех трех ярусах складского помещения, стараясь хоть чем-либо закрыть большие щели в стенах между досками. И все же ветер свободно гулял по бараку, ежедневно унося десятки человеческих жизней.

У дверей госпиталя немцы поставили полицейских с тяжелыми плетками в руках. Полицейские не стеснялись, их плетки и дубинки действовали без разбора. Среди полицейских шло соревнование в жестокости.

Известно, что всех людей, ранее осужденных на не-большой срок, по их просьбе посылали на фронт. Многие из них потом честно искупили свою вину и даже отличились. Но нашлись и такие, которые, очутившись в плену, пошли на службу к немцам, главным образом в полицию, и в скором времени окончательно потеряли всякий человеческий облик.

Прав наш народ, когда утверждает, что трус не может быть великодушным и справедливым. Подлень-

кие людишки обычно бывают трусами. В своей трусости они способны на любую пакость. Жестокость и подлость — удел трусливых людей. Их даже и людьми-то назвать нельзя. И вот такие-то выродки, находившиеся в лагерной полиции, безнаказанно расправлялись с несчастными пленными.

Говоря о лагерной полиции, нельзя не сказать о Петре Петровиче Макарове. Кто он, откуда — этого никто не знал. Макаров, к сожалению, русский. Но в семье не без урода. Таким-то вот уродом среди русского народа и оказался Макаров. Немцы привезли его из другого лагеря. Шли даже разговоры, что он вывезен из Германии. Все может быть. Низенький, толстый, с короткой бычачьей шеей, узким лбом, большим ртом и маленькими рысьими глазами, он с первого взгляда производил отталкивающее впечатление. А когда начинал говорить и показывал желтые лошадиные зубы да еще размахивал своими короткими руками, то ничего русского в нем заметно не было. Макаров носил хорошо подогнанное обмундирование офицера Красной Армии, правда без петлиц, только в пряжке парадного комсоставского ремня выпилил звезду.

Под стать себе подбирал этот садист и подручных. В комендантской роте фашисты заспорили. Один из них утверждал, что с одного удара плеткой убьет человека. Другой оспаривал это извержское утверждение. Макаров разнял у них руки, предложил решить этот спор на пленных и привел спорящих к кухне. Ни слова не говоря, фашист подошел к одному молодому парню, который стоял около дверей и смотрел на него, ничего не подозревая. Фашист взмахнул своей тяжелой ременной плеткой, на конце которой была защита пуля, и с силой опустил ее на голову парня. Тот зашатался и упал. Из рта, из ушей и носа у него пошла кровь, а через пятнадцать-двадцать минут пленный умер. Гитлеровцы, весело гогоча, отправились в комендатуру расплачиваться за свой спор. Макаров шел за ними с видом победителя.

Лагерь узнал потом одного из споривших. Звали его Пауль Раух. В Баварии, откуда он родом, Раух имел свой пивоваренный заводик. Маленький ростом, рыжий плюгавый фашист, оказывается, сводил свои счета с советским народом. Как стало потом известно, у него

на Восточном фронте погиб сын. Пауль дал клятву убить за своего сына тысячу русских. Но Пауль от природы трус. От фронта отделался: ведь там его и убить могли. Вот почему свою клятву он выполнял, убивая беззащитных пленных. Говорят, он даже вел счет и хвастался среди полицейских, что убил уже около шестисот человек. Для такой цели он специально ходил в гестапо, ездил на кладбище, где расстреливал людей. Своим счетом палача отвратительный мерзвец страшно гордился.

Однажды Пауль пришел в лагерь с винтовкой. Было обеденное время, и пленные толпились около кухни. Фашист снял с плеча винтовку и стал собирать около себя людей. Немец выстроил людей, отошел в сторону, посмотрел — не понравилось. Не все, видите ли, одинакового роста. Фашист вывел из строя одного, а на его место поставил другого. Потом встал позади пленных, прицелился и... выстрелил. Четыре человека упали. Пуля пробила четыре головы. Остальные двое, услышав выстрел, обернулись, поняли, в чем дело, и бросились бежать в толпу. А фашист самодовольно загоготал. Потом вынул свою записную книжечку и записал на свой счет еще четыре жертвы. Оказывается, он «пробовал» силу винтовки.

Если Пауль Раух сопровождал водовозов, то обязательно одного или двух убивал дорогой. Если стоял во внешней охране, непременно стрелял в лагерь. Так он долгое время терроризировал пленных.

Наша группа решила убрать его.

Он иногда приходил к нам в госпиталь. В аптеке откуда-то появилось много порошков люминала. А люминал — наркотическое средство. Раух хорошо знал его свойство и приходил за ним, как наркоман. Мы договорились с фельдшером Николаем Быстровым, который ведал аптекой, чтобы он задержал Рауха до четырех-пяти часов вечера.

И вот как-то Раух «засиделся» в аптеке. Когда он выходил, Быстров объяснил ему мимикой и некоторыми словами, что, дескать, штабсартц, то есть немецкий врач, зовет его в дезкамеру, под которую была оборудована комната здесь же, в здании. Раух поверил, но как только он открыл дверь, я, Антон Крицкий и Аркадий Ешкалов набросились на него. Не успел он вскрик-

нуть, как винтовка очутилась в руках Антона, а я и Аркадий, схватив немецкого палача руками за горло, задушили его. Борьба оказалась короткой. Через несколько минут все было кончено. Поздно вечером мы оттащили труп и выбросили его в выгребную яму, где раньше стояли уборные. Там было очень глубоко, подходит близко было опасно. Осенью, во время сбора пленных, в этих ямах утонул не один человек.

Фашисты долго искали Рауха. Гестаповец Курт Миллер приходил в лагерь и расспрашивал, кто и когда видел гитлеровца последний раз, но ничего путного для себя установить он так и не смог. Все как один заявляли: «Не видели, не знаем». Да и никто, кроме нас, действительно не знал, что с ним стало.

Порядки после этого в лагере, конечно, не изменились, но настроение у нашей группы значительно повысилось.

Вместе с немецким врачом в госпиталь часто заходил молодой унтер-офицер лет 24, с маленькой лисьей мордочкой, Ганс Людвиг. На груди у него красовался значок за особые заслуги перед фашистами. Советских воинов Ганс не считал за людей.

Однажды Людвиг шел из первого корпуса во второй. Навстречу ему попался раненый пленный, возвращающийся из общего лагеря. Занятый своими мыслями, раненый не обратил внимания на немецкого унтера и пошел, не отдав ему установленного приветствия. А немцы любили почет и особенно требовали, чтобы их приветствовали. Ганс возвращает его и приказывает идти за ним. Тот, ничего не подозревая, пошел. Подходят к моргу, большой землянке без окон и дверей. Ганс вынимает пистолет и расстреливает ни в чем не повинного человека.

В другой раз тот же Ганс приказал вынести в морг живого больного только потому, что тот цветом своих волос напоминал еврея. Раздетого больного вынесли на мороз. Больной был настолько слаб, что даже не мог кричать. Потом, когда фашист ушел, он сделал попытку вылезти из морга, а сил-то и не хватало. В вырытом в земле проходе он и замерз.

Месяца через два после убийства Рауха наша группа приняла решение ликвидировать и Ганса.

Приговор привели в исполнение Антон Крицкий и

Василий Фоменко. Они долго охотились за ним. И вот однажды Ганс в сумерки пришел в госпиталь, один. Крицкий решил не упускать случая. Когда Ганс проходил наверх к старшему врачу, площадка лестницы была пуста. Фоменко стал за дверью с топором в руках наготове. Антон, как дневальный, сопровождал гитлеровца. Как только Ганс вышел на площадку, топор Василия с силой обрушился ему на голову. Ганс захрипел и упал. В любую минуту кто-либо мог выйти на площадку. Надо было торопиться. Сразу же Сергей Васильев, Николай Константинов подскочили с ведром и убрали следы, а труп Ганса вынесли в душевую, обмотав голову его же шинелью. Ганса раздели. Обмундирование его сожгли, а тело последовало за Раухом в выгребную яму.

Все прошло хорошо и на этот раз. Если кое-кто из врачей и подозревал правду, то толком никто ничего не знал.

Нам в наследство от гитлеровца достался парабеллум с двумя обоймами патронов, который мы прятали до поры до времени на чердаке. Мы очень жалели, что выбросили в свое время винтовку Рауха.

Если плюгавенького фашиста искали долго, то про Ганса почему-то не вспоминали. Вероятно, предполагали, что он пропал в городе, что нередко случалось с фашистами.

Немецкий врач Лейпельт во время очередного обхода сокрушался, что помощник пропал в городе. «Партизаны утащили». — говорил он. Нас же это радовало.

Это последнее обстоятельство еще больше укрепляло нас в мысли, что там, на воле, тоже действуют группы патриотов, подобные нашей.

Приговорили мы к смертной казни и немецкого врача Лейпельта, но приговор в исполнение привести не смогли: не удавалось его захватить в госпитале одного. Всегда он являлся со свитой и только днем. Вечером Лейпельт вообще в лагерь не заходил.

Казнь фашистов подняла дух наших людей. Особенно радовался Василий Фоменко.

— Душить их, гадов, как можно больше надо душить, — говорил он в кругу своих.

Василий Фоменко — русский богатырь. Ростом около двух метров, он обладал большой физической си-

лой. Вместе с Василием у нас в лагере были его земляки, которые рассказывали о нем много интересного. Родом он из Курской области, колхозник. Мешок ржи он не только переносил с места на место, обхватив руками, но и свободно перебрасывал его через голову. Открытая русская натура, Василий любил не только работать, но был хорошим плясуном, обладал красивым голосом. В долгие зимние темные вечера мы любили слушать песни Василия, особенно раздольную русскую песню о Степане Разине.

В армию он пришел в первые дни войны. Попал на фронт под Ельню и здесь впервые принял боевое крещение. Василий был первым номером пулемета «максим». Пулемет в его руках навел ужас на немцев.

Однажды батальону, в котором служил Василий, понадобилось переменить позицию. Немцы наступали.

Взводу Фоменко было приказано задержать немцев и дать возможность батальону отойти на новое место и занять оборону. Взвод укрепился на окраине деревни. Василий устроился на чердаке каменного дома и из своего «Максима» хладнокровно расстреливал немецкие цепи.

Антон Крицкий, который рассказывал об этом, не забывал добавить:

— На нас он только покрикивал: «Ленты... Ленты не задерживайте, набивайте и давайте...» Мы старались. Нас осталось всего трое. Взвод отошел, а Василий все стреляет. Ближе немцев к дому не подпускает. Уже не один раз закипала вода в кожухе, а он все стреляет. Три раны получил Василий. Одну в плечо, другую в ногу, а третья пуля прострелила ему ладонь левой руки. Он и тогда не отошел от своего друга — пулемета. Немцы так и не подошли к нам в тот раз... Тогда они выкатили пушку и прямой наводкой расстреляли дом. Здание рухнуло и засыпало Василия обломками. Только на второй день был услышан стон под обломками, и нам удалось откопать Василия.

В лагерь Василий был доставлен в бессознательном состоянии. Наши русские врачи буквально не отходили от него. Он выжил.

Плен Василий переживал мучительно. В своей злобе к фашистам доходил до безрассудства. Наблюдая чудовищные преступления немцев по отношению к рус-

ским людям в лагере, он требовал решительных действий. Несколько раз подходил ко мне и просил:

— Сергей Александрович! Разреши, я его задушу.

Задушить он хотел немецкого врача, главного виновника гибели раненых в лагере.

Задушить он, конечно, мог бы, да подходящего случая не наступало. Долго Василий охотился за немецким извергом, но безрезультатно. Хотел он броситься на него открыто, при всей его свите, во время обхода палат, но мы не разрешили. Ничего путного из такого дела не вышло бы, а Василия и; может быть, других людей мы потеряли бы.

Под стать ему был и его товарищ Антон Крицкий. Они земляки. Вместе воевали, вместе, ранеными, они и попали в плен. Антон несколько ниже ростом, чем Василий, но такой же плотный и сильный. Антон отличался от Василия большей рассудительностью, более уравновешенным характером, выдержкой. Крицкий положительно влиял на Фоменко, без Антона Василий давно пропал бы с своей горячностью, поспешностью.

Антон по специальности столяр-краснодеревщик. После того как он оправился от ран, Крицкому принесли в лагерь некоторые столярные инструменты, и он в углу одной палаты открыл настоящую столярную мастерскую. Исправить стол, табуретку, сделать небольшой ящик он мог довольно искусно и красиво даже без необходимых инструментов.

Человек по натуре честный. Антон искренне удивлялся поведению полицейских. В его сознании никак не укладывалось, чтобы русский человек мог дойти до таких мерзостей и подлостей, какие можно было видеть чуть ли не на каждом шагу в лагере.

— Дорогие товарищи! — говорил он на собрании нашей группы. — Да что же это такое?.. Как же терпеть таких, как Макаров, Яковлев и другие?.. Давайте возьмем по кирпичине и пусть каждый из нас убьет одного. Все польза будет...

Таких, как Фоменко и Крицкий, в лагере было много.

Холод — страшный бич людей. От холода в лагере многие умирали, так же как и от голода. Даже в помещении госпиталя печи никогда не топились. Дров не

было. Привозили только для кухни. Да и привозили-то не всегда. И сразу выставляли охрану.

В поисках дров или маленькой дощечки по лагерю бродили положительно все. Рабочие, возвращаясь из города, обязательно приносили с собой несколько поленьев, чтобы ночью или утром погреться около костра и выпить кружку кипятку. Искали дрова и врачи госпиталя. —

Многие помнят такой случай: где-то раздобыл одно полено. госпитальный врач Виталий Григорьевич Попов. Радостный, возвращаясь он со своим «богатством» в госпиталь и вдруг попал на глаза Макарову. Грозное начальство усмотрело величайшее преступление в действиях пленного врача. И хотя Макаров хорошо знал Попова, сам не один раз приходил к нему за советом и медицинской помощью, знал, что Виталий Григорьевич пользуется любовью и уважением раненых и больных, все же у мерзкого выродка поднялась рука на честнейшего человека. Попов был избит Макаровым плеткой. Уверения Попова, что полено ему дали добровольно, не помогли. Попов тоже знал Макарова и потому не пожаловался на него, не хотел с ним связываться вообще.

+ Подлец Макаров пользовался этим и еще чаще стал собственноручно творить суд и расправу над несчастными пленными. В конце концов Макаров лично стал расстреливать подозреваемых в том, что они или политработники или евреи. Пример Макарова — лучшее доказательство того, что трус обычно бывает подлецом и жестоким.

— Был в лагере и еще один предатель, такой же подленький и трусливый. Это врач Дмитрий Иванович Яковлев.

Яковлеву было больше 50 лет. По профессии он врач-гигиенист. До войны работал в городе Саратове. В комнате врачей он любил поговорить о себе. Отец у него в прошлом купец, а он еще помнит «доброе старое время», когда у его отца имелся большой магазин. О прошлом Яковлев всегда говорил, захлебываясь от удовольствия. В Красной Армии Дмитрий Иванович Яковлев имел звание военврача второго ранга. Худощавый, высокий человек с большой лысиной на голове и длинными черными казацкими усами, он представ-

лял собою довольно оригинальную фигуру. Особенно хочется остановиться на Яковлеве для характеристики тех, на которых хотели опереться немецкие фашисты в завоеванных ими областях. Их немного, но они, к сожалению, были, и были особенно видны в лагере.

Часто Яковлев открыто хвалился в кругу врачей, как он перечекивал бюллетени во время выборов в Советы. В советских условиях Яковлев, конечно, маскировался, не высказывал своих мыслей, боялся, незаметно противной мокрицей старался прлезть в жизнь: Такой тип людей отвратителен, они напоминают слизняков. Теперь же, в плену, ему никто не мешал высказывать свои мысли и взгляды. Фашисты оценили его и назначили старшим врачом во вновь открытый третий корпус.

Одевался Яковлев в длинную шинель солдатского покроа. В петлицах носил два прямоугольника, сделанных из картона и обшитых красной материей. По примеру полицейских, он всегда ходил с плеткой. Раненые и больные видели его в своем бараке, но не знали, что он врач, так как врачебной практикой он вообще не занимался, да и вряд ли он мог ею заниматься, если учесть, что всю свою жизнь он следил только за вывозкой нечистот из городских уборных.

Как-то раз один из тяжелобольных в забытьи, обращаясь к Яковлеву, произнес:

— Товарищ батальонный комиссар!..

Дальше продолжать свою речь больной не смог. Как разъяренный зверь, Яковлев одним прыжком вскочил на нары с криком:

— Что?.. Батальонный комиссар?.. Это я-то комиссар?! Я тебе покажу комиссара... Ты у меня забудешь про комиссара...— и он топтал больного ногами, помогая себе плёткой. Минут 15—20 длилась безумная вспышка. Находившиеся рядом люди в страхе разбежались. Несчастливого больного потом отправили в морг.

Политические взгляды Яковлева явно монархические. Меня он знал как учителя. Мы несколько раз встречались с ним в комнате врачей, куда я иногда заходил, и даже разговаривали на различные темы. Однажды при мне один из врачей спросил Яковлева:

— Дмитрий Иванович! А каким вам мыслится окончание войны?

Не задумываясь, Яковлев ответил:

— Конец войны? Вот моя программа: 75 процентов коммунистов повесить, 25 процентов расстрелять. В России должен быть монарх. Всех жидов выслать из России. Довольно попили они нашей кроушки...

Мне страшно захотелось развернуться и дать ему по морде. Меня сдержало, вероятно, то, что в комнате находились незнакомые мне врачи.

Не помню кто, кажется, сидевший здесь врач Сорокин, задал ему еще один вопрос:

— Но ведь немцы не хсят дать самостоятельность русским. Неужели вы согласны идти под власть немцев?

— Пусть кто угодно, только не коммунисты! — ответил он.

Как видно, большие купеческие доходы пришлось потерять семье Яковлева, что до сих пор он не мог про это забыть.

А я, как всякий советский гражданин, знал, что в нашей стране разбиты последние капиталистические классы и ликвидированы причины, порождающие классовые различия. Но я еще плохо учитывал, что осколки ликвидированных классов будут жить, крепко держаться за старое.

Мне был дан наглядный предметный урок политической грамоты.

Беспечность некоторых наших руководителей в мирное время привела к тому, что люди, подобные Яковлеву и Макарову, не только жили, но чем-то и занимались в предвоенные годы и, не подлежит сомнению, творили свои темные дела.

Мне стало понятно и другое. Мало, очень мало в мирных условиях мы еще учим, воспитываем наших людей в духе большевистской бдительности. Иначе чем же объяснить, что Яковлев носил даже два прямоугольника в петлицах?

«ПЕТУШОК»

При помощи голода в первую очередь Гитлер думал осуществить свою гнусную политику истребления славянских народов.

Питание пленным немецкие власти начали организовывать только во второй половине сентября 1941 года, и день ото дня оно становилось все хуже и хуже.

В день каждому пленному в лагере, наконец, установили такой рацион: 200 граммов хлеба и два раза жидкой похлебки по 750 граммов, которую мы обычно называли баландой. Да и хлеб-то был не чистый, а с примесью

В качестве примеси немцы использовали костную муку. Костную муку немцы выделяли где-то у себя в Германии, и, как видно, предназначалась она для кур, чтобы они лучше неслись.

Мука привозилась в больших бумажных мешках по 15—20 килограммов каждый. Цветом и видом своим она напоминала цемент. На мешках нарисован был большой красный петух с приподнятой головой, стоящий на одной ноге, а кругом синими буквами было написано, для чего мука предназначается. Пленные называли эту муку «петушком».

Может, для кур-то она в какой-то мере и была полезна, но человеку примесь костной муки наносила непоправимый вред. При употреблении костной муки пленные обрекались на мучительную, верную смерть. А такое положение вело к осуществлению гнусной идеи Гитлера, то есть к уничтожению нескольких десятков миллионов славянского населения — лишнего, по его утверждению. И гитлеровской цели уничтожения пленных как нельзя лучше отвечала костная мука.

В муку, из которой пекли хлеб или варили баланду, сначала добавляли 10 процентов костной муки, потом — 30 и, наконец, стали добавлять 50 процентов.

Баланду приготавливали по такому способу: кипятилась вода, отдельно замешивалось тесто. Потом в крутой кипяток добавляли тесто; чтобы этому тесту не завариться, воду непрерывно размешивали большими деревянными лопатами. В конце концов получалась жидкость, напоминающая клейстер. Иногда вместо муки в баланду засыпали шелуху от гречневой крупы, а потом полностью перешли на «петушка».

Баланда с примесью «петушка» отличалась едким привкусом, хотя в хлебе этот привкус не сразу можно было ощутить.

Костная мука, через хлеб или баланду введенная в организм человека, в желудке не переваривалась, поступая в кишки, осаждалась там. В конечном итоге после двух-трехнедельного употребления «петушка» в кишках у человека образовывался камень, и человек неизбежно погибал, спасти его не представлялось возможным.

Мы старались разъяснить массе пленных и через листовки, и устно: не торопиться с принятием пищи. Надо дать отстояться костной муке и остатки баланды не есть, а выбрасывать. Но наше разъяснение существенно успеха не имело. Голодные люди не хотели, да и не могли ждать. Они съедали все и без остатка.

Когда фронт стоял на Десне, а потом, когда в начале 1942 года он был снова отодвинут от Москвы и находился сравнительно недалеко от лагеря, работники кухни иной раз добивались разрешения коменданта выехать за провиантом. Но разрешение на выезд давалось только в том случае, если майор находился в хорошем настроении. Рабочие кухни удачно охотились за таким «хорошим настроением» своего начальства. В случае «хорошего настроения» майор давал машину, конвой, и несколько рабочих из кухни в сопровождении полицейских и двух-трех немцев выезжали к фронту.

Стояла холодная зима. В некоторых местах рабочие находили убитых лошадей, иногда ловили и безнадзорных коров. В прифронтовой полосе всякое бывает. В таком случае баланда варилась уже с куском мяса. Никто не обращал внимания на запах, который шел от баланды. Меньше всего возникали вопросы: пахнет мясо или нет. Даже никто не задумывался:дохлая лошадь или просто убитая лежала порядочное время, а теперь сварилась в котле.

В дни, когда баланда варилась с мясом, за раздачей пищи устанавливался особенно строгий контроль, так как немцы страшно боялись, что хоть немного будет превышен установленный ими рацион. Вот здесь-то пресловутая немецкая аккуратность сказалась, как нигде.

Сказалась эта аккуратность и в том, что еженедельно по субботам весь лагерь выстраивали для тщатель-

ного подсчета. В день подсчетов всегда находилось много работы полицейским и внешней охране комендатуры. Полицейские и конвойная команда сгоняли людей из всех барачков и землянок на площадь около госпиталя. Болезнь, раны — ничего не принималось в расчет. Не обращали немцы внимания и на погоду. Дождь, слякоть, снег — все равно людей заставляли идти ударами плеток и дубинок. Потом выстраивали и по три тысячи человек, партиями, подсчитывали.

Тщательно пересчитывали людей и в госпитале: раненых, больных, рабочий персонал, врачей, фельдшеров. Считали положительно всех. Обслуживающий персонал госпиталя тоже выстраивался здесь же, около здания. А в помещении подсчет вели только полицейские, больше никому немцы не доверяли.

Все, конечно, знали о таких подсчетах по субботам. Поэтому кто скрывался в госпитале и не подходил под рубрику врачей, фельдшеров или рабочих, в субботний день ложился с больными на нары.

На подсчитанное количество пленных комендант разрешал варить пищу, выдавать хлеб. Число умерших ежедневно учитывалось отдельно, и кухня обязана была уменьшать количество пищи. Продовольствие умерших должно было сдаваться на склад как остаток.

За таким остатком комендант также тщательно следил через особых доверенных лиц из полицейских. Этот остаток был прямой барыш коменданта, он его мог продать, обменять, что он и делал. Смертность же в лагере была очень большая, поэтому и излишек создавался немаленький. «Ученый» комендант и фельдфебель — начальник кухни — продавали в городе остатки муки, сэкономленной на умерших. По-разному люди наживали капитал.

Порядок раздачи пищи установился довольно простой. Весь лагерь делился проволокой на две части. И вот два раза в день, прогоняя пленных из одной части через кухонные ряды в другую, выдавали пленному 100 граммов хлеба и около 750 граммов жидкой похлебки-баланды. Потом охрана снималась.

В восточной части лагеря никто уже не мог получить питания. Да там к обеденному времени никого обычно и не оставалось.

Хозяевами положения во время раздачи еды являлись полицейские и немецкий фельдфебель, стоящий невдалеке и наблюдающий за работой всей кухни, начальником которой он числился. Горе тому кухонному рабочему, который вздумал бы добавить баланды своему знакомому или дать ему лишнюю «пайку» хлеба. Уличенный в столь «жесточайшем» преступлении выбрасывался из кухни и отправлялся в общий барак.

Работа на кухне была выгодна во всех отношениях. Не говоря уже о возможности досыта наесться хлебом, рабочие здесь жили в особой землянке, вырытой и оборудованной рядом с кухней, да еще отапливаемой кухонными дровами, пусть даже тайком от немецкого начальства. Вполне понятно, что рабочие дорожили своим положением и если проявляли сострадание по отношению к пленным, то, конечно, не на глазах полиции и немцев.

Строгий контроль за раздачей пищи проводился и в госпитале. Но как бы фашисты ни следили, обслуживающий персонал ухитрялся их обманывать. Избегали они это делать только в дни субботних подсчетов. Находилось немало полицейских, да и немцев, которые не сразу понимали механику госпитального подсчета. Вот почему врачи ухитрялись приписывать на каждую палату по 10—12 порций хлеба и баланды.

После установления связей с группой Дрожжина излишков баланды и хлеба нам стало перепадать значительно больше. Так в руках врача палаты ежедневно образовывался резерв продовольствия, из которого он добавлял порции некоторым тяжелобольным и распределял между работающими врачами, фельдшерами, санитарями. Такое положение спасло от преждевременной смерти многих наших людей.

Конечно, если бы немцы узнали об этом, они жестоко расправились бы со всем обслуживающим персоналом госпиталя. В их глазах лишний кусок хлеба для голодного — величайшее преступление, за которое мало покарать смертью. На счастье, гитлеровцы так и не узнали о действиях наших врачей.

Больные и раненые, да что больные и раненые, весь лагерь только и жил от раздачи до раздачи баланды. Мысль, где бы достать хотя бы маленький кусочек хлеба, не покидала ни на одну минуту никого. «Пай-

ка» хлеба являлась мерилom: на нее оценивалось положительно все — и табак, и костюм, и даже часы. В лагере знали действительную цену хлеба. Я не помню ни одного дня в лагере, когда бы я был сыт. Страшный голод преследовал всех пленных, находившихся в Рославльском концлагере.

Как люди жили в лагере, можно хорошо понять на примере так называемого третьего корпуса.

Третий корпус — это деревянный сарай, где раньше был вещевой склад. Доски здесь неплотно прилегали друг к другу. Большие полки, на которых в мирные дни были размещены различные вещи, сохранились, их не убирали, и теперь они назывались нарами. Раненые и пленные лежали в три яруса под самую крышу.

В неотапливаемом сарае ветер гулял свободно, а если на дворе мороз доходил до 41—42 градусов, то и в помещении была такая же температура. Всего здесь лежало около 1800 человек больных и раненых.

Кто раз побывал в третьем корпусе, тот не забудет его никогда, он запомнит его на всю жизнь. Говорят, есть ад, где черти поджаривают людей за земные грехи. Этим адом церковь пугает людей как чем-то страшным, невероятным. Самое страшное, что только можно придумать, говорят, есть в аду. Я не был в аду. Но я был в третьем корпусе. Мне казалось, что если бы я из третьего корпуса попал сразу в ад, то ад показался бы мне раем. Говорят, в аду люди мучаются за свои земные грехи. А вот в третьем корпусе советские люди мучались, потому что были русские, а русских немецкие фашисты стремились истребить и, не решаясь это сделать открыто, делали замаскированно, скрытно, медленно, но верно. ЖОМНИ,

Так вот, кто попал в третий корпус, особенно во время раздачи хлеба, всегда в первую минуту терялся. Не сразу можно было разобраться в том, что там происходит. Слышался непрерывный, монотонный шум, какой-то сизый дым въедался в глаза. Только присмотревшись, можно было понять, что происходит раздача хлеба. Все были в это время возбуждены. Несколько десятков полицейских, тепло одетых, в рукавицах, с плетками и дубинками в руках, охраняют корзины с

хлебом и беспощадно раздают удары плетками налево и направо, отгоняют «ходячих» больных, стремящихся приблизиться к корзинам. Санитары и кухонные рабочие под охраной полицейских разносят хлеб и раздают его больным и раненым.

На всех нарах, даже и под нарами, лежали люди. Страшно холодно. На многих надето по несколько рваных, грязных шинелей. Такими же грязными шинелями укутывали они себе голову, ноги. У некоторых головы повязаны грязными полотенцами, тряпками или рваными женскими платками.

Пары широкие, на них лежало по несколько человек. Рядом на кирпичях стоят солдатские каски, а в них тлеют угли или горят маленькие деревянные чурки.

Небритый, грязный, закутанный больной, в сизом дыме, на большом морозе представлял жуткую картину. При движении на нем начинало гроыхать все его имущество: на поясе привязана тряпчочкой консервная банка, через плечо — противогазная сумка, набитая грязным тряпьем. Ничего снять с себя было нельзя, иначе можно лишиться своего «богатства». Ведь в такой тесноте и непрерывном движении за людьми не уследишь.

Трупы умерших или замерзших лежали тут же, их убирали только раз в день. Да и убрать-то их не всегда удавалось, потому что лежавшие рядом живые не давали убирать. Дело в том, что раз еще умерший в бараке, значит и на него должны приходиться «пайка» хлеба и кружка баланды. Исключался умерший только во время субботнего подсчета или тогда, когда труп выносился из барака и укладывался около здания. Тогда уже никто не спорил об его порции.

А когда проходил раздатчик, то сосед поднимал руку мертвеца и получал за него хлеб и баланду. Санитары и кухонные рабочие знали об этом и, как правило, не спорили. Только полицейские иногда пробовали проявить свою власть, но тогда в защиту установившегося порядка поднимался страшный крик всего барака.

Вот принесли горячую баланду. Всем хочется горячего. А баланда тем и хороша, что горяча. Начинается война за баланду. «Ходячие» устремляются к котлу. Никакой очереди установить не удастся. Снова усиленно работают полицейские дубинки, плетки, но и они мало помогают. Раздача баланды «лежачим» и «сидячим» со-

проводится таким же невозможным шумом и криком: снова споры за порции умерших. Получив свою долю, все с жадностью тут же уничтожают ее, не вставая с пола или нар, не смущаясь соседством с мертвецом.

Съев свою порцию, пленный голодными глазами следит за раздачей: не будет ли добавки.

Так же происходит раздача пищи и в других зданиях госпиталя. Разница только в том, что там не так свирепствовал мороз. Окна в большинстве своем забиты фанерой, в палате темно, больных и раненых набито до отказа. Здесь все тоже держат свое имущество на себе. В палате не так холодно, но зато воздух всегда душливый, спертый. При раздаче пищи такие же споры за порции умерших, борьба за добавку. Все происходило так же, как и в третьем бараке, и все это вело к истреблению десятков тысяч несчастных пленников.

«ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»

Лечить раненых и больных, как уже говорилось, было совершенно нечем. перевязки делали в госпитале редко, примерно раз в месяц. Не было бинтов. Раны не затягивались при отсутствии питания и загнивали. У многих в ранах заводились черви. Сначала маленькие палочки быстро двигались, потом вырастали. Чтобы их уничтожить, требовались хотя бы ривонол, марганцовка или перекись водорода. Ничего этого в госпитале не было. Рану изредка промывали водой, часто сомнительной чистоты, и снова заворачивали старым загноенным бинтом. Иногда старые бинты стирали в теплой воде, без мыла, конечно, и такими грязными вонючими тряпками снова завязывали рану, отчего она приобретала еще худший вид.

Некоторые товарищи приносили с работы бинты, выпрошенные у населения, или чистое полотенце, а то и простой крестьянский холст и этим помогали другим.

Не один раз пленные врачи обращали внимание немецкого врача Франца Лейпельта на недопустимость такого положения, но в ответ слышали гортанный крик, потом старческое шарканье ногами и бормотание себе под нос чего-то. На этом дело обычно и кончалось. Вероятно, про себя фашистский врач был доволен: он ус-

нешно выполнял полученное задание по уничтожению советских военнопленных.

Наконец, в лагерь пришел еще один страшный гость. Нельзя сказать, что гость явился неожиданно. Мы его ждали. Он обязательно приходит во всех таких случаях. Но и ожидаемый гость оказался слишком страшным. В лагере начался сыпной тиф. Борьба с ним в лагерных условиях вообще не представлялось возможным. Врачей и фельдшеров много, а вести борьбу они не могли.

Если раны еще кое-как и можно лечить, хотя и простой водой, то уж лечение тифа требовало и питания, и лекарств. А в лагерных условиях не было как раз ни продовольствия, ни медикаментов. Лечение проходило, по меткому выражению врача Виталия Григорьевича Попова, «психотерапией», то есть одним только внушением.

«Психотерапия» помогала немногим.

Вошь в лагере считалась почти нормальным явлением. Просто снимали белье и держали его над жаркими углями. Такой способ, конечно, много дать не мог. Потом, уже говорилось, трудно было раздобыть дров для того, чтобы развести костер.

Баня в лагере вообще не было. Люди совсем не мылись. Если в госпитале рабочие и медицинский персонал еще иногда и умывались, то в лагере воды совсем не было, и люди были лишены даже самого элементарного, самого необходимого.

Русские врачи доложили о первых сыпнотифозных тому же немецкому врачу Лейпелту, думая, что он может медикаментами, питанием.

В ответ тот прочитал лекцию на немецком языке о соблюдении чистоты и... постарался реже заходить в госпиталь. Если раньше он ходил раз в день, теперь стал появляться через день, а потом через два-три дня. Приходя в здание, он не прикасался ни к людям, ни к дверям, а заходил в комнатку, где должны находиться лекарства, но которых так и не было, хотя комнатку продолжали называть аптекой.

Здесь, не садясь, он брезгливо выслушивал доклады пленных врачей, произносил свое неизменное «гут» и медленной старческой походкой удалялся в город на квартиру. В палаты он уже не считал нужным заглядывать.

Люди быстро заболевали и так же быстро умирали. Вначале для сыпнотифозных отвели одну палату, потом — целый корпус, в конце концов перестали разбирать, где раненые, а где больные тифом. Во всем лагере, везде лежали сыпнотифозные. Люди в бреду, в беспмятстве поднимались и часто слепо шли к изгороди, где под выстрелами немецкой охраны успокаивались навсегда.

† Мороз, голод, сыпной тиф — вот что косило массу пленных Рославльского лагеря зимой 1941/42 года.

Я решил завести книгу, куда стал записывать умерших людей. Обычно утром после обхода фельдшера приносили в свою комнату «медальоны смерти», то есть листки с адресами умерших людей, и складывали их на окно. Никто не интересовался — кто умер, почему умер, никакого не было и учета умерших. Я надеялся впоследствии передать в руки советских властей страшную книгу, где мною были записаны имена многих умерших. Но вел я ее недолго. Не хватило бумаги, и я перестал записывать. Да и немцы жестоко карали за подобный учет.

Фельдшер Николай Крымов с большим трудом, тайно от немцев, сумел переправить мою книгу в город, но дальнейшая ее судьба мне, к сожалению, неизвестна.

За время с 23 ноября 1941 года по 7 апреля 1942 года, то есть за 131 день, только в нашем здании госпиталя мною было записано 2866 умерших. Я сказал, записано. Ведь не все записывалось в страшную книгу. Значительная часть, пожалуй, более чем половина умерших, не могла быть записана, так как погибшие не имели никаких документов или «смертного медальона».

Такова была смертность в помещении под крышей! А что происходило в общем лагере, или так называемом третьем корпусе? Это даже трудно себе представить.

Однажды мне пришлось слышать разговор переводчика Бифеля со старшим врачом нашего корпуса Бекешевым. Бифель рассказывал, что смертность пленных в комендатуре учитывалась по количеству вывезенных трупов из лагеря. За время с 26 декабря 1941 года и по 2 января 1942 года из лагеря вывезли 16 564 трупа.

Это только за семь дней! А за один только день 28 декабря вывезли 1852 трупа. Но ведь не всех мертвецов управлялись вывезти. Целые груды трупов и око-

до корпусов, и в самом лагере долгое время лежали на морозе, уложенные ровными рядами. За один день 28 декабря только из третьего корпуса вынесли 421 труп.

28 декабря — страшный день в лагере. Утро выдалось какое-то серое, мороз доходил до 43 градусов. Из окон нашего корпуса хорошо были видны черные неподвижные точки, рассыпанные по всему лагерю. Некоторые точки передвигались, и мы решили посмотреть, что делается на территории. С художником Николаем Морозовым мы вышли из госпиталя. Когда подошли, то оказалось, что черные точки — это замерзшие люди. Около замерзших копошились живые. Живые раздевали умерших, брали шинели и остальное обмундирование и тут же надевали на себя снятое с трупов. Особые люди, которых в лагере называли «капутчиками», собирали трупы и укладывали их в штабеля, как поленицы дров. Таких куч, или штабелей, стояло уже двенадцать, а трупы все выносили и выносили из помещений.

«Капут-бригада» (или могильщики) назывались так от часто произносимого фашистами слова «капут», то есть смерть, конец. Бригада была довольно многочисленной. Иногда состав ее доходил до 330—350 человек. Одеты «капутчики» были значительно теплее остальных, так как снимали одежду с умерших, да и питания они получали несколько больше. Нельзя сказать лучше, нет. Давали ту же баланду и тот же хлеб с «петушком», но давали в двойном или тройном размере. Балаанды они ели досыта.

На «капутчиках» лежала обязанность ежедневно вывозить мертвецов из лагеря на Вознесенское кладбище, расположенное тут же, рядом с лагерем. Они же должны были рыть и могилы. Вся работа «капутчиков» можно было наблюдать из окон лагерного госпиталя.

Народ «капутчики», в большинстве своем, слабый, и питание им мало помогало, а земля твердая, мерзлая. Конечно, рыть такую землю слабым людям трудно. Иногда немцы помогали им, взрывая землю аммоналом, а потом заставляли «капутчиков» образовавшуюся яму углублять, вернее расчищать. Могилу делали общую, на пять-шесть тысяч трупов. В длину могила иногда дости-

гала 80—100 метров. Трупы укладывались в вырытую яму ровными рядами и засыпались землей. На месте таких могил впоследствии возвышались большие холмы.

Вывозка мертвецов происходила на наших красноармейских двуколках. Обычно на такую двуколку укладывали 15—17 трупов, впрягались в нее 15—20 «капутчиков» и с шумом, с гиком, с резким металлическим лязгом двигались к кладбищу.



Обелиск на Вознесенском кладбище Рославля.

Такие обозы, состоявшие из 15—20 двуколок, в лагере называли «огненными колесницами».

На «огненных колесницах» вывезено из лагеря много, очень много трупов людей. Рано или поздно большинству из нас предстояло быть также вывезенным на такой «огненной колеснице». Умерли уже честные, хорошие люди: профессор Н. И. Соколов, доктор-Рязанцев, инженер Коробов, преподаватель Федотов. Умерли и попали на «огненный обоз» страшно тосковавшие от невозможности активно помогать армии А. Ключников, П. Шевцов, В. Венгров, С. Федоров и многие другие.

Каждый из нас, слыша характерные звуки страшного обоза, невольно содрогался.

Однажды, услышав треск и крики «огненного обоза» еще в общем лагере, мы постарались не встречаться с ним и поскорее пошли к себе в помещение госпиталя.

Только я вошел в комнату, как ко мне обратился прах Иван Владимирович Шибакин. Иван Владимирович искренне стремился бороться с фашистами. Не один раз мы с ним разрабатывали планы побега и страстно мечтали о предстоящей партизанской деятельности.

Шибакин, увидев меня, говорит:

— Сергей Александрович! Я вас ищу. Вы видели «огненные колесницы» сегодня?

— Видел. Но не подходил к ним. Уж больно картина-то страшная, — ответил я.

— Ступайте скорее и посмотрите. «Огненный обоз» как раз стоит у второго корпуса. Потом расскажете, — сказал он, как-то странно глядя на меня.

Мы с Николаем быстро побежали. Мороз крепчал, прохватывая все тело до самых костей.

Около второго корпуса действительно стоял обоз «огненных колесниц» из 14 или 15 двуколок. «Капутчики» отдыхали. Человек около трехсот, укутанных кое-как, прыгало около подвод. А немецкая охрана, тепло одетая, в соломенных ботах, надетых на кожаные сапоги, важно переваливалась с ноги на ногу.

Мы подошли ближе и увидели такую картину. На второй двуколке в беспорядке навалены трупы — скелеты, обтянутые кожей. Лица страшные, зубы оскалены, волосы длинные, смерзлись. Всего лежало 12 или 14 трупов. Вдруг вижу: у одного из трупов движется голова... глаза то открываются, то закрываются... Рот временами судорожно ловит воздух... Меня даже в пот бросило от неожиданности. Все что угодно ожидал я увидеть, но только не живого человека на «огненной колеснице», да еще голого и в такой страшный мороз. Около двуколки молча стоят некоторые возчики и наблюдают. А конвойный фашист ходит рядом и смеется. Показывая на живого человека на повозке, он на ломаном русском языке приговаривает:

— Никс капут. Пара минут — и капут.

Подошли еще некоторые наши товарищи из второго корпуса. Мы попробовали вступить. Хотели снять живого человека и потом попытаться привести его в чувство. Фашист нас и слушать не стал. Он не подпустил никого близко к двуколке, дал команду, и обоз с шумом и треском тронулся дальше.

После, вместе с Шибакиным, мы заявили переводчику Бифелю протест против таких нечеловеческих действий немцев. Бифель выслушал нас, возмутился, записал себе в книжечку, а дня через два, встретясь со мною, сказал:

— Бесплезно протестовать. Комендант посмеялся над таким фактом. Говорит, что пленных много,— произнеся это, Бифель как-то особенно посмотрел на меня.

Мы попробовали установить, как же случилось такое дело, что живой человек попал на «огненный обоз». Все оказалось довольно просто. Человек болел сыпным тифом. Лежал он не в госпитале, а в холодном бараке, страшно кричал, приходя в себя, а фашист, обходя барак, приказал отправить его не в госпиталь, а прямо на кладбище.

Да таких примеров было много. Случаи, когда потерявших сознание живых людей вывозили прямо на кладбище,— не редкость.

Всем нам памятен рассказ больного «капутчика», лежавшего в нашем госпитале. Красноармеец-пленный, работавший в команде, заболел и не лечился, а как бы отдыхал у нас, так как лечить его было нечем. Звали «капутчика» Лева Марданьян.

— Однажды приготовили мы общую могилу и ждем,— рассказывал он. — Вот подъехали «огненные колесницы». На дворе страшно холодно. Стали разгружать обоз. Разгрузка проходила, как всегда. Подходили человек 8—10 к двуколке, приподнимали ее за дышло и опрокидывали прямо в общую яму. Вдруг один из «трупов» ожил. Голый, он сел в яме и попытался встать. Мы испугались и разбежались. Отбежали немного, остановились и смотрим. «Мертвец» говорить не может, так только рот раскрывает. Тогда конвойный немец подошел, что-то бормоча, и выстрелом размозжил ему голову.

Однажды переводчик Бифель в комнате врачей проговорился, что в Рославле размещается штаб армейской группировки и ему на днях надо быть там. Русские врачи А. К. Головинский, В. Г. Попов, И. В. Шибакин и другие попросили Бифеля доложить командующему армейской военной группировкой о положении в лагере, может быть, даже просить командующего лично ознакомиться с условиями жизни пленных. Была еще у некоторых из нас надежда, что фашисты как-то позаботятся о пленных. Бифель обещал передать просьбу пленных.

Мы ждем. Дней через семь Бифель пришел, сопровождая врача Лейпельта. После обычной бесцельной беседы немец ушел, а Бифель задержался. Он зашел к врачам и сказал:

— Мне удалось поговорить с начальником штаба — генералом. Когда генерал выслушал просьбу, то весь гнев обрушил на меня. «Неужели вы, — заявил генерал, — фольксдойч, не понимаете, что именно так надо относиться к большевикам-пленным? Чем больше их подохнет, тем будет лучше». Потом он мне показал приказ, устанавливающий рацион и порядок содержания советских пленных. При этом сказал, что этот рацион и порядок одобрены фюрером.

Вот и все. Разговор окончен. Больше переводчик ничего не сказал. А нам стало больно, что наши врачи могли обратиться с такой просьбой к своим врагам.

Мы постарались разъяснить нашим врачам, что создавшееся положение в лагере не случайно. Эта система, одобренная Гитлером, направлена исключительно для определенной цели. Ведь все знали, что в начале войны Гитлер много разглагольствовал о слишком большой плодovitости славянского населения и выразил надежду, что во время войны будет уничтожено несколько десятков миллионов славян. Вот этой-то цели и содействовал лагерь с таким рационом.

Мы старались также разъяснить, что исправить положение не в силах один или несколько немцев, даже если бы нашлись такие немцы. Сама система немецкого фашизма — вот в чем зло.

ПРИМАКИ

Число пленных в лагере росло. Чтобы хоть немного разгрузить его, а может и для получения некоторой рабочей силы в сельском хозяйстве (урожай-то достался бы оккупантам!), фашистские власти в конце 1941 года начали отпускать пленных из местного населения по домам.

Слух об этом быстро распространился по соседним областям и районам. Около комендатуры снова затолпился народ.

Однако выйти из лагеря оказалось не так-то легко. Надо было выполнить многочисленные формальности, доказать прежде всего, что ты из области, захваченной немцами. А для этого надо представить документ от старосты или полицейских о «политической благонадежности» всей семьи, о том, что в семье нет партизан и никто не служит в Красной Армии.

Обычно женщины сами приходили в комендатуру за своими мужьями. Чаще всего их мужей в лагере не оказывалось. В таких случаях они брали первого попавшегося из пленных: хозяйство без мужика вести не может. Да, кроме того, здесь играло немалую роль и русское сострадание. Никакое женское сердце не сможет выдержать вида пленного. Каждая женщина хотела хоть чем-нибудь да облегчить положение несчастных пленных. Вот почему часто женщины брали к себе лютого, лишь бы спасти его жизнь, облегчить страдания.

Трудно сказать, как та или иная женщина договаривалась с пленными. Ведь на глазах у коменданта или другого офицера надо было доказать, что ты действительно ей родной, а не чужой человек. Происходили прямо невероятные, на первый взгляд, сцены.

В комендатуре сидят две женщины. Марии из Орловской области 27 лет, а Анне, ее соседке, около 45. Они пришли в надежде разыскать своих мужей. На тот случай, если они их не найдут, у них есть записки ранее вышедших из лагеря с указанием, кого надо называть своим мужем. Послали за людьми. Ждут. Входят двое грязных, оборванных, обросших мужчин. Начинается установление личности.

— Как твоя фамилия? — обращается через переводчика комендант к черноволосому, горбоносому бойцу.

— Погоди. Сейчас скажу,— отвечает тот. Неторопливо достает бумагу из кармана, которую ему передали накануне выходящие на работу, и по складам читает:

— Фе-до-то-в. А зовут,— и опять смотрит в бумагу.— Василием. Погоди, вот тут, не разберу... ага, Петровичем.

— Это ваша жена? — показывает комендант на одну из женщин.

— Которая?.. Эта?.. — Пленный смотрит на женщину. — Да, да, моя,— говорит он и более внимательным взором окидывает женщин.

Комендант не понимает русского языка. У него не возникает никаких подозрений: люди давно не виделись, не сразу узнают друг друга. А начальник полиции и переводчик, уже получившие от женщин обильное приношение и рассчитывающие на дополнительное вознаграждение, делают вид, что все правильно. Характеристики с места жительства есть. Препятствий к выходу из лагеря не встречается. Оформляют документ, и пленный, наконец-то, получает желанную свободу.

В Могилевскую область из нашей группы удалось уйти таким образом В. Беле^нькому, И. Жи^хареву и П. Фе^дорцову. Они обещали прощупать там почву и сделать соответствующие заявки от «жен» и на нас. Но мы решили уходить не поодиночке, а группами.

В немецкой печати объявлено о создании «независимых» государств Украины и Белоруссии. А так как новые государства еще «слабые» и население этих стран не может «самостоятельно» управлять своим государством, Германия решила «оказать милость» Украине и Белоруссии. Решено, что новые страны будут управляться немецкими комиссарами.

Даже человеку, мало разбирающемуся в политике, бросалось в глаза, что все это фашистами делалось для успешного разграбления богатства Украины и Белоруссии и превращения белорусов и украинцев в рабов немецкого фашизма.

В лагере стали делить пленных по национальным признакам. Лагерь разгородили проволокой, изолировав пленных по национальностям. Прежде всего выделили украинцев и поместили их отдельно от русских.

Украинцы

Потом стали отделять казанских татар. Для татар тоже отвели специальный барак и никого к ним близко не допускали; такие бараки густо опутывались колючей проволокой. Почему-то народы Средней Азии выделялись все вместе под общим названием — мусульмане. Хотя татары тоже мусульмане, но их не объединили с среднеазиатскими национальностями. Отдельно для них установили и часы питания, хотя кормили все тем же «петушком».

Нам было понятно одно: фашисты хотят лишить все национальности русского влияния, а потом будут пытаться натравить одну национальность на другую, чтобы ослабить пленных, и, в конечном счете, заставить их работать, а может быть, и воевать на фашистов.

Как показали дальнейшие события, мы не ошиблись. Действительно, фашисты стремились разъединить национальности и сломить их волю к сопротивлению. Приходили специальные немецкие агитаторы к украинцам, татарам, к кара-калкам и проводили с ними длительные беседы.

Как и следовало ожидать, больших результатов фашисты не добились. Ведь установить отдельную охрану для каждой группы той или иной национальности они не могли, а значит, не могли помешать общению пленных между собой.

Фашисты старались усилить идеологическую обработку пленных: в бараках, в госпитале развесили массу плакатов, восхваляющих «прекрасную» жизнь немцев, жизнь немецкого крестьянина особенно. Когда же плакаты срывали, немцы вывешивали их вновь с лаконической припиской: «За срыв плаката — расстрел». В лагере появилось много книг, брошюр, газет, журналов, издаваемых в Берлине, Смоленске, даже в Рославле. Везде писали: хорошо живут немцы. Помогайте им бить большевиков, идите на работу к немцам, уезжайте в Германию, и у вас будет кое-что.

Плакаты были очень красочные, на великолепной бумаге. Особенно восхвалялась оккупантами жизнь крестьянина. Вот один из плакатов: сидит полный, тщательно прилизанный немец, его толстая фрау, не-

сколько детишек. Все чин-чином. Стол прекрасно сервирован. Здесь даже жареный гусь на блюде лежит. Прислуга в чепчике и фартуке подает миску с супом. На немецкий взгляд, может, и все хорошо. А наш русский человек понимает так, как и надо понимать. Такой плакат внимательно рассматривают трое пленных.

— Видно, кулак,— говорит один.— Прислуга-то в фартуке и чепчике. Разве это крестьяне?.. Откуда у крестьянина прислуга?

— Да и без хлеба за стол-то сели,— замечает другой.

Действительно, сервировка хотя и прекрасная, но хлеба на столе нет.

— Я вам расскажу, как такие плакаты делаются,— замечает третий. — Пойдемте в палату.

И парни, покачав головой, уходят в госпиталь. Они правы. Русский человек не верил столь откровенной рекламе. Тем более, что многие пленные сами являлись свидетелями, как создавались такие агитационные листовки здесь же в лагере.

Еще осенью, примерно в один из сентябрьских дней 1941 года, в госпиталь пришла группа немецких офицеров. У некоторых через плечо висели фотоаппараты. Они принесли с собой небольшие свертки. Внесли столик, поставили несколько скамеек и отобрали трех человек из пленных, более или менее прилично еще выглядевших по сравнению с окружающими. Посадили их за стол. Развернули свертки, там оказались хлеб, колбаса, сыр, консервы и бутылка вина. Расставили угощение на столе и начали щелкать фотоаппаратами. Сделав несколько снимков, гитлеровские молодчики снова собрали продукты и взяли их с собой, отдав пленным только булку хлеба.

Потом оказалось, что снимок понадобился для листовки, обращенной к нашей армии. В листовке они писали: «Смотрите, как хорошо живут пленные в Рослинском лагере». Вероятно, листовку немцы бросали во время своего октябрьского наступления на Десне. Несколько таких листовок попало потом в наш лагерь с новой группой пленных. Люди здесь, в лагере, рассматривая эту листовку, вспоминали, как они фотографировались.

Долго мы берегли попавшие к нам листовки с портретами Ф. Кузнецова, В. Фоменко и И. Чепурного. Люди эти находились здесь же, налицо. И это обстоятельство определило навсегда отношение пленных к фашистской пропаганде.

Но до фашистов это дошло не скоро. Ведь пленные охотно брали книги, журналы, брошюры. Откуда было знать фашистам, как оценивалась их пропагандистская литература. А оценивалась она оригинально. О книге «Что будет дальше?» говорили: «Хорошая книга, уж больно бумага хорошо курится. Даже рвется ровно». О брошюре «Как живут рабочие в Германии»: «Так себе. Привкус остается жесткий во рту». Читать их абсолютное большинство пленных не читало. Книги использовались исключительно для личных нужд. Газетами интересовались только для прочтения сводки, хотелось знать, что пишут про бои, хотя и сводкам немецкого командования обычно не верили. Но пленные уже научились читать между строк.

Всеобщее возмущение вызывал издаваемый немцами в Берлине большой иллюстрированный журнал под названием «Унтерменш», что в переводе на русский язык обозначало «Подчеловек». Журнал, как видно, предназначался для среднего немца в Германии и знакомил его с тем, что собой представляет Восток, на завоевание которого пошли гитлеровские солдаты.

Все самое отвратительное, самое бесчеловечное, самое плохое, что можно придумать и отыскать в человеке, приписывалось народам Советского Союза.

С многочисленных снимков журнала смотрели какие-то дегенеративные типы, скуластые, с длинными лошадиными челюстями, заросшие волосами до глаз, с узкими лбами. Надпись указывала: таковы большевики.

Дикие сцены, вероятно, специально разыгранные перед фотоаппаратом, рисовали русских некультурными, неумными, отвратительными людьми. Трудно сказать, почему попал этот журнал к нам, но он действовал на пленных лучше всяких слов, он помог раскрыть глаза многим нашим людям, которые продолжали еще считать фашистов цивилизованными людьми, и возбудил в нас еще большую ненависть к гитлеризму.

УДАР КРАСНОЙ АРМИИ

Тяжело мы встречали 7 ноября 1941 года. Мы не знали, что же в действительности происходило на фронтах. Немецкие газеты, захлебываясь, кричали об успехах своей армии. Кричали, что их войска уже на окраинах Москвы. Официально даже сообщалось о предполагавшемся 7 ноября на Красной площади параде немецких войск. Новых раненых и пленных в лагерь не поступало. Связь с подпольем установить так и не удалось. Мрачное, гнетущее состояние было у нас.

Газета Долгоненкова, издаваемая в Смоленске, кричала о крахе большевиков, о бегстве из Москвы правительства. Да и в центральных газетах немцы сообщали, будто бы в бинокль офицеры их передовых частей уже рассматривают главные улицы Москвы. Фантастические сведения распространяли и фашистские прихвостли вроде Яковлева, Макарова и других.

Нас одно немного утешало: больно много и громко кричали немцы, что вот-вот Москва будет взята, но сообщения о взятии Москвы в их газетах что-то не появлялось.

Вечером накануне 7 ноября в палате около В. С. Градского собралось много наших товарищей. Сидели молча: о чем было говорить?

Спать почти не могли. Мысль, что с Москвой и как дела на фронте, не давала покоя.

Тяжесть на сердце не покидала нас долго и после ноябрьских дней. О том, что немцы не взяли Москву, что им крепко попало под Москвой, мы узнали по хмурому виду фашистского штабсарцта. Однажды, после обычного обхода, переводчик Бифель, уходя, шепнул врачу В. Г. Попову о разгроме немецких армий под Москвой. Такие же вести вскоре принесли и рабочие из города. Сразу стало легче. Все вздохнули облегченно. Радостную весть мы постарались довести до всех пленных. Написали более пятидесяти листовок о разгроме немцев под Москвой. Лагерь загудел. Люди собирались небольшими группами и оживленно обсуждали нашу листовку.

У Градского совсем неожиданно появился поэтический талант. Он задумал и написал большую поэму. Правда, поэма была окончательно обработана им зна-

чительно позже, но некоторые отрывки, которые мы помещали в листовке, уже тогда пользовались успехом.

О разгроме немцев под Москвой в одной из таких листовок словами Василия Сергеевича мы писали:

Вести с фронта жутки были:
Орды все огнем палили.
Враг в пути все сокрушал
И в столицу поспешал.
Но в стране гвардейской той
Всяк по-своему герой.
Там народ, большой и малый,
Сам солдат, сам генерал,
Против полчищ одичалых
Богатырской грудью встал.
Каждый город и станица,
Порт иль малый хуторок
Стали биться за столицу,
Защищать родной Восток.
Как в аду, земля кипела,
Небѣ страшно потемнело,
Солнце копотью покрылось,
Жизнь с землею распростилась.
Смерть кругом в стальной броне,
Все горит, ревет в огне.
Рухнул вдруг небесный свод
На звериный черный сброд.
Враг завыл и, пятясь вспять,
Начал спешно отступать...

И после сообщили очень коротко, что же произошло под Москвой. Разгром немцев нашей Красной Армией поднял дух советских людей. Он развеял хвастливые планы фашистов о молниеносной войне, заставил людей в лагере вновь поверить в силу и мощь нашего советского народа, если она, эта вера, временами и пропадала у некоторых.

И мы стали чувствовать себя значительно лучше, увереннее.

Мне хочется, чтобы меня правильно поняли читатели. Ведь с точки зрения сегодняшнего дня звучит довольно странным утверждение, что в плену у советских людей было пониженное состояние духа, а у некоторых и даже вера в мощь Советской Армии порой пропадала.

По этому вопросу следует сказать откровенно: да, обстановка в лагере была сложная и необычная. Люди здесь были разные, а пропаганда открыто велась среди всех людей только фашистская. Лишенные пра-

вильных сведений о положении в нашей стране, слыша, что немецкая армия стоит под Москвой, под Ленинградом, немало людей падали духом, теряли веру в силу своей армии.

Однако среди значительной группы военнопленных вера в силу и мощь советского народа не угасала даже в самые трудные дни, даже в дни наибольших успехов фашистов. Эта группа людей не могла открыто высказывать свои взгляды, не могла открыто поддержать упавших духом. Но через листовки, через беседы с проверенными людьми, группа оказывала влияние на массу военнопленных. И самой большой наградой для нас было то, что, как ни ужасны были условия жизни в лагере, пленные предпочитали умирать от голода, холода, болезней, но на службу к гитлеровцам не шли.

Между тем к нам все время доставляли людей из различных мест. Сюда сгоняли пленных из мелких рабочих лагерей, которые ликвидировались, и из лагерей, расположенных ближе к фронту. Особенно много поступало из таких лагерей пленных после бегства фашистов из-под Москвы.

Ликвидируя прифронтовые лагеря, военнопленных перегоняли пешим порядком в Рославль. Так в Рославль пришли пленные из Орла, Калуги, Вязьмы, Юхнова и других мест. Трудно передать все, что переживали несчастные, которым пришлось пройти несколько сотен километров зимой, при сорокаградусном морозе, в легких шинелях, ботинках, пилютках, так как попали они в плен еще в октябре — ноябре и оказались одетыми легко.

Пленные, пришедшие в начале 1942 года из Калуги, рассказывали:

— Вывели нас еще в первых числах декабря. На дворе страшно холодно. Вначале колонна состояла из 12 тысяч человек. Почти все были без теплой одежды. О питании никто и не думал заботиться, у нас же ничего своего не было. Красная Армия нажимала на немцев, поэтому конвойные нас все время подгоняли. Привалы делали короткие, ночевать загоняли в пустые, холодные сараи, и мы, разогретые, вспотевшие от ходьбы, должны были оставаться на морозе всю ночь. После первого ночлега человек 250 так и не поднялись. Когда мы отошли от ночевки, на месте привала раз-

дались автоматные очереди и одиночные выстрелы. Там охранники добивали несчастных, которые уже не могли идти.

Второй день для нас был особенно тяжел. Многие выбивались из сил, останавливались и ложились здесь же, прямо на снегу, на дорогу. Позади колонны шел особый фашистский наряд. Охранник подходил к отстававшему, смотрел ему в глаза и произносил: «Капут?». «Капут», — отвечал изможденный и утвердительно кивал головой или просто молчал. Гитлеровец снимал винтовку и стрелял лежащему в затылок. Так для многих наступал конец. Немецкая «аккуратность» особенно проявлялась в уничтожении людей. Здесь они верны себе.

Переводчик В. Т. Бифель в минуту откровенности рассказывал о наличии особой секретной инструкции, существовавшей в гитлеровской армии, где указывалось, как надо добивать пленных, чтобы меньше расходовать пуль. Ведь и пули стоили денег, а главное командование разрешало тратить на пленного только две пули: одну в затылок, другую в грудь.

По дороге от Калуги до Рославля лежали трупы людей, убитых фашистами. Если же колонне пленных встречалась машина с «чистокровными арийцами», они, проезжая мимо пленных, стоявших по обе стороны дороги, упражнялись в меткости стрельбы из пистолетов и автоматов. После каждого выстрела в машине раздавался громкий гогот. В итоге от всей колонны в Рославльский лагерь пришло из 12 тысяч немногим больше 600 человек.

Рассказы вновь прибывших возбуждали весь лагерь. Такие рассказы приходилось слышать не только от калужан. Подобные страшные вести приносили пленные и из-под Вязьмы, Юхнова и других мест.

При ликвидации различных местных лагерей в наш лагерь пришли и полицейские. Если рославльские полицейские казались нам жестокими, то они были младенцами по сравнению с пришедшими из-под Вязьмы и Юхнова.

Особенной жестокостью отличался начальник юхновской полиции Генс, родом из немцев Поволжья. Вероятно, чтобы получить признание среди немцев, он был особенно изобретателен в жестокости. Жестокость

вновь испеченного арийца не знала предела. Ему с успехом могли бы завидовать средневековые иезуиты.

Скоро Генс занял ведущее место в Рославльской лагерной полиции и даже официально стал помощником Макарова. Под влиянием фольксдойча стала «совершенствовать» свою деятельность полиция Рославльского лагеря.

Многое перенял от Генса для себя и Макаров. В лагере ввели порядок публичного наказания пленных. Организовали особый карцер для провинившихся. Карцером служила большая яма глубиной до четырех метров, вырытая тут же, около комендатуры. Уже оказалось недостаточным выпороть человека, нарушившего «порядок». За значительное нарушение обычно не пороли, а расстреливали.

Нарушителя хватали, сажали в яму, а потом, по усмотрению начальника полиции, публично наказывали или оставляли на несколько дней в яме без воды и хлеба. Наказания стали проводить на виду у всех пленных. «Нарушителей» набиралось в день по 30—40, а иногда и 50 человек. Здесь же, недалеко от барачков, ставилась скамья, виновного клали на нее, задирали шинель на голову (обычно ее не снимали), на жертву садились два полицейских, один на спину, а другой на ноги, а два полицейских пороли изо всей силы. Меньше двадцати пяти ударов не давали. Счет вел старший полицейский (и такие завелись: звание «старшего» давали за особое усердие!).

Среди палачей-полицейских нашлись виртуозы своего гнусного дела. Некоторые с первого удара рассекали все обмундирование, кожу, и кровь брызгала во все стороны. Но кровь только опьяняла палачей. Нередко случалось, что истощенный и ослабленный несчастный человек умирал под ударами плетей. Отвечать за такие дела никому не приходилось. Чтобы наказание проходило «нормально» (немцы боялись возмущения в лагере), здесь же присутствовали с автоматами в руках два гитлеровца из конвойной команды.

За что же наказывали, что считалось нарушением? Заметил немец или полицейский, что пленный разорвал фашистскую газету — 30 ударов, не поприветствовал полицейского (а полицейские требовали особого к себе почтения) — 25 ударов обеспечено. Пленный улыб-

нулся при слове «мороз» — значит, он смеется над зимним гитлеровским наступлением, как же тут не по-роть?

Пленные избегали встречаться с полицией, ставшей изобретательной в поисках нарушителей, но полицейские сами искали случая поиздеваться над пленными.

Наша группа решила уничтожить Генса. Мы долго искали удобного случая, и, наконец, он представился. Генс заболел. Надо сказать, немцы особенно боялись различных эпидемий. Фольксдойч — еще не немец. Генс — фольксдойч. Дорога для него в немецкую больницу закрыта. «Еще сразу принесет», — рассудил комендант, и его положили в госпиталь концлагеря. Теперь-то он оказался в наших руках. Мы срочно собрались для подробного обсуждения своего замысла. То, что Генса надо умертвить, ни у кого не вызывало возражений. Но как? Фельдшер Иван Кондратьевич Емельяненко предложил заразить Генса сыпным тифом и потом отравить его. Возражающим не нравилась лишь задержка. Еще надо заражать, а вдруг Генс будет настаивать на переводе в немецкий госпиталь, «иглядишь; — говорил Алексей Волков, — зверь может и выпрыгнуть из клетки». Однако рисковать, а значит подвергать гибели многих людей, мы не могли, и согласились. Кондратьевич, как все звали Емельяненко, положил Генса в сыпнотифозную палату, хотя тифа у него и не было установлено. Тифом Генс, вероятно, болел раньше, у него имелся иммунитет, и он никак не хотел заболеть вторично. Просто, вероятно, у него был грипп. С помощью врача Виталия Григорьевича Попова нужный диагноз все же удалось установить.

Генс лежал на отдельном топчане. К нему часто приходили полицейские из комендатуры. Немецкий врач также проявил к нему повышенный интерес. Дело осложнилось. Но наши люди старались изо всех сил. Скоро у Генса «ослабла сердечная деятельность». Штабс-арцт, выслушав фельдшера о состоянии больного, не прикасаясь к нему руками, разрешил вспрыгнуть ему камфору. Кондратьевич воспользовался таким разрешением и ввел ему повышенную дозу морфия. Генс уснул, чтобы больше не просыпаться. Он тихо и мирно перестал дышать. Но рано еще было нам радоваться. Комендант проявил беспокойство. Смерть Генса вызвала

у него сомнения. По его распоряжению было назначено вскрытие трупа, чтобы выяснить действительные причины смерти столь ревностного слуги фашистских порядков. Мы боялись вскрытия. Боялись, что если труп возьмут в немецкий госпиталь, то будет обнаружено отравление. В таком случае провал Емельяненко, Попова, Головинского, а может, и всей нашей группы, неминуем. На наше счастье, комендант не захотел с ним долго путаться и разрешил вскрытие произвести пленным врачам, только в обязательном присутствии немецкого штабсарцта.

Вскрытие производили врачи И. А. Сорокин, А. К. Головинский и П. П. Григорьев. Немецкий врач, одетый в белый халат, только наблюдал, устало сидя на табуретке, предварительно протертой карболовым раствором. Головинский и Григорьев — свои люди, а Сорокин нам сочувствовал. За их диагноз мы не боялись. Вскрытие прошло хорошо. Штабсарцт подписал заключение, в котором указано: «Умер в результате ослабления сердечной деятельности после сыпного тифа». После некоторого раздумья комендант разрешил хоронить Генса, и труп его мы выбросили на «огненную колесницу». Одним подлецом, отравляющим жизнь несчастным людям, стало меньше. Но таких подлецов еще много. Борьба с ними была трудна и опасна.

Фронт стабилизировался. Заявок от «жен» на нас так и не поступило.

Бежать по одному в партизанский отряд? Ну, что там можно сказать? Почему люди должны были верить одиночке? Чем он мог доказать, что он не шпион, не провокатор? А до нас доходили слухи о том, что гитлеровцы засылали к партизанам своих людей.

Конечно, я и Волков могли бы бежать. Стоило только уйти с товарищами на работу, и можно было бы незаметно скрыться. Но мы одни идти не хотели. Мы не имели права, совесть коммунистов нам не позволяла бросить товарищей в беде. Не в одиночку мы хотели спастись. Мы хотели спасти тех пленных, которые впали в отчаяние, внушить им веру в победу нашей армии, научить вредить врагу, чтобы с чистым сердцем можно было встретиться с армией, своими семьями.

И нам оставалось одно — усиливать работу среди пленных внутри лагеря.

В лагерь провели воду, восстановили водопровод. Ликвидировали и водовозов. Теперь можно было умыться. По инициативе русских врачей в первом корпусе оборудовали маленькую дезкамеру и душевую установку. Оборудование для них валялось здесь на дворе, но без воды и дров пользоваться таким оборудованием не представлялось возможным. Душевая установка, конечно, всех раненых обслужить не могла, но мы получили возможность ликвидировать вшивость хотя бы среди обслуживающего персонала. А это уже большое дело. Оккупанты, видимо, даже и не знали о нашей душевой установке и дезкамере, так как работа проводилась исключительно русскими врачами.

Существенную помощь оказал нам переводчик Бифель. Если бы врачи попросили разрешения немецких властей на такую установку, вряд ли они бы его получили. Бифель так говорил: «Сделаем и скажем, а зачем сейчас об этом говорить». Но все же фашист Лейпельт узнал про оборудование дезкамеры и душевую установку. Он решил сам осмотреть, что там делается. Однако в комнату не зашел, постоял в дверях, посмотрел, подумал, но даже не произнес своего неизменного «гут» и, ничего не сказав, ушел. А потом военнопленным врачам досталось за инициативу. Разнес он и переводчика Бифеля. В планы немецкого командования не входило улучшать положение пленных. Вот ухудшить — за такую работу они взялись бы с удовольствием и даже поблагодарили бы тех, кто им в этом стал содействовать.

Кое-какие изменения произошли и в Рославле. Как передавали рабочие, выходящие в город на работу, там восстановили кинотеатр. Война войной, а находились люди, которые посещали кино и смотрели немецкие фильмы.

Но советский народ, как всегда, остался советским. Однажды в кинотеатр попала небольшая партия пленных, работающих на станции. В числе рабочих находился и Александр Бутенко. Бутенко пошел по нашему поручению в город, все связь с подпольем искал, и совсем неожиданно очутился в кинотеатре. Придя в лагерь, он рассказал:

— У немцев все наоборот. Сначала демонстрировали картину. Кадр мелькает за кадром. Все кого-то убивали, но он жив оставался и сам бегал за своими «убийцами» и тех тоже хотел убить. А потом показали киножурнал. Что ж! Давай и журнал, будем смотреть журнал, решили мы. Вот на экране показано небо, а вдаль летят самолеты. Без надписи трудно понять, где и что происходит. Наконец, появилась надпись по-русски: «Немецкие самолеты бомбят Ленинград». В зале гробовая тишина. Все замерли. Потом показали следующий кадр. Опять небо и опять летят самолеты. Но самолетов летит уже явно больше. Снова появилась надпись: «Советские самолеты появились над Берлином». Мы не удержались. В зале раздались громкие и дружные аплодисменты. Все зрители забыли, где они находятся. Но фашисты сразу же им это напомнили. Демонстрацию журнала прекратили. Театр оцепили жандармы и полиция. Стали проверять документы, каждому зрителю отвешивали кому кулаком по шее, а кому и в ухо. Не пропустили никого. Попало и женщинам, и детям. Не забывай, где находишься!

— А вам попало? — спросил Крицкий.

— Нет. Нам повезло. Нас задержали в зале. Конвойные боялись, что мы разбежимся, но нас и не сразу вывели из театра. Правда, один жандарм придрался к нашему немцу, а тот сказал, что поведет нас в лагерь. Тем дело и кончилось. Но как хорошо аплодировали! — с восхищением добавил Александр.

— А потом, — продолжал он, — когда мы двинулись к выходу, нам там рассказали, что на днях произошел и такой случай: картину демонстрировали только для гитлеровских офицеров. И вдруг в театре обнаружили листовки антифашистского содержания на немецком языке. Откуда? Пошли разговоры, что в зале находилась партизан в форме немецкого офицера. Я спросил у женщины, которая нам это рассказала. «Что же, значит, партизаны есть в районе?» — «Конечно, есть», — говорит она. Но больше ничего не сказала, как мы ни приставали. Вероятно, боялась, народу много было рядом. Да и мы ей не знакомые.

Когда Александр рассказывал нам такие случаи, у нас не оставалось сомнения: в городе работает подпольная группа. Но как с ней установить связь? А ведь

при ее помощи можно было бы освободить весь лагерь. Только бы нам помогли оружием. Нескольких автоматов да двух-трех гранат весной 1942 года было бы достаточно, и лагерь легко можно бы захватить в свои руки.

Монов, Крицкий, Ешкалов, Тимофеев, Муковкин, Фоменко, Ершов и другие товарищи усиленно искали связи с подпольем, но все наши поиски пока были тщетны.

В один солнечный майский день на работе к Алексею Монову, колхознику из Воскресенского района, Горьковской области, подошла женщина и протянула небольшую газетку. Монов, думая, что газета немецкая, равнодушно протянул руку и взял ее. Потом глянул и обмер. Оказалось, в руках у него газета Смоленского обкома ВКП(б). Кинулся искать женщину, а она уже за угол завернула. А тут охрана кричит, не отпускает. Прямо хоть плачь. Такой замечательный случай оказался упущенным!

Газету Алексея принес мне. В ней была опубликована нота Наркома иностранных дел СССР ко всем государствам мира, где рассказывалось о зверствах фашистских властей в оккупированных областях, и, в частности, о зверствах по отношению к пленным. Трудно сказать, что мы чувствовали, когда читали о зверствах фашистских властей, читали то, что переживали сами каждый день. Одно лишь стало для нас понятным: наше правительство знает о нас и думает о нас. Там, на Большой земле, как обычно мы называли нашу страну по ту сторону фронта, знают и об условиях, в каких живут пленные. Слезы показались у многих из нас на глазах, а некоторые не удержались и плакали открыто, без стеснения.

Небольшой номер подпольной газеты Смоленского обкома большевистской партии стал нам особенно дорог. О нем стало известно в других палатах, в лагере. Везде хотели слышать правдивое большевистское слово. И мы не скупились. Наши люди приходили из лагеря, переписывали отдельные места, а некоторые брали газету и читали ее вслух, когда поблизости не было полицейских. Из этого же номера мы узнали и о большом пожаре партизанской борьбы, который охватил Смоленскую область.

НЕМЕЦ С ПОВОЛЖЬЯ

К весне 1942 года в лагере оставалось не более десяти тысяч человек из 100 тысяч, согнанных в лагерь осенью 1941 года.

Трудно сказать, сколько пленных прошло через лагерь в тяжелую первую зиму. Лагерь был одним из крупных у немцев. Через него пересылали пленных из Смоленска, Брянска, Орла и многих других городов. Ясно только одно: через лагерь прошло несколько сот тысяч наших советских людей. Но не все они были угнаны на Запад. После освобождения Рославля Государственная комиссия установила, что около двухсот тридцати тысяч советских людей, замученных и расстрелянных фашистами, похоронено на рославльской земле.

Наша деятельность осложнялась тем, что мы знали только своих открытых врагов — фашистов, полицейских, но не знали тех, кто по каким-либо причинам скрывал свое вражеское нутро. Не знали мы и всех своих друзей.

Значительная группа людей в лагере держала себя замкнуто.

Вместе с немецким врачом в госпиталь ходил переводчик Вильгельм Теодорович Бифель. Некоторые пленные звали его по-своему — Василием Федоровичем. По происхождению он фольксдойч, из немцев Поволжья. Сравнительно молодой, лет 26—27, с честным открытым лицом и с подкупающим взглядом светлых серых глаз. Бифель никогда никого от себя не отталкивал, а внимательно выслушивал жалобу каждого больного и даже записывал ее, если надо, потом обя-



Вильгельм Теодорович Бифель, расстрелянный фашистами в июне 1942 года.

зательно давал ответ. Жил он в городе, но носил форму воина Советской Армии, тщательно подогнанную по своей фигуре.

Если бы мы знали, что Бифель наш, что он с нами, сколько хороших дел можно было бы сделать! Так часто думали мы, но каждый раз нас останавливало то, что Бифель — немец. А этим уже сказано очень многое, если не все, особенно для того времени, когда фашистская армия имела успех и наступала.

Бифель часто приходил к советским врачам, фельдшерам, разговаривал он и со мной. В беседе подчеркивал, что и он пленный.

Долго мы с друзьями наблюдали за его поведением и решили присмотреться к нему, проверить и установить с ним связь, но слишком поздно взялись за это. В те времена трудно было доверять немцам, хотя мы знали, что среди них были и коммунисты в прошлом, и прогрессивно настроенные люди.

Случалось, что какой-либо гитлеровский солдат в чем-то помогал тому или иному пленному. Но таких немцев было немного. Потом, под пристальным наблюдением фашистов, при той слежке друг за другом, которая была установлена между фашистами, даже «хорошие» немцы, как их называли, ничего не могли изменить в системе обращения с пленными. В то время советские люди вполне резонно не доверяли любому немцу. И они, советские люди, в своем недоверии были правы.

Конечно, помочь Бифель мог бы. В подчинении переводчика находился весь штат госпиталя. Жизни всех врачей, фельдшеров, рабочих, каждого пленного и больного в той или иной мере оказывались в его руках. С переводчиком считался комендант лагеря гестаповец Миллер. Мы знали, что Бифель оказывал кое-какую помощь пленным, до нас это доходило.

От Бифеля зависело назначение старшего врача. Он мог оставить того или иного врача в лагере или отправить его на запад, отпустить на работы среди населения в оккупированные районы. Все знали о влиянии Бифеля, и некоторые даже заискивали перед ним.

Повторяю, мы слишком поздно рассмотрели Бифеля.

В начале июня 1942 года в госпиталь доставили С. Капралова, большого из пленных, но находящегося на службе у немцев. Раз большой из пленных и не не-

мец, то и направили его в госпиталь для пленных. При приеме его еще в комендатуре сделали подробную опись имущества Капралова. Чем он болен — никто не знал. Принесли его во время дежурства А. К. Головинского. А тот рассудил так: раз работаешь на фашистов, значит надо скорее отправить к праотцам — там твое место. Сразу же положили Капралова в палату для сыпнотифозных. В скором времени ему помогли умереть. Казалось бы, все прошло хорошо. Мы были довольны. Никто не проверил, почему он умер, никто им не интересовался, почти все о нем забыли. Кого может интересовать смерть прохвоста?

Однако о нем вспомнил гестаповец Курт Миллер. Вероятно, роясь в бумагах комендатуры, он напал на опись имущества Капралова. В описи значились пара часов, кольцо, сапоги. В госпитале никто о такой описи и не предполагал. Поэтому с вещами немецкого прохвоста поступили так, как делали обычно. Часы взял себе старший врач Солодовников, вторые — начальник кухни Бредихин, кольцо осталось санитару Матveenко, сапоги достались фельдшеру Черноляхову.

Однажды к вечеру, в конце июня, является в корпус госпиталя Миллер и, узнав о смерти своего холуя, проходит прямо в палату.

— Где вещи Семена Капралова? — спрашивает он у фельдшера Черноляхова и подает ему опись.

Тот пробормотал что-то себе под нос. Миллер посылает санитару Матveenко за врачом Солодовниковым. Матveenко вскоре возвращается и докладывает, что не нашел того.

Фашист, ни слова не говоря, сам спускается вниз, в комнату, где жили врачи, и видит: Солодовников и Бредихин крепко спят.

Миллер взбесился. Молча, с каким-то приглушенным рычанием, он схватил табуретку и начал ею бить по чем попало то Солодовникова, то Бредихина. Табуретка рассыпалась. В крови, почти без сознания Бредихин и Солодовников были вытащены фашистом во двор. Здесь минут 25—30 Миллер продолжал избивать их. Собралось много народу, выскочили раненые, больные из палат, пришли люди и из общего лагеря. Все стояли в стороне, не решаясь заступиться за избиваемых. Шум услышали в комендатуре. Оттуда пришел комен-

донт с начальником полиции. Те, не вдаваясь, как всегда, в подробности, стали помогать гестаповцу. Били с остервенением палками. Нам казалось, что Бредихин и Солодовников убиты. Они лежали на земле, залитые кровью, и не подавали признаков жизни.

Солодовников и Бредихин, конечно, виноваты в присвоении себе вещей немецкого сатрапа. Но и вещи они эти взяли себе не потому, что так уж нужны они им были, а потому что, начни они их сдавать, полицейские могли бы заинтересоваться, как и почему умер Кап-ралов.

Бредихин и Солодовников, считаясь один начальником кухни, второй начальником здания госпиталя, присваивали продукты немцев, сами питались за счет присвоенного, пленных поддерживали питанием. Вот почему многие и оправдывали их. Ведь присвоение-то шло не за счет пленных. И Бредихин, и Солодовников обманывали немцев, приписывая лишних людей и оставляя себе продовольствие, выписанное и на умерших. Невозможно их за это обвинить. И мы не хотели их обвинять.

Наблюдать жуткую сцену избиения двух пленных фашистами было страшно. Солодовников, Бредихин, Черноляхов и Матвеев посажены в яму около комендатуры. Комендант послал за переводчиком Бифелем, а когда тот пришел, его тоже арестовали и посадили в комендатуру.

На другой день состоялся немецкий военно-полевой суд над Бифелем. Суд вынес приговор — расстрелять. Через час приговор был приведен в исполнение. Вместе с Бифелем немцы расстреляли Черноляхова и Матвеев. Курту Миллеру показалось, что они виноваты, а этого было вполне достаточно. Солодовникова и Бредихина отправили на запад.

Подробности казни нам передавали «капутчики», которых нарядили зарывать их трупы. Да и из окна госпиталя хорошо можно видеть Вознесенское кладбище, где фашисты чинили свою расправу над беззащитными жертвами. Бифель и Черноляхов держали себя мужественно. Спокойно разделись, сложили обмундирование, смерть приняли с открытым взором. Матвеев-

ко плакал, раздеваться отказывался и был пристрелен в яме.

После казни в госпиталь пришел гестаповец Миллер и объявил приговор военно-полевого суда в отношении Бифеля и приказ коменданта о расстреле Черныхова и Матвеенко.

Бифелю Курт Миллер посвятил речь на целых сорок минут.

— Кого мы расстреляли? Большевика. Мы давно следили за Бифелем. Некоторые думают, что он немец. Да, к сожалению, немец с Поволжья. Он с самого детства был заражен духом большевизма. Скрыл от нас свою принадлежность к комсомолу, а потом к партии. Зачем это ему понадобилось? Он хотел нас обмануть. Но ничего у него не вышло. Немцы его приняли в свою семью, ему надо было по-честному нам служить. А он отказался даже надеть почетную немецкую форму. Ему оказалась дороже советская форма, и он не захотел с ней расстаться.

Нам стало известно, что Бифель был политруком в Красной Армии. Мы и это ему бы простили. Так зачем он все скрывал от нас?.. А потом, как он себя вел здесь, уже когда к нам перешел?.. Тоже нечестно. Он вздумал помогать большевикам. Ведь это он освободил из лагеря Василия Беленького. А ведь Беленький ушел в партизанский отряд.

На суде Бифель выступил тоже против нашего фюрера. Все, что делает фюрер, так и должно быть. А Бифелю это не понравилось. Правильно сделали, что его расстреляли.

Речь фашиста, уснащенная забористым русским матом, оставила тяжелое впечатление. Правда, из того, что говорил Миллер, многое было непонятно. Ясно было лишь одно: Бифель мог нам помогать. Если бы он был немного решительней и уверенней, стал искать себе поддержку, то, конечно, он не оказался бы одиноким. Виноваты и мы, что поздно стали отделять немцев от фашистов.

После казни Бифеля нашлось много людей, которые стали вспоминать поведение его, высказывания и с других позиций оценивать их. А Емельяненко утверждал, что ему Бифель говорил о создании особой демократической Германии, без нацистов. Нам было очень

обидно, что мы потеряли хорошего товарища. И мы радовались, что он умер достойно, даже перед дулом автомата сумел сказать последнее слово. «Капутчики» передавали эти слова. Бифель прокричал перед дулом автомата: «Будь проклят Гитлер. Да и вся его банда ответит перед русским народом». Что-то кричал и Черноляхов. Миллер не дал им больше говорить и приказал стрелять и сам первый скосил их из автомата.

Только потом, длительное время спустя, удалось установить, что Вильгельм Теодорович Бифельд (а не Бифель, как мы произносили) — офицер Советской Армии. Попав в окружение под Минском, он был взят в плен. Но и в плену Бифельд не сразу пошел на работу к немцам. Свой партбилет он спрятал в крыше дома, где случайно ему пришлось ночевать. Зная в совершенстве немецкий язык, он оказывал помощь своим людям, попавшим в тяжелую беду. За это его сразу взяли на подозрение в гестапо.

Мы долго жалели, что не смогли найти общий язык с этим хорошим и честным немцем.

МЫ ВНЕ ЗАКОНА

В лагере были введены новые жесткие правила, фактически ставящие пленных вне закона и отдающие их под полную власть любого немца или полицейского. Что хотел немец или полицейский, то он мог сделать с любым пленным. Всюду вывесили таблички с лаконичными надписями: «Не ломать нары — расстрел», «Не подходить к изгороди на 40 метров — расстрел», «За неотдание чести немцу — расстрел», «За непослушание — расстрел» и т. п. За все — расстрел. Одно было понятно: пленный вне закона, его жизнь ничего не стоит, за смерть его никто не будет отвечать.

Однажды в яркий мартовский день солнце растопило снег, и в лагере образовались лужицы. Пленные мылись, ке брились, я уже говорю о том, что они не могли стирать свое белье. Вода в лагере была недоступной роскошью для заключенных. Вот почему к появившейся лужице в середине лагеря подошли двое пленных и присели на корточки, чтобы

помыть руки. Мы стояли с Поповым около окна госпиталя и смотрели во двор. Вдруг раздался выстрел. Мы не поняли сначала, что произошло. Потом посмотрели на пленных у лужицы и увидели, что один из них упал. Второй вскочил и недоуменно оглянулся по сторонам. Раздался второй выстрел. Тогда пленный понял, что стреляют в него, и бросился бежать. Однако пуля настигла и его, и он тоже был убит. Так ни за что погибли два русских человека. Они не нарушили правил, никого не обидели, ничего не сломали. Просто охранке захотелось развлечься! Случаи, подобные этому, происходили каждый день.

Усилило свою деятельность и гестапо. Фашисты стремились фильтровать пленных, выдергивать из их среды наиболее сознательную часть и уничтожать ее. К этому времени гестапо имело в лагере своих осведомителей. Достаточно было любому пленному выразить неудовольствие немецкими порядками или лагерным режимом, как человек исчезал бесследно.

Но иногда недовольных наказывали на глазах всего лагеря.

Нельзя забыть яркий майский день 1942 года. Мы собрались около дверей второго корпуса и завистливыми глазами смотрели туда, за проволоку, на ярко-зеленые луга и деревья в замечательном весеннем уборе.

Вдруг раздались громкие крики, шум. С характерным треском и лязгом двигалось шtuk пять «огненных колесниц», окруженных толпой. Обоз двигался от комендатуры к внутренним воротам, находившимся около второго корпуса, от которых было ближе к Вознесенскому кладбищу.

Следом за «огненными колесницами» шло человек 25 пленных, обреченных на расстрел. Такие дела происходили не первый раз. Сопровождающий конвой состоял из 15—17 немецких автоматчиков да нескольких полицейских. Руководил экспедицией гестаповец Курт Миллер, который любил упражнять свою руку в расстрелах.

Среди обреченных некоторые шли с гордо поднятой головой, уверенно, твердо шагая из последних сил. Руки у всех закручены телефонной проволокой, да и сами они связаны друг с другом и крепко прикручены к последней повозке. Некоторые что-то выкрикивали,

вероятно посылали последнее «прости» остающимся. Слова их заглушались громким плачем других. Ведь разные люди были и по-разному они переживали. В солнечный майский день особенно тяжело умирать.

Миллер время от времени громко кричал: «Политруков и жидов на расстрел ведем». И из смерти-то честных людей фашистский негодяй делал спектакль. Было больно смотреть на мрачную процессию. Мы как стояли, так и продолжали оставаться на своих местах, не двигаясь с места. Да и каждый, кто только встречался с такой колонной, невольно останавливался на месте и, не двигаясь, низко нагнув голову, смотрел мрачными глазами, в которых светился огонь злобы к фашистским палачам и их приспешникам.

У меня задрожали ноги. К горлу подкатился горячий комок. Чтобы не упасть, я схватил за руку Юнина. Тот крепко стиснул мою ладонь и, подавшись вперед, всматривался в мрачную процессию.

Страшная процессия миновала ворота, вошла на кладбище и остановилась около могильных холмиков. Через несколько минут там стали раздаваться одиночные выстрелы и короткие очереди автоматов: Миллер приступил к выполнению обязанности палача. Мы же долго не могли сойти с места и с тяжелым сердцем вынуждены были смотреть на смерть товарищей, вина которых состояла в том, что они были простые русские люди.

Кого расстреляли фашисты в тот майский солнечный день? О некоторых из них нам удалось узнать кое-какие подробности.

Леонид Богданов был рядовым бойцом. На грех, у него оказались хорошие сапоги, которые он не захотел добровольно отдать полицейскому. Тот обвинил его в принадлежности к славной семье политработников, и Леонид смело принял смерть.

Михаил Шестаков, Василий Петраченко, Сергей Федосеенко и Алексей Цыганков доставлены из Мглинского района, где они жили в примаках и не успели убежать в лес. Когда началась проверка населения, они были доставлены местной полицией в лагерь. В сопроводительном письме указано коротко: пленные коммунисты. Их посадили в яму. Два дня держали там без воды и хлеба, и теперь Миллер отправил их на клад-

бище. О себе они ничего не говорили. Были ли они коммунистами или нет, установить так и не удалось. Но умерли они честно, не преклонив головы перед выродками рода человеческого.

Алексей Бондарцев и Иван Семенов привезены из рабочей команды. Вся вина их заключалась в том, что Алексей поднял советскую листовку, прочитал сам и дал ее прочитать Ивану. Конвойный заметил крамолу и донес гестапо о таком «возмутительном» факте. Когда же рабочие возвратились в лагерь, Миллер обоих их посадил в яму. Несколько дней сидели Алексей и Иван, не получая ни пищи, ни воды, а теперь их вывели вместе со страшным обозом.

У Алексея Минаева были темные волосы и карие глаза, на его несчастье, и нос у него был немного великоват. Офицер-расовед, осматривая выходящих на работу, обратил на него внимание и расстрелял как еврея.

Следует сказать, что у немцев находились на службе специальные врачи-расоведы. В их задачу входило оберегать «чистоту арийской крови». Они вылавливали людей семитского происхождения и уничтожали их. Часто заходили такие врачи и в госпиталь. Их пристально-внимательный взгляд не предвещал ничего хорошего. Подтверждения они не требовали. Сами устанавливали принадлежность того или иного человека к той или иной национальности, и горе тому, кто попался на глаза расоведу.

Так истребляли пленных в лагере, одним из руководителей которого являлся заклятый враг советских людей, изверг и палач Курт Миллер, родом из Франкфурта-на-Майне.

Мне очень хотелось записать все ужасы плена, а потом, если представится возможным, показать нашему потомству на примере Рославльского концлагеря истинное лицо немецкого фашизма. Показать на фактах, какими путями фашисты стремились к уничтожению советских людей.

Мне хотелось завести дневник, куда можно было бы записывать некоторые факты, мысли, имена. Скоро к осуществлению своей мечты я и приступил. Павлов, выезжая за водой в город, достал мне общую тетрадь, а после еще одного рейса снабдил меня чернилами и

ручкой с пером. Не прошло и месяца, как вся тетрадь заполнилась мрачными подробностями. Скоро ребята достали мне и другую тетрадь, она так же быстро была исписана.

Некоторые товарищи знали о моих записях, да я и сам из такого факта не делал особого секрета перед своими друзьями. Я только старался не давать событиям своих оценок, не делать выводов, надеясь, что если даже мои записки и попадут в руки фашистов, то, не увидя слов «большевик», «фашист», они не заинтересуются ими.

В марте 1942 года начальник полиции обнаружил, что один рабочий на кухне ведет какие-то записи. Он отобрал у рабочего эту тетрадь и передал ее Миллеру, в гестапо. Тот прочитал запись рабочего и возмутился. Миллер с Макаровым отправились на кухню. Расправа была короткой.

Выстроили всю кухонную рабочую команду. Сразу же, с дневником в руке, в сопровождении полицейских, Миллер появился перед строем и спросил, потрясая тетрадью:

— Кто писал? Чья это тетрадь?

— Я писал. Моя тетрадь, — отвечает один из рабочих и выходит из строя, ничего не подозревая.

Гестаповец бросается на рабочего, как разъяренный тигр, и кричит:

— Документы против нас собираешь! Я тебе покажу, писатель, — и тут же начинает его избивать плеткой. Рабочий упал. Фашист начинает бить его своим тяжелым кованым сапогом. А потом бросает плетку, вынимает пистолет, приставляет к затылку рабочего и стреляет. Несколько конвульсивных движений, и человек затихает. Строй рабочих не шевелится. Кругом, в отдалении, собралось много народу. А Миллер бежит около строя и плеткой, услужливо поданной ему полицейским, не разбирая, избивает рабочих. Иступленно выкрикивая угрозы по адресу «агентов Коминтерна и большевиков».

Ко мне прибегает взволнованный Павлов. Он ходил на кухню и случайно оказался свидетелем этой дикой расправы.

— Где твои записки? Немедленно сожги их, — не может он успокоиться. — Только жечь.

И когда он рассказал в чем дело, я понял. Мои записки могли явиться серьезным документальным материалом против всей фашистской системы.

Весь фашистский режим, сами лагерные порядки, истребление десятков тысяч людей только за то, что они не хотят признавать фашизма, — все это обвиняло гитлеризм в жесточайшем преступлении против человечества. Ведь если бы люди всего мира знали о порядках в лагере, о зверском уничтожении людей, они никогда не простили бы этого немцам! Оказывается, среди фашистов встречались люди предусмотрительные. Они боялись обличительных документов, не хотели оставлять следов в истории, показывающих гитлеровцев без маски, без прикрас.

Мне было жаль уничтожить свои записки. И я решил их спрятать. Успокоив Павлова, я завернул свои тетрадки в плотный машинный брезент, в погребе первого здания вырыл глубокую яму и с помощью Николая Флигинского зарыл их глубоко в землю, рассчитывая достать их когда-нибудь, если останусь жив.

Зима 1941/42 года для гитлеровской армии была тяжелой. Под Москвой ее разгромили, а на других фронтах немцам так и не удалось перейти в наступление. Рабочие, возвращающиеся со станций, говорили об отправке на запад многочисленных эшелонов с ранеными и обмороженными немецкими солдатами.

На Вяземском направлении немцы понесли большой урон во время рейда по их тылам конного корпуса генерал-лейтенанта Белова. О действиях советской конницы в лагерь проникали замечательные рассказы. Многие лелеяли мечту, что Белов неожиданным ударом может захватить Рославль, а вместе с ним и наш лагерь. Мы понимали нереальность таких предположений, но где-то далеко-далеко в подсознании упорно росла и развивалась такая мысль и у меня, и у моих товарищей.

О! Какое это было бы счастье!

Рассказывали и о героических делах армии генерал-лейтенанта Ефремова, действовавшей также в тылу у фашистов под Вязьмой и наносившей противнику удар за ударом.

В головах наших людей возникали предприимчивые планы, один смелее другого: о массовом побеге, об освобождении лагеря, о захвате немецкой охраны. Но планы оставались только планами. У нас отсутствовала связь с городом, а самое главное, не было оружия. Приходилось ждать.

Фашистская печать старалась успокоить своих людей. Газеты писали о предстоящем лете, во время которого гитлеровцы обязательно перейдут в последнее наступление, и тогда-то уж неминуем разгром Советов и тогда-то падет Москва. В связи с приближением весны в немецких газетах появились неумные карикатуры на советское командование, на Красную Армию. Рисунки из центральных газет перепечатывали многие местные газетенки. Отпечатали их смоленская, рославльская и другие газеты, издаваемые на русском языке и засылаемые в большом количестве в лагерь. Рисунки эти были выполнены неумело, слишком наивно, и карикатуры не вызывали смеха.

Однако и по тону газет, и по поведению немецкой охраны чувствовалось приближение особенно важных событий.

Наша группа усиливала свою работу. Все ту же мысль, что и в плену можно бороться, что работа на немцев есть помощь врагу, помощь фашистам против нашей Родины, мы старались через листовки довести до сознания как можно большего количества людей. Говорить открыто было нельзя. Среди пленных, как уже писалось, имелись тайные осведомители гестапо. Поэтому все свое внимание мы уделяли листовкам, или прокламациям, как мы их тогда называли.

Наши листовки били в цель. Гестаповец Курт Миллер на одном из субботних подсчетов объявил приказ коменданта: «Кто будет читать большевистские листовки — подлежит расстрелу». В речи, комментирующей этот приказ, Миллер метал громы и молнии против большевиков, проникших в лагерь. Обещал вознаграждение хлебом и консервами тем, кто поможет разоблачить этих большевиков или их агентов.

Народ всячески запугивали. Многие боялись подойти к листовкам, заманчиво белеющим на стене. Полиции было вменено в обязанность по нескольку раз

в день обходить лагерь и собирать или срывать такие прокламации.

Тогда мы стали бумагу, на которой писались прокламации, рвать на узкие полоски, из которых легко можно было бы свернуть папироску, писали на ней с обеих сторон и такие бумажки разбрасывали по всему лагерю. Идет человек, видит, лежит бумажка на закруточку, поднимет ее обязательно, так как с бумагой дело обстояло плохо. Бумага для курения нужна почти всем, а часто ее-то и не оказывалось. Подняв маленький листок, пленный видел, что на одной стороне написано: «Кто работает на фашистов — воюет против Красной Армии», а с другой стороны: «Вредительство на немецкой работе есть помощь советскому народу» или: «Чем ты помог своим родным и близким, находясь в плену? Подумай: что можешь сделать против немцев, сделай».

Подняв такой листок, каждый невольно прочтет и задумается. Многие, прежде чем искурить его, передавали товарищам и обменивались друг с другом мыслями, замечаниями. Нам больше ничего и не было нужно. Нам хотелось пока одного, чтобы пленные поняли: они не одиноки, есть и в лагере люди, которые не мирятся с немецкими порядками. Листовки поднимали дух даже самого отчаявшегося человека. Часто в своих прокламациях мы призывали к побегу: «Пленный, беги с работы в лес, там ты будешь полезен!», «Партизан не бойся, они делают большое и нужное дело для нашей страны. Место твое там, в лесу», — писали на других бумажках и тоже внушали людям, потерявшим веру в свои силы, мысль о побеге, о еще возможной для них борьбе.

Несмотря на немецкий террор, пленные все же читали листовки. Не один раз Миллер на подсчетах предупреждал пленных не обращать внимания на крамольные листовки и грозил карой тем, у кого обнаружит такой листок.

Однажды, тоже во время обычного субботнего подсчета, полицейские привели молодого парня лет 26, просидевшего в яме три дня. У него была обнаружена крамольная листовка. Человек испуганно поглядывал на свой конвой. К нему подошел Миллер.

— Вот он, большевик, — заявил Миллер и плеткой

ударил его по лицу. Брызнула кровь. Парень схватился за лицо руками, но кровь опьянила фашистского мерзавца. Удары посыпались со страшной силой. Пленный упал. Тогда Миллер начал пинать его сапогами. Подбежал Макаров и стал помогать ему. А весь лагерь стоял в строю молча, глядя на истязание русского человека.

Избиение продолжалось минут пятнадцать. Пленный лежал, казалось, без сознания. Как видно, Миллер и Макаров устали и отошли.

Немного погодя Миллер закричал:

— Это политрук. Он замаскировался под рядового, а сам распространял большевистские листовки. Недавно он разоблачен, у него найден листок. Так будет со всеми, кто будет верить большевикам.

После таких слов Миллер подошел к истязаемому и начал расстегивать кобуру. Достав пистолет, он несколько раз выстрелил в свою жертву. Услужливые полицейские подхватили труп и оттащили его. Как потом мы установили, убитый никогда не был политруком. Это был Петр Васильевский, рядовой солдат, родом из Смоленской области. Листовку он поднял в лагере, не уничижил ее, а берег, перечитывая несколько раз своим друзьям, думая, вероятно, сблизиться с теми, кто ее писал.

ПОМОЩЬ ВРАЧЕЙ

В фашистской печати стало появляться много различных статей о нашей интеллигенции. Продажные писаки клеветали на советских врачей, инженеров, преподавателей и других работников интеллигентного труда. Фашисты утверждали, что как только советские интеллигенты попадают в плен, так сразу же клеймят советские порядки, отрекаются от своей страны и переходят на службу к немцам.

Нас, советских интеллигентов, находящихся в плену, возмущала такая беззастенчивая и наглая ложь.

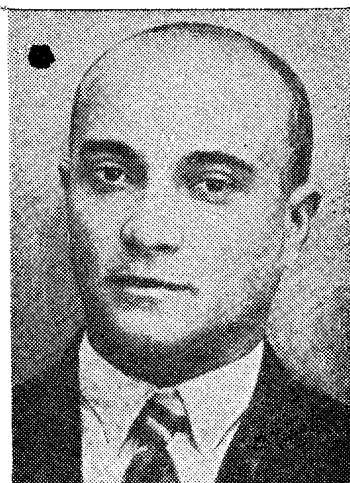
В первые месяцы войны, когда немецкая армия развивала успех, в плен попало значительное количество врачей, преподавателей, инженеров, даже некоторые артисты, писатели. Их поведение в концлагере наглядно

рассеивает ту ложь, которую фашисты нагло изливали потоком на представителей людей культурного фронта страны Советов.

В плену человек мог свободно определить свое отношение к происходящим событиям. В концлагере не было сил, которые налагали бы определенную ответственность на людей и заставляли бы поддерживать неугодные им порядки. Наблюдая в течение длительного времени жизнь и поведение советских интеллигентов в плену, видя действия культурных людей нашей страны, мы приходили к неизменному выводу: советский народ вправе гордиться своей интеллигенцией. Врачи, преподаватели, инженеры и другие представители интеллектуального труда не уронили чести и достоинства страны, вырастившей и воспитавшей их.

Такие врачи, как Попов Виталий Григорьевич — москвич, Бражников Виктор Борисович — ленинградец, Дондо Рахиль Ионовна и Вольвич Варвара Васильевна — сибирячки, Коротков Василий Алексеевич, Григорьев Павел Петрович

и Шабкин Иван Владимирович — уральцы, Кутузов Владимир Иванович — белорус, инженеры Сипягин Владимир Александрович, Бурков Серафим Игнатович, Виноградов Николай Александрович, Волков Алексей Захарович, преподаватели Васильев Николай Петрович, Захаров Сергей Васильевич, Антонов Павел Семенович и многие другие не уронили своего достоинства и показали действительную культуру, выдержку, политическую сознательность и остались верными своей великой Родине.



Доцент 2-й терапевтической клиники 1-го Московского медицинского института Виталий Григорьевич Попов, бывший узник Рославльского лагеря смерти.

Попов Виталий Григорьевич москвич. До войны он работал на кафедре общей терапии в одном из медицинских институтов. В тяжелую для страны минуту добровольно пошел в ополчение и с оружием в руках стойко защищал от врага подступы к Москве.

Это был высокий, атлетического телосложения мужчина лет сорока, с приятным открытым русским лицом.

В условиях плена он также не жалел себя. В госпитале не было лекарств, бинтов. Настроение падало не только у раненых и больных, но и у медицинского персонала. Его энергия, неутомимая вера в человека, заботливое, внимательное отношение к людям делали чудеса. Достаточно было Виталию Григорьевичу пройти по палате, как хмурые, угрюмые лица раненых и больных светлели, и там, где только царил уныние, отчаяние, лились слезы, появлялись улыбки, поднималось настроение, слышались уверенные и твердые восклицания. Даже тогда, когда Попов сам заболел сыпным тифом и лежал в палате рядом с другими несчастными людьми, и тогда он не терял самообладания и делал свое полезное и нужное дело. «Психотерапия» Попова сохранила нашей Родине не один десяток полезных и деятельных людей.

— Я не могу простить себе,— говорил в нашем кругу Виталий Григорьевич,— что я попал в плен к фашистам. Но и в плену я знаю, что надо делать. Мне хочется как можно больше больных и раненых вернуть к активной борьбе против врага, и ради этой цели буду делать все, что в моих силах.

Виталий Григорьевич был врач в полном смысле этого слова. Он врачевал не только тело, но и душу человека. Знать переживания людей, их настроения, мысли, вовремя ободрить, подсказать, направить — дело исключительной важности в тяжелую минуту жизни. Он это умел делать с величайшей душевностью.

— Ну что, Василь, подживает рана? — спрашивал Попов у Фоменко, молодого, прекрасного сложения бойца.

— Поправляюсь, товарищ доктор,— отвечает Василий. — Да не знаю, что буду делать дальше?

— А ты подумай, не торопись. Поговори с товарищами, посмотри, кто здесь есть, что они думают. Может и придумаешь. Ведь не будешь же ты на немца работать.

Так начиналось «прошупывание» Поповым людей, наставление их на правильный и нужный путь. Связав свою судьбу с нашей патриотической группой, Виталий Григорьевич много сделал в подборе людей, в их изучении.

Значительную помощь нашей группе оказал Сорокин Иван Андреевич — врач-хирург, родом с Кубани, 1902 года рождения. Перед войной Иван Андреевич работал в Ростове-на-Дону и зарекомендовал себя знающим, честным хирургом. Высокий, полный, с красивыми чертами лица, он невольно располагал к себе. В наш корпус он попал в начале 1942 года с группой пленных. Лежал он тогда на нарах рядом со мной.

В долгие бессонные ночи и длинные вечера мы с ним довольно откровенно говорили о многих вещах и делах. Я не скрывал перед ним своего враждебного отношения к фашистам и от него получил поддержку. Потом Иван Андреевич заболел тифом. После выздоровления он снова пришел на старое свое место, рядом со мной. Могучий его организм победил.

Такие врачи, как Бекешев, Яковлев, недолюбливали его. Да и он платил им той же монетой. Он сторонился их и не разговаривал с ними.

Дней через пять после выздоровления его вызвал к себе старший врач корпуса. О чем они там разговаривали, я не знаю. Только Сорокин пришел взволнованный и подавленный. Я стал интересоваться:

— Что произошло, Иван Андреевич? —

Сорокин внимательно посмотрел на меня, как бы взвешивая, можно ли говорить откровенно, помолчал, потом, немного погодя, скупом промолвил:

— Так. Ничего особенного.

Вижу, что человеку хочется что-то сказать, да боится. В таких случаях бестактность может оттолкнуть человека. Я не стал настаивать и заговорил о другом.

Дня через три, когда мы снова остались вдвоем, Сорокин взял меня за руку и сказал:

— Знаете, Сергей Александрович, прошлый раз вы быстро ушли. Я хотел с вами посоветоваться. Дело вот какое. Когда я окончил университет, мне отец подарил золотые часы с массивной золотой цепочкой. Уезжая на фронт, я оставил часы дома, а цепочку пристегнул к другим часам. Цепочку тоже берег, даже сохранил ее

в плену. О ней никто не знал. Теперь, после тифа, у меня появился невозможный аппетит. Я попросил одного врача помочь поменять цепочку на хлеб. Ведь многие как-то устраиваются. Тот проговорился Бекешеву, а последний настаивает, чтобы я подарил цепочку фашистскому врачу. Что делать, ума не приложу.

Положение, действительно, критическое. Цепочка в то время стоила никак не менее 60 тысяч. Немцы же страшно жадны на золото. Достаточно было кому-нибудь из них заметить у пленного кольцо, как за ним организовывалась форменная охота. И если кольцо не отдавалось добром, дело кончалось для пленного расстрелом.

— Вы понимаете,— продолжал Сорокин,— что я не хочу делать подарки фашисту. Согласен подарить любому человеку, только не врагу нашей Родины.

— Давайте спрячем вашу цепочку,— предложил я: — Бекешеву скажете, что отдали рабочим, уходящим в город, и уже променяли. Ничего он вам не сделает,— успокаивал я его. Да, это был, пожалуй, самый разумный выход. Спрятать всегда можно. Ведь спрятали же мы парабеллум.

Часа через два Сорокин подходит ко мне и говорит:

— Хорошо, Сергей Александрович, завтра мы спрячем ее.

Но спрятать мы не успели. Минут через двадцать после нашего разговора Сорокина снова вызвали в комнату Бекешева. Там уже сидел Миллер. Как только Сорокин вошел в комнату, Миллер встал и без лишних разговоров начал обыскивать его. Все вынул из карманов, но цепочку не нашел. Потом приказал снять кирзовые сапоги, в голенище сапога разыскал цепочку и спокойно переложил ее в свой карман.

Иван Андреевич пришел ко мне весь красный от гнева и возмущения, рассказал историю обыска, посылая проклятия в адрес фашистов. Дня через два гестаповец Миллер прислал Сорокину две буханки хлеба и банку овощных консервов. Вот вся «стоимость» золотой цепочки в оценке современного колонизатора.

После разжалования Солодовникова Сорокина назначили старшим врачом госпиталя. Вероятно, Миллер вспомнил про цепочку и решил «вознаградить» пленного врача. Сорокин тяготился этим доверием и долго не

знал, как ему себя держать с немцами, с пленными. Однако со мной он по-прежнему откровенно говорил про все и помогал мне, чем мог, а через меня помогал и нашей группе. С помощью Ивана Андреевича мы спасли многих честных советских людей и обреченных на смерть политработников, лежавших в госпитале. Помогал нам Сорокин и в «определении» причин смерти немецких прихвостней. Он не боялся ставить нужный для нас диагноз.

Замечательным хирургом был Головинский Александр Кузьмич. Человек большой души, Александр Кузьмич пользовался исключительным уважением среди раненых и больных, много хорошего и полезного сделал он в плену для русских людей. Он был одним из активных членов нашей группы. Очень многим пленным он облегчил страдания в страшных условиях и направил их на нужный, патриотический путь.

Однажды стало известно, что у изувера Макарова, начальника лагерной полиции, приступ аппендицита, и ему нужно делать операцию. В немецкий госпиталь его, так же как и многих немецких прихвостней, не допустили. Он обратился к пленным врачам с просьбой об операции. Оперировать Макарова назначили Головинского. Александр Кузьмич договорился со мной, что он прооперирует немецкого прихвостня соответствующим образом. Я обратил его внимание на необходимость сделать так, чтобы подозрения не пали на него: не хотелось из-за выродка терять честного человека. Так мы и договорились.

Накануне операции прибегает ко мне взволнованный Александр Кузьмич и заявляет:

— Сергей Александрович! Черт знает, что такое!

Я испугался. Думал, что действительно случилось что-либо особенное, из рук вон выходящее.

— Что же произошло? — спрашиваю.

— Понимаете, сейчас вызывает меня Иван Андреевич и говорит, что оперировать Макарова он будет сам, а мне предлагает только ассистировать.

О том, что Сорокин помогает нам, Головинский не знал.

Успокоив Головинского, я поторопился к Сорокину. Того нашел в госпитале. Я откровенно высказал ему свое мнение.

— Знаете, Иван Андреевич,— сказал я,— жизнью Макарова многие интересуются по-разному. Вы знаете, что представляет собой Макаров. Надо убить Макарова во время операции. Воздух будет чище.

— Хорошо, Сергей Александрович,— отвечает Сорокин.— Я не хотел вмешиваться в операцию. Но мне приказал гестаповец Миллер. Но я для Макарова завтра сделаю все и избавлю лагерь от палача.

Крепко пожав друг другу руки, мы разошлись. Я был спокоен. Встретив Головинского, успокоил его, и мы стали ждать исхода операции.

Операция прошла. Макаров вначале чувствовал себя хорошо, а через два дня у него начался жар и открылся гнойный процесс. Мы уже ждали его смерти. Однако Курт Миллер пришел на помощь палачу. Нужда в таких людях у фашистов оказалась крайняя, и Макарова даже в немецкий госпиталь положили. Через месяц Макаров снова очутился в лагере. Мы боялись за Сорокина и Головинского, но все обошлось хорошо, и их не беспокоили.

Многие врачи в госпитале оказывались не у дел. Тем, кто был закреплен за палатами, и то делать было нечего. Медикаментов нет, бинты стали редкостью. Только на недавно поступивших больных еще нет-нет да встретишь белеющую тряпку. Все болели сыпным тифом, но лечить от этой страшной болезни было невозможно.

Врачи только наблюдали.

Вполне естественно, что многие искали дела. В те страшные дни голодный человек, в холоде, да еще без дела, с тоски, от разных мыслей легко мог пропасть. И многие пропадали. Черные мысли покоя не давали, и человек в отчаянии шел на безрассудный риск.

Некоторые врачи, фельдшера смастерили шахматы, достали карты и за игрой в шахматы или преферанс разгоняли свои тяжелые нехорошие думы. За игрой не думаешь ни о еде, ни о страшной действительности, в какой мы очутились, ни о том, что тебя ждет впереди.

Не забыть мне одного врача из города Харькова, с которым пришлось провести не один день в лагере и судьба которого меня особенно интересовала в те дни.

Роману Петровичу Песковскому было уже за пятьдесят лет. Но это был видный, представительный мужчина, знающий медик, не то кандидат, не то доктор медицин-

ских наук. Меня в то время меньше всего интересовала его ученая степень. Мне важен был человек. А человек он был заслуживающий внимания. Было известно, что немецкий врач Лейпелът и гестаповец Миллер не один раз уговаривали его пойти на службу к немцам. Но Песковскому как-то удавалось от них отделиваться. Как? Сейчас не скажу.

Среднего роста, плотного телосложения, в опрятной солдатской шинели, крепко схваченной поясным ремнем, в кирзовых сапогах и потертой солдатской шапке-ушанке, Роман Петрович часто ходил по палатам. Подойдет к больному, стоит, смотрит и молчит. Если его увидят в палате врачи, то обязательно показывают ему особых, на их взгляд, больных, а Песковский стоит и слушает. Его волосы точно покрыты снегом. Такие же серебряные усики и небольшая бородка клинышком выделяли его из всех врачей. Внешне он невольно располагал к себе.

Роман Петрович из всех шахматистов почему-то выделял меня, хотя в шахматы играли многие и были даже сильнее меня. Он всегда предлагал мне сыграть партию. Расставим шахматы и сидим три-четыре часа молча. Даже «шах» и «мат» Роман Петрович не произносил, а молча показывал пальцем. Если он проигрывает, то тоже молча смахнет все фигуры с доски и, ни слова не говоря, отойдет на свое место или выйдет из комнаты. Когда получали баланду, Роман Петрович не торопился. Он подходил всегда почти последним. Получит свою порцию, сядет и опять задумчиво смотрит в одну точку, не ест, а чего-то ждет.

Мне было ясно, что Песковского что-то тяготит, он думает и никак не придет к нужному решению. Вряд ли он знал мое настоящее положение. Я с ним не был откровенным до конца, но и за учителя он меня не хотел признавать. Об этом он сказал мне однажды открыто. И хотя я старался убедить его, что я учитель по профессии, он усмехнулся и бросил коротко:

— Не знаю, может быть по профессии и так, только в армии вы были не учителем. В этом я убежден.

И все-таки я не выдержал. Как-то, сидя за очередной партией, я прямо спросил Песковского:

— Роман Петрович, что вас тяготит?

Песковский быстро взглянул на меня своими остры-

ми глазами и тут же опустил их на доску. Я чувствовал, он сейчас не о шахматах думает, а взвешивает мои слова. Потом, не поднимая глаз, тихо сказал:

— Думаю и не знаю, как выбраться из этого проклятого заколдованного круга.

— Что это за круг такой у вас? — опять спросил я.

— А вот какой: немцы требуют идти к ним на работу. Не пойдешь — расстреляют. Здесь с голоду сдохнешь. А если попадешь к своим, там за предательство тоже не помилуют. Выхода нет. Вот и думаю: может, пора самому кончать. А? Что вы скажете? — и он поднял на меня свои глаза, в которых светилась холодная решимость. Видно, что он часто думал о самоубийстве и уже твердо решил.

Я испугался. Передо мной сидел человек, который в отчаянии готов на все. Его надо спасать, но как, я не знал.

— Вы не правы, Роман Петрович. Я не согласен, чтобы враг торжествовал, видя мою смерть. Нет, не дождется. Пусть лучше на меня пулю истратит, все врага в расход введу. А сам умирать не согласен. Я тоже много ночей не спал. Меня тоже если разные одолевали. Но потом я твердо решил: еще поборемся, умирать, так в бою... Ни одна война без плена не обходилась. И плен — не позор, а несчастье. Я знаю, как попали в плен врачи. Какой же это врач при отступлении бросит раненых? Не может честный врач побежать от раненых и спасать себя. Неужели наши советские власти будут всех нас, пленных, считать предателями? Нет, вы не правы. Это немцы так пытаются доказать пленным, чтобы сломить их волю и переманить к себе. Я не пойду к фашистам, меня не купишь за краюху хлеба. Работы от меня они не дождутся. Я верю, что потом, когда нас освободят или когда мы убежим из плена, с нами будут разбираться подробно, как следует. Вот вы не верите, что я работал учителем, ладно, дело ваше. Но в плену я знаю, что и как надо делать. Советую и вам быть ближе к людям и помогать несчастным. А если и мы голову опустим, то фашистам будет раздолье. Я сдаваться без борьбы не намерен.

Мою речь Роман Петрович выслушал с вниманием. Потом мы часто, расставив фигуры на доске, не смотрели на них, а разговаривали на самые различные темы.

Но больше всего о том, что видим каждый день, с чем поминутно встречаемся. Во время одной такой «игры» Роман Петрович схватил меня за руку, крепко сжал ее и воскликнул:

— Спасибо, Сергей Александрович, вы сами того не подозреваете, как мне дорого ваше сочувствие. Вы мне вернули жизнь. Я этого никогда не забуду.

Роман Петрович повеселел. Его стали часто видеть беседующим с больными и ранеными в палатах. Стал он выбирать себе и других друзей для откровенных разговоров. Он верно определял, с кем можно говорить, а с кем нельзя.

Забегая вперед, я с удовольствием скажу, что потом, после войны, Песковский был освобожден из плена, работал по своей специальности в одном из наших армейских госпиталей, и работал самозабвенно, себя не жалел.

Значит, не пропали даром наши разговоры за шахматной доской.

За первую зиму в лагере умерло от голода, холода несколько десятков тысяч советских людей. Комендант лагеря, майор Кунц, приказал вывозить трупы только в голом виде, а обмундирование собирать. Очень холодная зима заставила пленных раздевать умерших, надевать на себя по две шинели, окутывать тряпьем голову и ноги. Конечно, все это обмундирование было страшно грязное, завшивленное и заражено многими бактериями. Через такое обмундирование распространялись болезни среди вновь поступающих людей. Дезинфекции ничего не подвергалось.

Однако много шинелей и различного другого обмундирования не использовалось и складывалось про запас. В третьем бараке весь угол отвели для склада такого тряпья. Сюда каждый день приносили шинели, рваные гимнастерки, грязные тряпки. К месту, где лежало тряпье, подходить было нельзя. Там был опасный источник новых инфекций. Еще далеко от склада чувствовался резкий, тошнотворный трупный запах, а под ногами раздавался легкий хруст — это лопались вши, расползающиеся по всему помещению. Около сложенного обмундирования бросался в глаза серый толстый слой движущейся пыли. Слой пыли состоял тоже из вшей.

Держать дальше грязное зараженное обмундирование было опасно для всех, кто жил в лагере. С наступлением весны хранение всей этой гнили могло принести новые несчастья для пленных. Надо было срочно уничтожить все, что набралось за зиму. Но «ученый» комендант Кунц разрешения на уничтожение негодного имущества не давал. Среди пленных врачей шли разговоры, что Кунц думает отправить все гнилье на фабрику утильсырья и переработать на бумагу. Другие предполагали, что все тряпье будет вывезено из лагеря, и им разрыт новый район.

В просьбе пленных врачей об уничтожении гнилого обмундирования комендант решительно отказал, указывая на особые распоряжения «высших инстанций».

В июне 1942 года майор Кунц уехал в отпуск. Врачи В. Г. Попов и А. К. Головинский обратились с просьбой к немецкому врачу об уничтожении собранного гнилья. Воспользовавшись тем, что Лейпельт пришел для обхода госпиталя, они повели его в угол.

— Что делать с гнилым обмундированием? — спросил Головинский. Старик сначала не понял, куда его привели. А потом замахал руками, попытался назад и дальше идти отказался. Что он кричал на своем языке, мы не поняли, но возмущением его решили воспользоваться по-своему.

С утра на второй день в лагере запылали костры. Дым въедался в глаза, трудно даже было дышать. Крицкий и Ешкалов поторапливали людей, стремясь, пока немецкий врач не пришел в себя, очистить лагерь. Два дня горело тряпье. Так была проведена дезинфекция.

Недели через две приехал «ученый» комендант и, не найдя на месте ворохов гнилого тряпья, долго ругался. Оказывается, он успел продать утильсырье одной немецкой фабрике. Сумел даже получить и прожить деньги. Ждал только попутных машин. Долго он разносил начальника полиции Макарова за «самоуправство». Как нам стало известно, у него был крупный разговор и со стариком Лейпельтом. Чем их разговоры кончились, мы не знали. Да нас это и не интересовало.

Этот маленький, казалось бы, эпизод можно бы и не вспоминать, но он интересен в том отношении, что показывает: фашисты не брезговали положительно ничем, если можно было нажиться.

СОВЕТСКИЕ САМОЛЕТЫ НАД ГОРОДОМ

Начиная с апреля 1942 года, главным образом ночью, над городом Рославлем стали часто появляться наши советские самолеты. Тогда с большой силой гремели зенитные орудия, светились со всех сторон прожекторы. Противовоздушная немецкая оборона в городе стояла значительная. Весь город, конечно, просыпался. Поднимался невозможный шум и в нашем лагере.

Концлагерь военнопленных был расположен рядом с железнодорожной станцией. Немецкая пропаганда старалась внушить пленным, что советское правительство всех нас считает изменниками, что летчикам приказано разбомбить в первую очередь именно лагерь. Немецкие газеты взахлеб кричали, что если пленные возвращаются каким-либо образом в Советскую Россию, то их немедленно там расстреливают как изменников или, в лучшем случае, ссылают на каторгу.

Нам понятна была цель фашистов. Они стремились восстановить пленных против Советской страны, настроить их против большевиков и заставить искать поддержку у немцев; - а следовательно, фашисты рассчитывали, что такое обстоятельство заставит пленных работать, а может, даже и воевать против Советского государства.

Наша группа хорошо понимала, что нужно противопоставить всему этому правду, разоблачить немецко-фашистскую пропаганду. Задача эта была не из легких.

Немцы хорошо знали больное место пленных. Все находящиеся в концлагере тяжело и мучительно переживали факт своего пленения. И это не случайно. В истории нашего народа плен всегда рассматривался как позорное явление. Сдаться в плен — значит изменить своему народу, своей стране. Даже люди, взятые в плен тяжелоранеными, и те больно переживали свое положение.

Попав в плен, люди думали: «А как мы теперь посмотрим в глаза своим родным, близким?.. Ведь они воюют, отстаивают свою независимость, а я в плену?..»

Для всех нас один только факт пребывания в плену в то время являлся большим и острым.

На одном из собраний нашей группы мы долго и страстно обсуждали создавшееся положение и решили разъяснить нашим товарищам по плену лживость фашистской пропаганды.

— Важно, — говорил Алексей Волков, — чтобы пленные поверили нам. Если они убедятся в лживости немецкой пропаганды, то они не будут работать в немецких командах и оружие в руки, безусловно, не возьмут. Давайте больше разъяснять, что в истории России побег из плена всегда рассматривался как подвиг. Вспомните «Слово о полку Игореве»!

Во всех прокламациях, да и в беседах один на один мы ободряли угавших духом людей, рассеивали немецкую ложь, призывали пленных к побегу, к вредительству на немецкой работе, если сразу не удастся бежать.

Мы считали своим долгом вселить в сердца пленных уверенность, что Советская Армия примет их в свои ряды для борьбы против врага. Мы говорили в беседах, прокламациях:

— Да, мы виноваты. Виноваты в том, что попали в плен. Но когда нас освободят или, еще лучше, когда мы убежим из плена, то Советская власть обязательно спросит: «Как ты попал в плен и что ты там делал?» Горе будет тому, кто в плен сдался добровольно или работал на врага. Советская власть будет разбираться с каждым пленным в отдельности. Нам бояться нет надобности. Будем бороться с фашистами, не щадя своих сил и жизни!

Вот основное, что подчеркивалось в нашей агитационной деятельности среди пленных.

Надо сказать, что налеты советской авиации на город нам особенно помогли. Фашисты, как уже говорилось, распуская слух, что при налетах советскими бомбами в первую очередь будет уничтожен концлагерь, рассчитывали, вероятно, что со значительной высоты бомба, брошенная на железнодорожную станцию, расположенную почти рядом, обязательно должна попасть и в лагерь, и тогда можно будет подтвердить свою пропаганду. Однако расчеты гитлеровцев не оправдались. Самолеты сбросили на город большое количество бомб. Много бомб падало и на железнодорожную станцию. А к нам в лагерь не попала ни одна. Очень много раз в те времена прилетали самолеты большими отрядами

бомбить военные объекты Рославля, но ни разу советские бомбы не попали к нам в лагерь. В конце концов сами немцы со своими автомашинами стали прятаться от бомбежки... в концлагере, приезжать к нам на ночь.

Возможно, то, что ни одна бомба не попала в концлагерь, было чистой случайностью. Ведь не думал же летчик на громадной высоте: что перед ним, лагерь или пет? Но все же такое положение сделало нашу агитацию более предметной. На этом небольшом примере пленные увидели вздорность распускаемых немцами слухов и радостно приветствовали прилет советских соколов.

В те времена вечер, когда прилетали наши самолеты, был для нас важным событием. Этого прилета мы ждали с нетерпением, готовились к нему, как к какому-то большому празднику.

Мне особенно памятна ночь 21 июля 1942 года. Стояла теплая летняя погода. Рано заработали зенитки. Осколки от разрывов зенитных снарядов осыпали территорию лагеря, но большинство пленных не пряталось от них.

Мы с врачом Виталием Григорьевичем Поповым полезли на чердак. Из слухового окна хорошо был виден весь город. Тринадцать прожекторных лучей лихорадочно шарили по темному небосклону. Уже горели гирлянды авиационных свечей. Весь город был ярко освещен. В непрерывный грохот зенитных разрывов мощным гулом врывались удары авиационных бомб, которые следовали через определенные промежутки. Вот загорелось что-то на вокзале. Пламя быстро распространилось в разные стороны. При отсвете огня было видно, что немцы пытались отстоять хотя бы часть помещений. Но после очередного взрыва они скрылись. Попрытались, вероятно, полезли в земляные щели. Начался пожар в восточной части города, где у немцев тоже были складские помещения. Следом засветилось и в южной части. Теперь город был освещен совсем по-другому.

В такую волнующую и радостную для нас минуту лучи прожектора обнаружили наш самолет.

— Поймали! — Попов крепко схватил меня за руку. Я чувствую, как его рука дрожит. Перехватило дыхание и у меня.

— Ничего, ничего, — шепчу я. — Он сейчас ускользнет.

А сам не могу отвести глаз от самолета. Вот на самолете скрестились лучи нескольких немецких прожекторов. Ярко освещенный самолет казался золотым. Гордый рокот и медленный полет его как бы говорили о силе, мощи и величии страны, по приказу которой он совершает свое героическое дело. С утроенной яростью загрохотали зенитки. Весь лагерь в ту ночь, да что лагерь, весь город и район, вероятно, с затаенным дыханием следили за необычайной дуэлью.

И вдруг тяжелое «ах» прокатилось по лагерю. Самолет загорелся. Какой-то приглушенный рев раздался у ограды, где стояли зенитки. Там команды зенитчиков выражали свой восторг.

Рука Попова, лежавшая на моем плече, застыла. Самолет горящей свечой стал стремительно падать.

Бой кончился. Самолеты, сделав свое дело, улетели. Мы же долго не слезали с чердака, обсуждая наблюдаемый ночной бой. Что с летчиками?.. Живы ли они?.. Вот вопросы, волновавшие нас в ту памятную ночь.

К нашей радости, это был единственный советский самолет, который фашистские зенитчики могли записать в свой актив.

Налеты советской авиации лишний раз подтверждают, что жестокость, предательство — свойство трусливых людей. Во время авиационных налетов честные советские люди смело держали себя, громко радовались каждой удачно сброшенной советской бомбе, даже не береглись. Да и не думалось как-то о том, что советская бомба может попасть в лагерь и убить пленных. Василий Фоменко, Аркадий Ешкалов, Антон Крицкий, Александр Бутенко, Алексей Волков и многие другие не считали нужным залезать в щели или вообще прятаться. Они не думали о себе, радуясь действиям своей родной авиации.

Так вел себя и Сергей Григорьевич Смирнов, фельдшер из Москвы. Он попал к нам в лагерь из ополчения. Страстно ненавидел фашистов и старался даже в условиях неволи бороться с ними. Свои взгляды он не считал нужным маскировать. В лагере у него отросла широкая большая борода лопатой удивительно ярко-рыжего цвета с красноватым оттенком. В шутку, любовно,

иденные называли его «краснобородым», и он охотно отзывался на такое прозвище. Во время налета нашей авиации Смирнов всегда выходил во двор и, запрокинув лысую голову, выставив красную бороду вперед, жадно наблюдал за рассвеченным небом. От осколков он не хоронился. Часто ему говорили:

— Сергей Григорьевич! Прячьтесь. Ведь осколком ранить могут.

— Ничего,— только и отвечал он и не думал прятаться.

Не так вели себя немецкие прихвостни. Начальник полиции Макаров места себе не находил во время налета советских самолетов. Ему, вероятно, казалось, что самолеты прилетели по его душу и бросают бомбы исключительно на его голову. Еще с вечера он забирался в специально вырытый около комендатуры блиндаж. Макаров сам следил, как укладывали наматы на блиндаже, а уложено было около двадцати рядов. Часто еще засветло Макаров уходил в этот блиндаж, забирал с собой одеяло, подушку и нередко оставался там на всю ночь. Врач Д. В. Яковлев тоже не переносил бомбежек. При первых звуках зениток у него открывался понос, а то зубы начинали болеть. Многие полицейские приходили в госпиталь за валерьяновыми каплями, чтобы хоть немного прийти в себя.

А потом, упрям, когда уже не было ни самолетов, ни какой-либо другой непосредственной опасности, Макаров, Яковлев и ему подобные старались своей жесткостью, бесчеловечным отношением к людям отомстить за ночные свои страхи.

Дня через четыре в лагерь привезли летчика со сбитого над городом самолета. Из всего экипажа он уцелел лишь один. Но в каком виде! Лицо, руки, грудь страшно обожжены. Все завязано марлей. Верхняя часть туловища вместе с головой — одна сплошная рана. Волосы на голове обгорели. Глаза остались целы благодаря очкам. Моральное его состояние было тяжелое. Весь лагерь кинулся к нему с различными вопросами. Но говорить он не мог. Приходя в себя, он, казалось, не понимал, где он и что от него хотят. Недели через две он смог уже разговаривать.

Летчик подтвердил: на карте у него, действительно, нанесен наш лагерь. Командование полка не разрешало бомбить его. Мы сейчас же поторопились сообщить о беседе с летчиком всему лагерю через листовку.

С листовкой мы очень поспешили. Несколько дней прожили в тревоге, боясь, что гестапо поймет, откуда эти сведения, и расправится с летчиком. Но все как-то сошло спокойно. Зато лагерь вздохнул свободно: ни одна листовка не имела такого успеха. Листовка убедила пленных, что Родина не отказалась от них. Это позволило нам уже в следующей листовке обратиться к пленным с прямым призывом:

«Товарищи! Фашисты обманывают вас, говоря, что Советское правительство считает пленных изменниками. Вы видите, ни одна бомба с советского самолета не упала на лагерь. Немцам нужно, чтобы пленные стали изменниками и помогали им. Не работайте на фашистов. Работа на фашистов — измена своей стране и своему народу. Помогайте Советской Армии. Бегите из плена, в партизанских отрядах вас ждут, и там вы окажите большую помощь».

Листовка попала и в гестапо. Некоторых пленных арестовали. Но, продержав арестованных несколько дней в яме, их выпустили.

СПАСЕНИЕ ГРИГОРЬЕВА

Как только поступала в лагерь партия новых пленных, гестаповец Курт Миллер начинал выяснять, есть ли в этой партии политработники и евреи. Тех, кого Миллеру угодно было считать политруками и евреями, направляли в особый барак, который охранялся полицейскими особенно тщательно. К ним никого не допускали. Общине, под страхом расстрела, с ними не разрешалось. Через день, много через два всех их направляли на кладбище и там расстреливали. О таких расстрелах обычно знал весь лагерь. Ведь кладбище рядом с лагерем, и нам слышны не только выстрелы, но и голоса, не говоря уже про то, что все на виду.

После каждого такого массового расстрела я обычно неделю болел, места не находил, ночи не спал. Меня

мучило сознание, что я политработник, а еще жив. Мое место там, среди товарищей, которые честно и смело умирали под пулями фашистских извергов. Товарищи меня уговаривали, ободряли, как могли. Сознание, что я еще могу пригодиться, могу принести пользу Родине и буду активно бить фашистских изуверов,— вот такое сознание останавливало меня от желания пойти и заявить о себе. Я не хотел умирать пассивно, без борьбы.

Особенно укреплял меня в этой решимости трагический случай с врачом Михаилом Яковлевичем Каликой. Это был высокий, красивый, лет 35—37 мужчина. Он служил в 320-м пушечном артиллерийском полку Резерва Главного командования, и на фронте этот полк был придан нашей дивизии. До плена я не встречался с Михаилом Яковлевичем и только в лагере познакомился с ним. Все пленные его искренне любили. Неразговорчивый, задумчивый, он, тем не менее, несколькими словами мог ободрить упавшего духом раненого. Никто не знал, что он еврей: ни внешний его вид не говорил об этом, ни фамилия.

Однажды в госпиталь заявился унтер-офицер Миллер. Он построил всех врачей, фельдшеров, санитаров и, как всегда, стал искать среди них евреев и политработников. Эти «поиски» подходили уже к концу, и Миллер собирался уходить, когда Калика вышел из строя и остановился перед фашистом.

— Что вы хотите? — спросил переводчик.

— Я еврей,— ответил Калика.

— Какой ты еврей, ты совсем не похож на жида,— ответил ему Миллер, но сам пристально стал в него вглядываться.

— Я прошу внести меня в список. Я действительно еврей и от своей национальности отказываться не собираюсь,— твердо сказал Калика.

— Тогда мы тебя заберем. Жидам в лагере делать нечего,— грубо засмеялся гестаповец, но чувствовалось, что ему не по себе: ему непонятен был поступок пленного врача.

Врачи стали просить, чтобы его не трогали. Миллер записал Калику в список, но пока разрешил ему остаться в госпитале. В этот же день всех, кого фашисты записали в этот список, собрали около комендатуры.

Даже раненых и больных принесли туда на носилках. Потом всех отправили на кладбище и там расстреляли.

Несколько дней Михаил Яковлевич ходил сумрачный, с опущенными глазами, сторонился людей, ни с кем не разговаривал.

Глубокой ночью, на четвертый день после этого, меня разбудил Виталий Григорьевич Попов.

— Сергей Александрович, вставайте, у нас несчастье: Калика зарезался.

Я вскочил. В комнате движение. Темно. Огня нет. Даже коптилки не было. Только некоторые зажигалками освещали топчан, где лежал Калика. Бритвой он перерезал себе горло. Спасти его не удалось. Смерть нашего товарища подействовала на нас очень тяжело.

Я понимал Михаила Яковлевича. Иногда и у меня бывали минуты отчаяния. И все же я считал, что Калика поступил неправильно. Он мог не одного советского человека поставить в ряды борцов против фашизма. Нет, неправильно он сделал. И я не хотел следовать по его пути.

«Важно оставаться политработником для своих людей,— решил я,— а сказать о своей принадлежности к славной армии политработников врагам — значит отказаться от борьбы, по сути — сдать врагам».

Иногда среди политруков и евреев попадались больные и раненые. Миллер проявлял «человеколюбие». Прежде чем расстрелять такого больного или раненого, он считал необходимым его вылечить. В таких случаях больных и раненых политработников и евреев направляли в наш госпиталь. За ними устанавливался особый контроль. Все они находились на поименном учете как в гестапо, так и у начальника госпитальной полиции. Раненые и больные именного учета сдавались в палату под расписку. Начальник лагерной полиции два раза в день лично проверял, целы ли порученные ему люди. Госпитальная полиция — так та чуть ли не через каждый час приходила справляться о вверенных ей пленных. Персональную ответственность несли за них перед комендатурой и санитары.

И все же мы обманывали бдительность фашистских церберов и вырывали из их рук обреченных.

В этом деле нам помогали И. К. Емельяненко, С. Г. Смирнов — фельдшеры, В. Г. Попов, А. К. Головин-

ский — врачи, В. Юнин и некоторые другие. Мы подменяли политруков, некоторых евреев, а потом даже и партизан трупами ранее умерших. Трупы умерших подкладывали на место обреченных, потом спасенных выпускали в общий лагерь. Затерявшись в общей массе, они имели возможность принести пользу нашей стране.

В сентябре 1941 года нам удалось спасти таким образом работника особого отдела НКВД Шабарова. Вместо него Емельяненко показал охранникам труп умершего пленного, а Шабаров ушел в общий лагерь. Потом он активно участвовал в нашей патриотической группе. С его помощью мы распространяли листовки, организовывали диверсионную работу вне лагеря.

Политруки В. П. Каширин и П. С. Еремин также были подменены врачом А. К. Головинским в течение только одного декабря. Всего же только один Головинский спас таким образом двенадцать человек.

Весной 1943 года в лазарет доставили майора А. А. Григорьева — заместителя командира полка по политической части. Он также состоял на особом учете в комендатуре. Миллер почему-то не отобрал у него ни партбилета, ни орденов. Ежедневно гестаовец Миллер приходил в госпиталь, справлялся о здоровье майора и даже несколько раз разговаривал с ним. Проявлял к нему интерес и фашистский врач Лейпельт. Но однажды этот оказавшийся не в меру болтливым фашист обронил во время своего обхода такую фразу: «Майором Григорьевым интересуется гестапо фронта». Пленных врачей торопили с лечением Григорьева. Ему выписали даже из немецкого госпиталя лекарства.

Нам стало понятно: гестапо хочет получить от Григорьева какие-то важные показания. Как на грех, здоровье Григорьева быстро шло на поправку.

Однажды я зашел к майору Григорьеву, и между нами произошел такой разговор.

— Товарищ майор! Знаете ли вы, что ждет вас в дальнейшем? — спросил я, глядя на него.

— Знаю. Меня ждет жестокий допрос в гестапо, а потом расстрел. Ведь то, что им нужно, я не скажу.

— Что же вы думаете делать? — спросил я.

— Не знаю. Придется умирать, если удастся умереть достойно, — ответил майор.

— Хотите, мы вас заменим? — спрашиваю я.

— То есть, как замените? — недоуменно спросил он. Я рассказал ему, как мы это делаем.

— С вами положение значительно труднее. За вами наблюдает сам Миллер. Сказать, что все пройдет хорошо, не берусь. Однако давайте попытаемся. Вам придется отказаться от партбилета, от орденов. Придется назваться рядовым и постараться принести стране пользу и в плену, если наша затея сойдет хорошо. А потом, если удастся, бежать в партизанский отряд.

Майор Григорьев с радостью принял наше предложение. Долго потом со своими товарищами мы обсудили план спасения Григорьева и после некоторых колебаний приступили к его осуществлению.

Здоровье майора заметно «ухудшилось». Появилась «температура». Скоро у Григорьева обнаружили «сыпной тиф». Немецкие сатрапы, боясь заразиться, не стали близко подходить к Григорьеву. В один прекрасный день Григорьев «умер». Смерть майора Григорьева была засвидетельствована немецким врачом. Начальник полиции пошел для доклада к Миллеру. После крепкой ругани все же было дано разрешение на похороны. Труп мы отправили на «огненную колесницу», а Григорьев перебрался в общий лагерь.

Против всякого ожидания, Миллер не потребовал от госпитальных врачей ни партбилета, ни обмундирования, ни орденов Григорьева. Недели через две Сергей Григорьевич вручил все это Григорьеву.

...Глубокой осенью 1943 года мы снова встретились с Григорьевым. Встреча происходила уже в Быховских лесах Белоруссии, в партизанском отряде. Григорьеву удалось бежать с этапа и найти партизан. С двумя орденами Отечественной войны и орденом Красной Звезды Григорьев заметно выделялся из окружающей среды. Меня он сразу узнал, крепко обнял и назвал своим спасителем. Откровенно говоря, мне даже неудобно стало, ведь в действительности-то спас его Сергей Григорьевич Смирнов. Он рисковал больше всех, и ему принадлежит заслуга спасения.

Сергей Григорьевич Смирнов принял на себя весь риск и в подмене раненого еврея Семена (Соломона) Гершмана. Это дело было особенно трудным. Соломона выдавали характерные черты лица. Долго нельзя было

подобрать труп, сходный хотя бы по внешнему облику с Соломоном. А самое главное — полицейский, которому поручили наблюдать за Семеном, попался особенно вредный. Однако Сергей Григорьевич действовал довольно смело и решительно. Однажды без согласия полицейского и даже в его отсутствие он приказал вынести труп умершего рядом на «колесницу», а Соломона отправил в общий лагерь. Полицейский, придя в палату и не найдя Гершмана на нарах, поднял скандал, пожаловался начальству. Несколько раз таскали Смирнова в гестапо. Но, наверно, глядя на его широкую красную бороду и видя испуганно-вопросительный взгляд чистых светлых глаз, Миллер, подумал, что Смирнов не мог знать об установленных порядках, и «милостиво» простил ему вину, взяв со Смирнова слово, что тот не будет больше самоуправствовать.

Возвращаясь из гестапо, Смирнов по пути встретил скандального полицейского и, ни слова не говоря, подошел к нему, развернулся и дал крепкую затрещину. Завели новое дело. Теперь Смирнова схватили несколько полицейских и потащили его в яму. На счастье Сергея Григорьевича, мимо шел переводчик, который, не разбираясь в сущности дела, приказал отпустить его и привел с собой в госпиталь.

Правда, полицейские долге придирались к Смирнову, но пожаловаться на него Миллеру не решались.

РУССКОЕ МАСЛО

Рабочие команды продолжали ходить на работу в город. Время от времени в такие команды попадали наши люди.

Однажды такую рабочую команду, куда попал Антон Крицкий, поставили накладывать в бочки масло. Антон, как специалист-столяр, заделывал эти бочки.

— Больно жалко масла. Хорошее такое коровье масло упаковываем в бочки пудов по 8—10,— рассказывает вечером нам Антон.— Ведь обидно, если наше русское масло станет есть фриц или его фрау. Нет. Как хотите, а надо что-нибудь придумать.

И мы придумали.

— Вот что. Завтра ты, Монов и Суслов пойдете в эту же команду. Возьмите с собой больше фляг с керосином. И при заделывании поливайте масло керосином,— говорю я.— После керосина вряд ли можно будет его есть.

Керосин нам с недавнего времени стали давать для освещения. Мы очень радовались. Теперь, думали, хоть ночами и вечерами можно будет жечь маленькую коптилочку. А тут решили и керосина не жалеть. Так и договорились. Утром на работу пошло сразу семь наших человек. Пошли и Бутенко, и Фоменко, и Суслов.

— Я им покажу, как русское масло есть,— сказал Василь.

Наши люди взяли с собой фляги, извлеченные из потайных мест и налитые не водой, а керосином.

Я волновался целый день. Ждал вечера. Ведь малейшая неосторожность — и немцы могли расстрелять всю команду. Терять такую большую группу честных людей было очень жалко.

Настал вечер. Возвращаются рабочие. Ребята пришли бодрые и очень довольные. 12 бочек масла, примерно по десять пудов каждая, приведены в полную негодность.

— Мало керосина, — сожалеет Антон. — Я лью, а мне все кажется мало. Полфляги на бочку. Ну, конечно, все равно масло уже есть не будут. Фляги мы по дороге в лагерь выбросили, чтобы не было улики.

— Я накладываю масло, наложил уже больше полбочки, сделал ямку и вылил керосин, — оживленно рассказывает Василий Фоменко, — флягу рядом с бочкой поставил. Вдруг, смотрю, идет немец. Подошел ко мне и смотрит. А керосином воняет — страсть как. Я молча заложил ямку с керосином новым ведром масла. Гитлеровец смотрит на флягу, глаз с нее не спускает. Ну, думаю, пропал. Немец немного постоял, взял двумя пальцами масла из бочки — и в рот. Потом посмотрел на меня и говорит: «Гут». Так и не догадался фашист.

Два дня ходили ребята на упаковку масла. Всего привели в негодность 23 бочки. Мы считали поступок их достойным всяческого подражания. Правда, мы без керосина остались, но зато фашистам существенный вред нанесли. Ведь масло-то с целой области они собирали.

Алексей Монов и Александр Бутенко по специальности трактористы. Бутенко работал шофером в Советской Армии. Здесь, в плену, они пристроились ходить в механическую мастерскую, где ремонтировалось около шестидесяти трофейных тракторов. Сюда тракторы доставлялись из Смоленска, Брянска и некоторых других городов. Немцы торопили рабочих с ремонтом. Бутенко и Монов получили от нашей группы задание: сделать так, чтобы тракторы оказались не пригодными для работы.

Рабочих на ремонте занято бывало до 25—30 человек. Возглавлял ремонтную бригаду пленный инженер И. С. Белов. Долго ходили на ремонт наши товарищи, всего около трех месяцев, и в конце концов своего добились. Отремонтировано было из 60 тракторов только два, для остальных запасных частей «не хватало», да и на одном из отремонтированных сразу же при опробовании расплавились подшипники. Обычно то, что рабочие сделают за день, Монов и Бутенко разрушали вечером перед уходом с работы. Все мелкие части они снимали с тракторов и дорогой разбрасывали по кустам, огородам. Скоро большинство рабочих стало помогать нашим товарищам разрушать, или, как мы тогда говорили, «раскулачивать» тракторы.

Не обошлось без происшествий. Александр Бутенко рассказал нам:

— Однажды незадолго до конца работы я отвинчивал гайки у мотора и клал их в карман. Это заметил Михаил Клишин, ревностно относившийся к работе. Он подошел, схватил меня за карман и спрашивает:

— Ты чего гайки с мотора сорвал?

Разговор наш услышали другие рабочие, они настрожились, но не вмешивались. Я отвел Клишина в сторону и говорю:

Не кричи. Ты что? Хочешь помогать фашистам, чтобы и тракторы против наших воевали? — Он посмотрел, подумал и отошел, ничего мне не сказав в ответ. А когда мы шли домой, он показал мне свечи, снятые им с тракторов, и, улыбаясь, стал разбрасывать их по обочине дороги. Мне стало легче. Я сначала думал, — выдает, а он оказался своим человеком. Глядя на Клишина, и другие рабочие стали разрушать то, что сами же делали за день. На многих тракторах пропадали

магнето, необходимые болтики, гайки и другие части. Значительную в этом деле помощь оказал нам Иван Семенович Белов, москвич, с которым мы с самого начала установили крепкую связь.

— Я сперва настороженно относился к рабочим, не знал, чем они дышат. А когда увидел, как смело они растаскивают мелкие, но очень важные части, без которых машину запустить вообще нельзя, сам стал им помогать, — рассказывал впоследствии Иван Семенович.

В три месяца отремонтировать такой бригадой только один трактор — тоже хорошо с нашей точки зрения. Да и отремонтированный-то трактор Белов собрал так, что через две недели, самое большое, он должен выйти из строя, и на этот раз уже навсегда.

ОШИБКА БУРКОВА

К весне 1942 года в лагере построили для пленных землянки. Строили довольно просто: рыли яму метров до двух глубиной, делали накат из бревен, закрывали его соломой и сверху засыпали землей — удобно и без больших затрат. Окна делались в дверях, сооружали в два этажа нары — вот и жилье готово. В такой землянке помещалось до ста человек. Все же в землянке лучше, чем жить под открытым небом. Землянок в лагере построили много.

Затем стали сортировать людей и прежде всего выделили и поселили отдельно инженерно-технический состав.

Несколько раз мне приходилось заходить к инженерам. Их там жило около шестидесяти человек. Размещались они в довольно просторной землянке. Как и во всех остальных землянках, здесь были двухъярусные нары и совсем не было печей, не было на нарах и соломы.

Вскоре рабочие команды, отправляемые на работу, фашисты стали возглавлять инженерами из пленных. Инженеру давалось теперь задание на всю бригаду и за выполнение этого задания с него строго взыскивалось.

Нашлись «ревностные» инженеры, которые самым настоящим образом мучили рабочих. Истощенные, обесиленные пленные не могли нормально работать, да,

кроме того, ведь работа-то шла на немцев, а в их расчеты не входило укреплять врагов.

Перед нашей группой встал вопрос о необходимости установить тесную связь с пленными инженерами. Виктор Александрович Сипягин, Иван Семенович Белов, Захар Сергеевич Аронов, — инженеры-москвичи. Болели тифом, они лежали у нас в госпитале. Мы знали их как честных советских людей. Через них мы и стали проводить работу среди инженерно-технических работников.

В один из дней инженеры нашли у себя на нарах листовку, где было написано:

«Весь советский народ борется против фашистов. Даже дети помогают Красной Армии. У тебя семья за фронтом. Неужели ты будешь своей работой помогать врагу бороться против Красной Армии? Подумай и определи свое место».

Среди инженеров начались разговоры. Маленькая листовка показала пленным инженерам, что сотни глаз следят за их действиями. Их работа, оказывается, под контролем многих советских людей. Неустанные беседы Белова, Аронова, Сипягина и некоторых других сделали нужное дело. Большинство пленных инженеров правильно определило свое место. С остальными пришлось вести индивидуальную работу.

Жил в землянке один такой инженер В. Горячев. Нельзя сказать, чтобы он любил немцев или хотел им помочь. Нет. Он просто боялся их. Ему достаточно было увидеть фашиста с винтовкой, и он уже трясся от страха. Страх возбуждал у него злобу, а злоба сказывалась на работе. Рабочие любыми средствами старались не попасть в команду Горячева. Зато немцы не один раз благодарили его за «честную» работу.

Несколько раз мы предупреждали Горячева о необходимости изменить отношение к оккупантам. Как только он находил у себя нашу записку, он обещал своим товарищам по землянке перемениться и быть достойным звания советского человека, не помогать немцам. А на работе, запуганный немцами, он про все забывал и снова старательно выслуживался перед ними.

Однажды группа рабочих под руководством Горячева строила блиндаж для немецкой зенитной команды. Укладывали накат из тяжелых бревен. Случайно, нет

ли, одно бревно упало как раз на Горячева. Но была допущена, очевидно, какая-то промашка, и бревном ему лишь переломило ногу. С поломом ноги Горячева доставили к нам в госпиталь. Он плакал, раскаивался и обещал помочь пленным. Но обещание свое ему не суждено было выполнить, так как он заболел сыпным тифом и умер.

Пример с Горячевым отрезвляюще подействовал на тех, кто хотел выслужиться перед фашистами.

В один из майских дней ко мне зашел В. А. Сипягин и попросил поговорить с инженером С. И. Бурковым, которому он много рассказывал о нашей группе.

— Бурков — наш человек. Его опасаться нет оснований. Он нам может помощь оказать, — хвалил его Сипягин.

Условились встретиться у нас в госпитале вечером, часов в восемь, после возвращения рабочих команд в лагерь.

Вечером заходит Сипягин, а с ним высокого роста, худощавый, лет 32 мужчина, бледный, чисто выбритый, одетый в шинель солдатского покроя. Пошли на чердак. Там около слухового окна было отгорожено место, куда складывали разные ненужные вещи. Пожалуй, это был единственный уголок, где можно было говорить, не боясь подслушивания. Во всех остальных местах по душам поговорить было трудно, а уединиться — значит обратить на себя внимание, что тоже опасно. Кроме того, из слухового окна открывался хороший вид в поле, на город. Глядя в окно, чувствуешь себя свободней, ближе к воле. Правда, зимой чердак тоже занимался под жилье, но теперь здесь не было никого.

— Давайте познакомимся... Голубков, — представился я, протягивая ему руку.

— Инженер Бурков, Серафим Игнатьевич, — отвечает товарищ.

Крепко берет мою руку и пристально смотрит на меня темными ясными глазами.

— Скажите, что за группа у вас? Какие у нее цели? — спрашивает он, не выпуская моей руки.

— Ну, что вам на это сказать, — говорю я. — Обычная группа. Таких сейчас много. Мы — советские люди, желающие помочь другим нашим товарищам пленным, помочь своей родной стране. Вот и все.

— Так,— промолвил Бурков и выпустил мою руку. А с кем вы связаны? Есть ли у вас оружие? Кто помогает вам с воли? — засыпает он вопросами.

Я от прямого ответа уклонился.

— Видите ли, вы очень много сразу ставите вопросов, на которые я и не знаю, что сказать. Давайте договоримся: хотите с нами вместе работать — включайтесь!

Разговорились. Пришел Алексей Захарович Волков. Вспомнили боевые дела, фронт, общих знакомых. Долго мы сидели, обсуждая наши условия, боевые сводки и план наших дальнейших действий. У Буркова составился группа человек до 25, да и у нас уже имелось человек 35—40 проверенных товарищей. Оказывается, некоторых наших он уже знал по лагерю. Мы договорились проводить совместные действия и готовить побег из лагеря. У нас да и у Буркова были сведения о наличии других патриотических групп в лагере. О своей связи с некоторыми группами ему не говорили. Но о желании объединить все эти группы с одним общим центром — об этом желании говорили. Тут же наметили, кому и как связаться с некоторыми, еще не известными для нас, другими группами, прощупать их и вовлечь в совместную работу.

Еще в марте 1942 года фашисты усилили внешнюю охрану лагеря за счет полицейских. Многие из них по национальности были из крымских татар. Однако командный состав охранного отряда состоял исключительно из немцев.

Мы установили связь с Александром Базаевым, родом из-под Казани, по национальности тоже татарин. Базаев служил лагерным полицейским. Несколько раз он встречался с Алексеем Волковым, и они откровенно беседовали на самые различные темы. Волков его познакомил со мной. Базаев часто приходил к нам в госпиталь, рассказывал о новостях в общем лагере, о том, что происходит в комендатуре. Нас все это интересовало, но мы его к себе особенно не приближали и не отталкивали, думая в дальнейшем извлечь из него пользу. Наконец я решил, что такая пора теперь настала. Он может нам помочь. И однажды, пригласив его в госпиталь и заведя на тот же чердак, я в упор спросил Базаева:

— С кем же вы решили идти окончательно? С нами или с фашистами?

— Я готов чем угодно помочь Советской власти,— заявил он. — Если можно это доказать,— я готов. Испытайте меня.

И мы поверили Базаеву.

Базаев рассказал нам, что среди полицейских не все потеряли свое человеческое достоинство и что человек 7—8 готовы искупить свою вину перед Родиной. Как показали события, Базаев нас не обманывал. Впоследствии в партизанских рядах он и некоторые из полицейских героически отдали свои жизни за Родину.

Но в настоящее время мы хотели использовать Базаева для связи с охраной лагеря, для выяснения возможности заставить отказаться их от службы фашистам.

Мы дали задание Базаеву разведать настроение среди татар-охранников. Сам Базаев татарин, да еще полицейский, и они ему могут свободно открыться. Разведка Базаева дала благоприятные сведения. Оказывается, среди татар-охранников нашлось немало желающих помочь нам. Ведь очень многие из них пошли к немцам на службу по принуждению. Среди татарских солдат Базаевым было выявлено девять человек, стремившихся вести борьбу с фашистами.

Мы решили в один из подходящих дней захватить отдыхающую команду в караульном помещении, вооружиться, а потом снять наружную охрану. Такой план мы и стали детально разрабатывать с помощью Базаева.

Группа Буркова усиливала нас. Во время третьего или четвертого свидания с ним мы откровенно поговорили о предполагающемся захвате лагеря и обсудили некоторые детали.

— Надежды на установление связи с городом у нас нет,— сказал я. — А вот охрану снять в лагере — такой план вынашивается.

Рассказал я ему обо всем, чем мы располагали.

Бурков выслушал внимательно, но решил действовать самостоятельно. Однако сделал он это слишком неумело, опрометчиво. Поспешность и даже невыдержанность Буркова чуть ли не погубила и его, и всех нас вместе с ним.

В начале апреля в лагерь доставили пленного лейтенанта Николая Рязанова. Уже то, что он захвачен в плен еще в 1941 году, а в лагерь попал почти через год, было подозрительным. Да и жил-то он около комендатуры, в полицейском, а не в офицерском бараке, что тоже вызывало к нему недоверие. Несколько раз он заходил в госпиталь, пытался войти в доверие к некоторым пленным госпиталя, развязно говорил о себе, о своих каких-то и перед кем-то заслугах. Но мы старались держаться от него в стороне.

А Серафим Игнатьевич не утерпел. Он часто встречался с Рязановым в землянке инженеров, куда Рязанов заходил, беседовал с ним и решил попросить у него помощи. Как-то Бурков пришел ко мне и начал доказывать целесообразность привлечения Рязанова к работе по агитации во внешней охране. Мне стало ясно, что Бурков уже многое рассказал Рязанову. Это меня насторожило.

— Так вы что, первому встречному уже упрямились все рассказать? — тревожно спросил я Буркова.

— Нет, — смутился инженер. — Он не первый встречный. Он наш же, русский, пленный. Он поможет нам.

Вот что, товарищ Бурков, — сказал я. — Дело идет не только о нас. Ведь за нами стоят люди. Рисковать своей жизнью мы можем, а рисковать жизнью людей, доверяющих нам, нельзя. Надо действовать более осмотрительно. Рязанову доверять нельзя. Мне кажется, он имеет связь с гестапо. Ну, посудите сами, живет в полицейском бараке, свободно всюду ходит, близок к Миллеру. Нет! Доверять ему у нас нет оснований.

Подошли Волков, Юнин, и мы все вместе здесь же договорились: пока не трогать Рязанова, подождать, не открываться ему.

Однако Бурков нас не послушался и решил, вероятно, действовать на свой страх и риск. Трудно сказать, какое задание он давал Рязанову и что тот обещал ему.

23 апреля ко мне прибежал взволнованный инженер Снягинин.

Бурков, а с ним еще 12 человек его друзей арестованы.

Все у нас заволновались. Быстро мы прибрали газеты, книги, бумагу, все могущее нас скомпрометировать. Ждем. Послали Базаева в комендатуру на разведку.

Тот пришел и рассказал: Рязанов оказался провокатором и выдал Буркова и его группу.

Как выяснилось, таким образом Рязанов выдал не одну группу и не в одном только нашем лагере.

К счастью, Рязанов мало что и знал. Он не знал об инженере Сипягине, о его группе, о нас, ничего не знал о состоянии в лагере вообще. За свою откровенность поплатился лишь один Бурков. Его продержали десять дней в яме у комендатуры, а потом отправили на запад. Все десять дней, пока шло следствие, мы волновались и ходили сами не свои: выдержит ли Бурков?.. Не расскажет ли чего лишнего?

Через Базаева мы снабжали Буркова хлебом, удалось даже послать ему маленькую записочку: «Держись, они ничего не знают». Так оно и было на самом деле. В руках гестапо не было никаких нитей. Рязанов тоже поторопился. Ему и Бурков, оказывается, многого не открыл. Однако Рязанов знал о некоторых связях пленных с татарами-охранниками, о том, что там что-то замышляется, но что именно, толком и сам не знал. Но так или иначе, а Бурков провалился, и наружную охрану немцы заменили.

Попытка организованного побега из лагеря для нас кончилась неудачей. Ошибка товарища сорвала нам хорошо продуманный и подготовленный план.

ЛАГЕРНЫЙ БАЗАР

Есть всем и все время страшно хотелось. Я не знал ни одного дня в лагере, когда бы не думалось о хлебе. А ведь мне часто перепадала двойная «пайка» хлеба. Что же чувствовали люди в общем лагере, особенно в дни больших морозов, когда еще не было землянок?

Но с первых дней плена люди стали приспосабливаться и искать для себя все, что можно съесть. С работы пленные обязательно приносили в лагерь кто хлеб, кто консервы, кто полено дров, а кто и охапку соломы, которая заменяла постель.

Раз команда пленных на станции разгружала только что прибывший эшелон. Запах стоял хлебный. В больших ящиках, переворачиваемых пленными, были, очевидно, галеты. Косицкий взвалил себе на плечо и по-

пес тяжелый ящик. Выходя из вагона, он «оступился», ящик ударился об рельсы и рассыпался. Во все стороны посыпалось печенье. Все бросились набивать карманы. Не удержалась и немецкая охрана. Гитлеровцы вообще не могут устоять перед искушением. Пленные же соревновались в изобретательности: как вскрыть упаковку, как взять побольше печенья, чтобы принести в лагерь своим товарищам.

Около главных барачков в лагере открылся своеобразный базар. Здесь можно было купить все, что угодно. Хлебная порция в 200 граммов — вот мерило стоимости. На деньги хлебная порция стоила 30, а потом доходила и до 100 тогдашних рублей. Но денег-то пленным пегде было взять. Больше всего шел обмен, обычно про деньги и не вспоминали. На базаре «торговали» положительно всем. Хлеб, печенье, консервы, мясо, конфеты, гимнастерки, брюки, шинели, даже часы — все можно найти и купить здесь. Некоторые выносили сюда свою порцию баланды с «петушком» и старались ее променять хотя бы на несколько немецких сигарет или на одну закруточку русского табачку.

Кое-кто ухитрялся принести с работы из города даже водку, а то и бутылку самогонки. Находились «коммерсанты», которые отправлялись в госпиталь торговать чистой водой. За глоток воды из фляги брали по 25—30 рублей. Правда, спекуляция водой в госпитале скоро была замечена, и по настоянию таких врачей, как Попов, Федоров, Головинский, коммерсантов стали строго преследовать за такие дела сами пленные. Да и мы старались завезти в госпиталь побольше воды, чем сразу ликвидировали торговлю ею.

«Базары» пришлось фашистам не по душе. Время от времени комендант с полицейскими организовывали облавы и разгоняли такие базары. Один, два, три, даже десять полицейских еще особой роли на базаре не играли и существенного вреда принести не могли. Полицейские в одиночку — простые продавцы или покупатели и наиболее активные сотрудники местного «казино», то есть заядлые игроки в «очко», другой игры они не признавали.

Когда же появлялось 50—70 полицейских под начальством Макарова или его помощника да еще усиленные 5—7 немцами-автоматчиками, тогда базар начинал

волноваться. В таких случаях торжище оцепляли. Оставляли лишь небольшие «ворота», где становился начальник полиции со своими приспешниками, и начиналась расправа. Пленных с базара выпускали небольшими партиями. Сначала тщательно обыскивали. Все наиболее ценное отбиралось, и это становилось достоянием полицейских и немцев. По распоряжению Макарова некоторым отвешивались здесь же удары плеткой. На такое дело полицейские не скупилась. После облав полицейским попадала богатая добыча. Особенно любили принимать участие в таких облавах «ученый» комендант Кунц, гестаповцы Дидман и Миллер. Они в таком случае львиную долю конфискованного оставляли себе. А отбирали не только часы, водку, но даже обмундирование. Ничем не брезговали немцы.

Особое возмущение пленных при этих облавах вызывали полицейские. Мало того, что полицейские являлись холуями фашистов, они еще были завзятыми мародерами, отбирали последнее у несчастных людей. Враждебное отношение к себе пленных полицейские чувствовали и на ночь в лагере не оставались, а уходили в свой барак, стоящий рядом с комендатурой под охраной конвойной команды, хотя тоже за проволокой. Были случаи, когда пленные, захватив полицейских в бараке, убивали их.

Лагерь хорошо помнит два таких случая. В один барак вошел полицейский Костин и, желая показать там свою власть, закричал на одного пленного, который не встал, когда вошло «начальство». На Костина набросились сразу пять человек пленных и задушили его.

Второго полицейского, Мартынова, отличавшегося садистской жестокостью, убили около барака поленом по голове. Обоих раздели и выбросили на «огненный обоз». Оба случая стали широко известны в лагере, да и в комендатуре знали об этом, но виновных не нашли. Да вряд ли их и искали. Ведь убиты-то не немцы, а предателями фашисты не очень дорожили.

Весной 1942 года, кроме тифа, в лагере появилась дизентерия, началась цинга. Люди стали умирать от новых тяжелых болезней. В течение нескольких дней от

страшного поноса человек полностью терял силы, и не было средств остановить свирепую болезнь, а результат один — смерть. Для больных дизентерией построили отдельный барак из самана. Откуда-то привезли соломы, глины и саманный кирпич изготавливали здесь же, в лагере, свои рабочие.

Попадали туда многие, но оттуда редко кто выходил. Никогда не забыть мне смерти молодого инженера Ивана Никаноровича Карпухина. В марте перенес он сыпной тиф и, немного оправившись, искренне радовался наступившей весне. Он много строил радужных планов о побеге в леса, мечтал о встрече с семьей, а тут новая болезнь сломила его окончательно.

В дизентерийный барак обычно никого посторонних не пускали. Мне же захотелось повидать Ивана Никаноровича. Несколько раз я ходил к нему, ободрял, помогал и питанием. Но, кроме хлеба и баланды, ничего у меня не было. И товарищи с работы тоже ничего не приносили.

Просил я о помощи врача Владимира Ивановича Кутузова, но и Кутузов помочь не смог, хотя и делал все, что в его силах. В госпитале совсем не было нужных медикаментов. Карпухин так и угас на наших глазах.

Страшно протекала и цинга. В лагерных условиях против этой болезни нет средств. Виталий Григорьевич Попов не раз просил немецкого врача привезти в госпиталь сосновых или еловых веток. Их привезли, наконец, но в таком смехотворно небольшом количестве, что помочь удалось очень немногим. И люди умирали сотнями.

В лагерь начали возвращаться «зятьки», то есть те, которые глубокой осенью ушли в примак. Теперь при очередной проверке населения в оккупированных районах, особенно с развитием партизанского движения, гитлеровские власти вновь забирали всех мужчин военно-активных возрастов, независимо от того, служили они в армии или нет, и отправляли всех собранных в лагерь. От таких «зятьков» в лагере мы узнавали о жизни и быте в оккупированных районах.

Не сразу некоторые из примаков разговорились. Только присмотревшись к окружающим и разобравшись

в людях, они нам рассказали о том, что происходило в селах и деревнях.

Так, Михаил Резников, живший в примаках в одном из сел Мглинского района, рассказал нам о «новом» земельном законе.

Новый земельный закон фашистские власти опубликовали в марте 1942 года. Входил он в силу для населения оккупированных областей немедленно. Текст нового закона публиковался во всех газетах, да, кроме того, немцы издали этот закон отдельной брошюрой. В лагере таких книжечек было много, но ими мало кто интересовался. Не до закона было.

— Вся наша земля по этому закону, — рассказывал Резников, — теперь собственность немецкого государства. Право распределять землю принадлежит только немецким властям. Лучшая земля выделялась немецким князьям, графам, баронам, которые занимали высшие должности в фашистской армии и «заслужили» право на русскую землю. В деревне, где я жил, всю колхозную землю отдали немецкому генералу. Он прислал туда взвод солдат, и они заставляли крестьян работать.

— Это что же, крепостное право вводится, что ли? — спросил Александр Бутенков.

— Про крепостное право не объявлено, — отвечает Михаил, — понимай, как хочешь.

— А что же с крестьянами будет, им-то дадут землю или нет? — задает вопрос Петр Суслов, сам крестьянин.

— Крестьяне? — переспрашивает Михаил и после некоторого раздумья продолжает: — Видишь ли, немцы говорят, что русским тут делать нечего. Русские сюда пришли незаконно. Земли много в Сибири. Вот кончится война, и немцы обещают переселить русских в Сибирь.

— Так крестьянам совсем землю давать не будут? — снова спрашивает Суслов.

— Русским крестьянам обещают давать землю, — говорит дальше Резников, — только не всем. Тут долгая история. Если русские крестьяне хотят получить землю, то им надо ее заслужить. Только те, кто во время войны будет помогать немцам, получают десятины две. Да и то, если такая земля останется от немцев. Русские

крестьяне должны обрабатывать землю под наблюдением немецкого уполномоченного, — рассказывал дальше Михаил, — а если уполномоченный сочтет, что обработка идет не по правилам, то землю отберут.

— Неужели колхозники мирятся с таким положением? — спросил Алексей Волков.

— Нет, зачем же, — отвечает Резников. — Если бы крестьяне согласились с таким положением, не было бы политической проверки населения и мы не попали бы сюда. У нас почти все мужчины ушли в партизанский отряд, а остальных переловили и в лагерь отправили. В соседнем селе крестьяне убили старосту и немецкого офицера. Так три дня тому назад фашисты все село сожгли, а кого из жигелей прихватили на месте — расстреляли. Да и с землей-то у немецкого генерала ничего не получилось, — после некоторого молчания сказал Резников. — В районе появились партизанские отряды. Немцам скоро пришлось уходить несолоно хлебавши.

Рассказы «зятьков» всех волновали. Многие сначала недоверчиво относились к их рассказам. Никак не укладывалось в сознании: русская земля, а хозяева, оказывается, немцы. Но когда сличили текст опубликованного нового земельного закона с рассказами пришедших в лагерь, то перестали сомневаться.

Наша группа не осталась в стороне от происходящих событий. Мы выпустили несколько листовок, в которых разъясняли фашистский закон и вновь призывали пленных к борьбе против немцев.

Долгое время в лагерной полиции жил Генрих Самсель. Внешним своим видом он располагал людей к себе. Но пленные сторонились его, так как Самсель носил форму немецкого солдата и считался полицейским.

В скором времени после прибытия в лагерь Генрих заболел сыпным тифом. Против всякого ожидания, его положили не в немецкий госпиталь, а в лагерьный. Сперва многие удивлялись: как же так, немец и вдруг в лагере?.. И только когда Генрих начал поправляться, положение прояснилось. Самсель не немец, а поляк. Родом он из поселка Замбжинец, Венгоровского района под

Варшавой. В немецкую армию Генрих попал по мобилизации, направлен был в вспомогательный отряд, там надели на него форму немецкого солдата и хотели заставить воевать за интересы немцев. Но Самсель надежд немцев не оправдал. Из вспомогательных войск его разжаловали и направили в лагерь полицейским.

Однако и здесь Генрих пришелся не ко двору. Нести полицейскую службу он не захотел, о чем откровенно заявил коменданту. Комендант запросил свое начальство: что делать со строптивым поляком? А пока шла переписка, сыпной тиф свалил Генриха, и он оказался на ногах рядом с нашими друзьями.

Около нар, где лежал Генрих Самсель, всегда толпились пленные. И когда в палате не было полицейских, особенно по вечерам, начинались дружеские, откровенные разговоры. Всем хотелось посмотреть и поговорить с поляком, узнать, что и как там, в Польше, как у них живут люди, как настроены.

— Живем, — неопределенно отвечал Генрих на вопрос Алексея Крицкого. — Земли только маловато. Многим крестьянам приходится по найму работать. Как у вас говорят, батрачить. Приходится и на заработки в город идти. Только и там трудно, безработных много.

— Значит, вы еще при капитализме живете. Ну, а колхозы-то у вас никто организовать не догадался? — спрашивал дальше Алексей. Но видя, что Генрих не понимает русского слова колхоз, поясняет: — Почему бы вам не организовать и не работать сообща, как у нас, в колхозах?

— Где же сообща? — улыбается Самсель. — У бедняков своей земли почти нет. Объединять ему нечего. А богатый хозяин в кооператив не пойдет. Ему не выгодно. Так на него бедняки работают, а в кооперативе самого гнут спину заставят.

— А ты чем занимаешься? — слышался вопрос.

— Я крестьянин, но земли у отца мало, и я работал в разных городах поденщиком. Специальности у меня нет.

— А почему ты к немцам пошел? Против русских стал воевать? — спрашивает Монов, рабочий госпиталя.

— Мне с русскими крестьянами и рабочими делить нечего. Это паны натравливают поляков на рус-

ских. По мне пусть все мирно живут. Я против Советов воевать не хочу. Поэтому и здесь очутился. Пусть фашисты сами воюют. Я славянин, нас фашисты тоже не любят и за людей тоже не признают.

— А что это за мобилизацию Гитлер в Польше проводит? Опять себе помощников собирает. Правда это? — вмешался Алексей Крицкий.

— Правда. Я об этом знаю. Даже присягу принимать заставляют, а кто отказывается, тех в лагерь отправляют. Меня из вспомогательных солдат разжаловали за отказ принять присягу. Многие мои товарищи тоже воевать не будут.

— А зачем форму полицейского носишь? Зачем в полицию пошел? — не утерпел рабочий с кухни Косицкий. Он часто бывал у нас. У Косицкого много друзей было в палатах и среди рабочих, санитаров госпиталя. Мы знали это и считали Косицкого своим.

— Носишь. Тебя заставят, и ты наденешь, — не сдавался Самсель. — Разве я по своей охоте полицейским стал? Сказали: не захотел воевать, все равно будешь нам помогать. Я ношу полицейскую форму, это верно. А скажите, кого из пленных я ударил, кому плохо сделал? Никому.

Генрих рассказывал о своей родине, о том, что фашисты покрыли всю территорию Польши такими же лагерями, как и на оккупированной части Советской страны. В подобные лагеря гитлеровцы отправляли всех честных поляков.

Эти беседы сводили на нет человеконенавистническую фашистскую пропаганду, преследующую цель натравить одну национальность на другую.

В скором времени пришел приказ об окончательном разжаловании Самселя, и его отправили в Польшу — в такой же, как наш, концлагерь, только для поляков.

ВЛАСОВСКИЕ ВЕРБОВЩИКИ

В один из майских дней разнеслась весть: в лагерь пришли изменники Родины — власовцы и вербуют пленных в армию, создаваемую немцами для борьбы против советской страны.

Дня два эти офицеры проводили беседы в общем лагере, агитируя пленных вступать в армию.

В госпиталь мы этих агитаторов не ожидали, но нам срочно следовало определить свое отношение к вербовке пленных в фашистскую армию. И мы решили собрать свою группу. Под вечер наши люди стали пробираться на излюбленный свой чердак. Пришли Волков, Крицкий, Ешкалов, Монов, Попов, Головинский, Юнин, Емельяненко, Сипягин, Виноградов и многие другие. Были представители групп лагеря, кухни. Собралось что-то около двадцати пяти человек.

Всех нас волновал вопрос: как это фашисты решились пренебречь международными правилами в отношении пленных и стали использовать пленных для своей армии как военную силу?

— Товарищи! — сказал Алексей Волков. — Совершенно очевидно, что фашистам приходится туго. Вот они и ищут себе помощников. Нам надо не давать фашистам людей из лагеря. Удержать пленных от вступления в фашистскую армию — вот чему мы должны подчинить все свои дела. Ведь за первой попыткой последуют новые и, надо думать, в большем размере.

Большинство из нас было согласно с мнением Волкова, но были и другие высказывания: некоторые предлагали пойти в армию, создаваемую фашистами, добыть таким путем оружие и потом уже идти к партизанам. Но после обсуждения все согласились с Алексеем и здесь же составили листовку. Обсудили ее на собрании и утвердили текст.

Ночью листовку распространили среди пленных.

На второй день утром офицеры-власовцы пришли в госпиталь. Один — в чине подполковника, второй — майор. Одеты они были в нашу советскую форму с красной окантовкой на брюках и гимнастерках, но без петлиц. На плечах широкие погоны с двумя просветами. В качестве знаков различия на погонах у подполковника по три прямоугольника, у майора по два. Своих отличительных знаков эти прохвосты еще не изобрели. Фуражки тоже были наши, советские. Но вместо красной звезды — кокарда, сделанная из белой жести. На руках немецкие перчатки. Оружия не видно, вероятно, немцы еще не совсем им доверяли. Сопровождал их немецкий офицер в чине старшего лейтенанта,

державший себя высокомерно. Подполковник и майор заметно заискивали перед ним, униженно вытягиваясь, если он обращался к ним с вопросом.

«Делегация» попросила выстроить им весь обслуживающий персонал госпиталя. Людей построили. Майор обратился к людям с речью, в которой ничего нового не сказал, а говорил все старое, избитое, не раз уже повторяемое фашистской печатью. В конце он заявил: «Мы (а кто мы — и не сказал) решили создать новую Россию без коммунистов», — и призывал вступить в их «добровольческие» отряды. Особенно он напирал на то, что у них будет хорошее питание. Куском хлеба думал купить немецкий холуй душу и совесть русского человека! Он так и сказал: «У нас питание хорошее. У нас вы отдохнете и поправитесь». Не забыл сказать он и о предстоящем летнем наступлении немцев по всему фронту, в результате которого Советского государства якобы не будет.

Молча, сосредоточенно слушали пленные речь власовца. Но когда он сказал: «Кто пойдет с нами — выйдете из строя», строй не пошевелился.

Как ни старались немецкие слуги расхваливать фашистские порядки, ничего у них не получилось. На угрозы, запугивания, просьбы люди отвечали молчанием. Тогда «агитаторы» решили уговаривать индивидуально.

— Вы почему не хотите идти к нам в армию? — обратился подполковник к Суслову, одному из рабочих.

— Я еще от раны не оправился, — отвечает Петр Суслов, — вот, смотрите, — делает он попытку поднять рубашку и что-то показать, но рубашки так и не поднял, да и показывать-то было уже нечего. К его счастью, «представители» не настаивали и обратились уже к Монову, молодому парню из Ивановской области.

— Вы комсомолец? — спросил подполковник Монова, санитару госпиталя, пристально глядя на него.

— Я пленный. У меня легкие болят, — ответил Монов.

И так у всех. Ни одного здорового в строю не нашлось. А так как и вправду у каждого что-нибудь болело после суровой зимы и голода, вид у выстроенных действительно был не блестящий, не верить им не было оснований.

Немецкий обер-лейтенант не выдержал. Он стал ругать большевиков. Сказал, что у него есть сведения о большевистской пропаганде среди пленных. «Мы будем выяснять большевиков, комсомольцев и принимать свои меры», — угрожал он.

Потом «представители» стали искать знакомых, земляков. Обошли все палаты госпиталя. Поинтересовались, чем кормят пленных. Время как раз наступило обеденное. Им предложили попробовать лагерной баланды, но от нее они отказались под предлогом «нежелания лишить пленных их порции».

Приезд изменников-власовцев наделал много шума. Из общей многочисленной массы пленных нашлось несколько десятков человек, изъявивших желание пойти на службу в их отряды. Таких людей отделили от общей массы. Их поместили в особую землянку, надели на них новое обмундирование советского образца, без петлиц. Каждый день, недели три подряд, к ним ходил фашистский фельдфебель и обучал их немецкому строю здесь же на лужайке перед госпиталем. Кормили их несколько лучше, но все той же баландой, хотя и без «петушка».

И все эти три недели завербовавшиеся подвергались насмешкам со стороны пленных. Слово «изменник» навсегда укрепилось за такой категорией людей.

Затем всех отобранных отправили. Еще когда взвод изменников жил в лагере, мы не один раз пытались установить с ними связь и распропагандировать их, доказать, что они совершают преступление против народа. Результаты пропаганды сказались. Четверо «заболели», легли в госпиталь, а потом не вернулись в свой взвод, а трое просто ушли, сняв и отдав полученное обмундирование обратно.

Стало ясно, что за первой попыткой завербовать людей последуют другие попытки и в более широком масштабе. Нам было необходимо выполнять свое решение: не допускать людей в немецкие и различные другие фашистские отряды. Мы увеличили выпуск листовок.

В своих листовках мы разъясняли истинный смысл набора и призывали пленных не идти к немцам.

Как оказалось, мы не ошиблись. Вскоре немцы ак-

тивно стали организовывать армию, во главе которой поставили изменника Родины — предателя Власова. Основные силы, на которые рассчитывали фашисты, — это лагерь военнопленных. Здесь они думали отобрать для себя людей, сманивая их куском хлеба и котелком щей. Зачастили такие агитаторы-вербовщики и в наш лагерь.

Теперь представители изменнических отрядов имели свою форму. Они одевались в немецкое обмундирование с немецкими погонами, только красные петлицы указывали на их отличие от немецкой армии.

Один из вербовщиков — власовский полковник Григорьев — продолжительное время жил в комендатуре лагеря с целой группой помощников. Он все агитировал и убеждал пленных следовать за ним. Кто и откуда он — мы не знали. Среди же пленных упорно держался слух, что Григорьев, не полковник, а просто самозванец-аферист. Такая версия была вполне правдоподобной. Ведь большинство пленных никаких документов не имело, каждый мог назвать себя как угодно и кем угодно. Да и русский язык Григорьев знал плохо. Вот почему и было предположение, что это белогвардеец.

Приезд Григорьева в лагерь ознаменовался некоторыми событиями. По его просьбе выстроили весь лагерь, как на ежесубботний подсчет. Построили и обслуживающий персонал госпиталя. Григорьев выступил перед выстроившимися с большой речью. Он начал расхваливать «особый порядок» немцев в Европе, хвалил своего начальника обер-изменника Власова, рассказывал его никому не нужную биографию, потом долго говорил о себе. Говорил нудно и много. Утомленные и истощенные пленные почти не слушали, многие сели здесь же на землю и занялись своим делом. В конце концов Григорьев предложил пленным «подумать о вступлении в армию Власова и завтра сказать свое слово».

Чтобы хоть как-то завоевать доверие пленных, здесь же, на лужайке, Григорьев предложил организовать выступление лагерной «самодеятельности». Из полиции принесли четыре балалайки, гармонь, да у пленных нашлось несколько губных гармошек.

Заиграл «импровизированный» оркестр.

Есть одна очень хорошая черта у нашего народа: как бы ни было тяжело на сердце у русского человека, он никогда не падает духом, не унывает. В среде пленных нашлось немало весельчаков, многие стали тут же подпевать. Однако советские песни петь не разрешалось. В русском же репертуаре нашлось немало песен, известных всем. Тут и «Коробейники», и «Из-за острова», и неизменный «Хаз-Булат удалой...» и многие другие.

Николай Морозов, художник, из нашего корпуса, хорошо играл на губной гармошке. Часто в зимние вечера он исполнял для нас советские песни. Особенно у него хорошо получались «Интернационал» и «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц». В тяжелую минуту лагерной жизни эти песни помогали нам, вселяли уверенность, что мы вырвемся из неволи, еще сумеем принести пользу Родине.

Предложили сыграть Морозову. Николай взял губную гармошку и сыграл «Казака молодого на чужбине». Некоторые тут же стали ему подпевать. Потом раздались звуки авиационного марша «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...» «Агитаторы» не сразу сообразили, что звучит самая настоящая советская песня, призывающая людей к борьбе. Первым опомнился полковник Григорьев. Дали знак прекратить игру. Николай, во избежание неприятностей, поспешил затеряться в толпе.

Ясно, что на предложение Григорьева организовать пляски, охотников после этого не оказалось.

В этот раз Григорьеву удалось завербовать во владовскую армию еще меньше пленных.

Тогда Григорьев приступил к насильственному отбору «добровольцев». Это делалось довольно просто. Пленных выстраивали по баракам, а Григорьев со своей свитой обходил шеренги, выводил оттуда менее истощенных и объявлял, что они «добровольно» зачислены во владовскую армию. Отобранных таким образом «добровольцев» переводили на особый режим под охрану полиции, немного лучше кормили, а потом грузили в вагон и увозили. Первый эксперимент Григорьеву удался. Он «завербовал» около 30 «добровольцев». Но увезти всех «завербованных» ему не пришлось. За те две недели, которые понадобились для подготовки «добровольцев», половина их разбежалась.

Разбегались под всевозможными предлогами. То и дело в госпиталь приводили «заболевших» «добровольцев», приводили их под охраной полиции. Попов, Головинский определяли такие болезни, что и Григорьев вынужден был отказаться от их зачисления. «Добровольцы», положенные в госпиталь, также потом не возвращались во власовские отряды. После обработки, какой они подвергались в госпитале со стороны раненых и больных, многие теряли надолго, если не навсегда, желание выйти из лагеря ценой измены Родине.

Как видно, опыт Григорьева немецким властям все же понравился. Впоследствии отбор «добровольцев» проходил исключительно в принудительном порядке. На «добровольцев» стали охотиться.

Делалось это таким образом. Приезжает в лагерь «вербовщик», выстраивает людей по баракам и выводит из строя принудительным порядком.

Иногда слух о наборе проникал в лагерь за день или два. Тогда об этом пленные оповещались через наши листовки. Госпиталь сразу осаждался пленными. И каких, каких только болезней у людей не находилось! Но, повторяю, и придумывать особенно не приходилось, потому что любой пленный выглядел ужасно. Грязный, оборванный, согнутый, в отрепьях, и ветер-то его качает.

Врачи знали: своим людям помогать надо. Ну и помогали. Даже Яковлев не мог возразить и боялся вмешиваться в действия врачей-патриотов. Госпиталь во время таких отборов всегда бывал перепружен. А из госпиталя фашисты людей брать не решались. Немцы народ слишком осмотрительный. Достаточно было пленному сказать о наличии у него самой незначительной болезни, чтобы фашисты испугались.

Многие, пытаясь уклониться от призыва в «добровольцы», уходили в рабочие команды. Обычно рабочие команды отправлялись из лагеря рано утром, а приходили обратно уже после «призыва», поздно вечером.

Сначала такой способ давал хорошие результаты. Но потом немцы догадались, и однажды вечером около комендатуры поднялся шум. Оказалось, что и там стали «отбирать» добровольцев из пленных, возвращающихся в лагерь с работы.

А разговоры о том, что из фашистских отрядов легче будет убежать, чем из-за лагерной проволоки, возникали с большой силой!

Мы снова собрались на излюбленном своем чердаке, чтобы еще раз хорошенько обсудить создавшееся положение и выработать общую линию. Были выслушаны все доводы и за, и против. Внимательно мы отнеслись и к тем, кто предлагал пойти коллективно к власовцам, получить там оружие, а потом опять коллективно, но уже с оружием в руках, податься в лес. Долго длились здесь горячие споры.

Все мы пришли к определенному выводу: нет, это не выход! Мы рассудили так: фашисты, да и власовцы, не так уж наивны. Они хорошо понимают, что сплочение русских не укрепляет, а ослабляет фашистов. Поэтому власовцы, безусловно, примут свои меры к разъединению хотя бы и маленькой группы, пришедшей к ним, а изолированный человек в армии в большинстве своем превращается в послушное орудие, особенно если в подразделении крепкий офицерский или унтер-офицерский состав. Кроме того, мы предполагали и другое. Мы были убеждены, что не сразу немцы отправят такой отряд на фронт, а, вероятно, предварительно заставят его нести где-нибудь в тылу гарнизонную службу, высвободив, таким образом, для фронта «чистокровных арийцев».

Потом доходили до нас сведения и о том, что подобные отряды посылались в Европу на смену немецким частям. Ехать туда — опять означало помогать фашистам, что тоже не входило в наши расчеты.

Мы принимали во внимание и еще одно очень важное обстоятельство: как недоверчиво относились партизаны к тем, кто состоял во власовских отрядах. Партизаны были правы. Трудно было верить власовцам. Зачем они шли в отряды фашистов?.. Может, они туда шли для побега, а может быть, просто шкуру свою спасти.

Взвесив все, мы пришли к выводу: «Нет! Через власовские отряды в партизанский лес — не дорога для советского человека». Нам она явно не подходила. Вот почему мы решили сами не идти к Власову и убедить других пленных, чтобы и они не шли в фашистские отряды.

Снова мы стали писать прокламации-листовки. В этих прокламациях еще резче говорилось, что идти во власовскую армию, значит помочь фашистам в борьбе с нашей Родиной.

В госпитале Григорьев вел индивидуальный отбор среди врачей и обслуживающего персонала. В комнату, где жил Бекешев, одного за другим вызывали на беседы пленных врачей. Однако никто из вызванных не дал согласия пойти в «добровольцы». Совсем неожиданно на беседу с Григорьевым вызвали и меня. Я несколько растерялся, но идти было необходимо. Я вошел в комнату строго по уставу, но нарочно без головного убора, чтобы не прикладывать руку к козырьку, не приветствовать фашиста.

— Садитесь, господин Голубков,— обратился ко мне Григорьев.

Я сел.

— Курите,— пригласил он меня, протягивая пачку немецких сигарет. На столе лежало несколько таких пачек, две банки консервов, сыр и хлеб, но явно не лагерный.

— Благодарю вас, не курю,— сказал я.

Так называемый полковник внимательно посмотрел на меня, словно хотел прочесть, что у меня в мыслях, и, не сводя своих темных глаз, спросил меня:

— Кто вы?

— Советский солдат. По профессии учитель. В армии по мобилизации,— ответил я.

— Слушайте! Мне совершенно безразлично, кто и что вы,— медленно начал он, но не спуская пристального взгляда с моего лица. — Идите к нам. Жалеть не будете. Мы не спрашиваем и не спросим, что вы делали у большевиков, назовитесь как угодно и кем угодно. Но только идите к нам, расскаиваться не будете.

В комнате сидел Бекешев. Как видно, он что-то до моего прихода рассказал этому «представителю» про меня. Бекешев курил немецкую сигарету и, не отрываясь, тоже смотрел мне в лицо. Я вспыхнул, но вовремя удержался.

— На ваши слова я могу сказать только одно,— начал я медленно, тоже глядя в лицо власовца.

— Я пленный и не собираюсь воевать против свое-

го народа, служить немцам, когда мой народ воюет против них.

Долго уговаривали меня и Бекешев, и Григорьев, но как только они умолкали, я снова повторял:

— Добавить к тому, что мною сказано, нечего.

Оказывается, такие разговоры Григорьев вел не только со мной. Кроме врачей, вызывали Юнина, Волкова и некоторых других. Вызывали тех, кто имел образование и находился в госпитале. Слуги фашистов всячески старались сманить к себе честных советских людей, очутившихся в тяжелом состоянии.

Но и принудительному отбору в армию изменников пленные оказывали стойкое и решительное сопротивление.

ОТБОР НА КАТОРГУ

Однажды стали собирать и строить весь лагерь, как на еженедельный подсчет, хотя день был не суббота. Когда люди уже стояли в строю, из комендатуры вышли комендант Кунц, начальник гестапо Дидман, неизменный Курт Миллер, кроме того, с ними пришли несколько не известных нам гитлеровских офицеров. Полицейские спешно заканчивали приготовления. Из госпиталя вынесли стол и несколько табуреток. Стало ясно — будут говорить речь.

После обычных рапортов от полицейских, комендант, переводчик и несколько из пришедших офицеров влезли на широкий стол, и начались выступления.

«Ученый» комендант обратился к пленным с речью примерно такого содержания:

— Господа! Война скоро закончится. До ее окончания осталось немного времени. Большевики в предстоящую летнюю кампанию ничего не смогут нам противопоставить. Будет взята Москва, и Советская власть падет. Наш фюрер обеспокоен судьбой русских пленных. Содержать их в лагерях, хорошо кормить немецкое командование не сможет. Вы сами видите, что для пленных в лагере жизнь нелегкая. Живя в России, вы не видели и не знаете Европы. Поэтому фюрер разрешил русским пленным ехать в Германию. Это большая честь поехать в Германию. Мы даем вам возможность ехать работать на фабрики и заводы. Помогая немцам,

вы будете содействовать быстрейшему окончанию войны с большевиками. Записывайтесь для работы в Германию. Там вы будете хорошо питаться и сохраните свою жизнь.

В таком духе выступали и другие «представители». Смысл всех уговариваний сводился к одному: поезжайте на работу в Германию — там вас досыта накормят.

Здесь же после речей лагерного начальства пленным стали раздавать массу листовок, брошюр, в которых расхваливалась жизнь рабочих в Германии и содержались призывы ехать на немецкие фабрики, заводы, на шахты, в рудники и помогать воевать против большевиков.

Среди пленных начались всевозможные суды и пересуды. Вопрос о возможной поездке в Германию многих взволновал. Немецкая агитационная литература — листовки, плакаты, брошюры, газеты — утверждала, что тот, кто поедет в Германию, будет здоров, сыт и после войны станет чуть ли не капиталистом, — так много марок он заработает. Все это в какой-то мере действовало на истощенных, голодных людей.

В ближайшие дни, как было объявлено, начнет работать медицинская комиссия, которая и должна отобрать здоровых, крепких и физически выносливых людей.

Больные и старые Германии не были нужны.

Конечно, если бы лагерное начальство к отбору приступило сразу после своих агитационных речей и если бы сразу по баракам немецкие агенты приступили к составлению списков желающих ехать в Германию, у них кое-что, может быть, и получилось бы. Нашлись бы охотники вырваться из этого страшного ада, каким был наш лагерь. Некоторые захотели бы попытаться счастья в другом месте.

Но немцы этого не учли. Их просчет дал возможность и нам оценить происходящие события. А оценив, мы немедленно стали агитировать пленных против поездки в Германию.

Уже к вечеру мы выпустили свою первую листовку. В листовке разъяснили действительный смысл набора. Заголовок мы дали несколько длинноватый, но удачный: «Фюрер милостиво разрешает русским ехать на каторгу в Германию».

Мы говорили о том, что у немцев не хватает сил воевать. К фронту идут эшелоны с новыми солдатами, а с фронта все больше везут раненых, искалеченных. Планы немцев о молниеносной войне сорваны. Война затянулась. У Гитлера не хватает немцев, и он вынужден использовать пленных на работах в тылу, освобождая тем самым людей для фронта. Вот почему сейчас немцы усиленно агитируют за поездку пленных в Германию. Фашисты уготовили пленным самую настоящую каторгу в Германии. Можно не сомневаться, что жизнь и работа на шахтах и в рудниках невыносима и быстро доводит до могилы.

Так мы писали в своих листовках, так говорили пленным.

Приступили к составлению списков для комиссии. Стали призывать пленных записываться для поездки в Германию. Первым изъявил желание поехать в Германию врач Д. И. Яковлев, но его записать отказались. Возраст неподходящий. Оказывается, туда брали людей не старше 40 лет. Яковлев оказался первым и, пожалуй, последним добровольцем. Народ добровольно ехать на германскую землю не захотел. И он был прав. Добровольно ехать на работу к фашистам, значит, помогать им в борьбе против своей страны. Таких охотников, естественно, не находилось. Немалую роль здесь сыграли и наши прокламации. Пленные хорошо поняли истинный смысл «милости» Гитлера.

Тогда немецкое начальство и здесь решило посылать пленных в принудительном порядке. Отбирали людей, главным образом, для работы на шахтах и в рудниках. В специально созданной медицинской комиссии председательствовал гестаповец Дидман и первым его помощником являлся Миллер. Немецких врачей у них не хватало, поэтому в комиссию включили военнопленных врачей из лагерного госпиталя. Большинство врачей, входивших в медицинскую комиссию, были тесно связаны с нами, и мы договорились, что они как можно больше здоровых и крепких людей не будут допускать к поездке.

Трудно пришлось нашим товарищам. Дидман и особенно Миллер недоверчиво относились к диагнозам советских врачей и большей частью не считались с их мнением. Нередко Миллер самостоятельно заносил в

списки для отправки явно больных людей, не обращая внимания на протесты врачей.

Происходил отбор и из рабочих команд. Перед тем как посылать пленных на работу, выходили Дидман и Миллер и иногда весь состав рабочих приказывали отправлять... прямо на вокзал для того, чтобы отвезти их в Германию. «Раз можешь идти на работу, сможешь работать и на шахте», — рассуждали немцы.

Но через некоторое время до нас стали доходить слухи, что пленные в пути выпрыгивают из вагонов, бегут и из самой Германии. От некоторых из тех, кто вторично попал в наш лагерь, мы узнали, что Германия для них — это тот же концентрационный лагерь: пленных там кормят баландой из брюквы и репы, держат за колючей проволокой, подвергают жестоким наказаниям, если обессиленный голодом человек не работает так, как бы хотелось «завоевателям».

СЛЫШИМ ПОБЕДНЫЕ ЗАЛПЫ

Лето 1942 года началось для нас тяжело: в июле стало известно, что немцы прорвали фронт между Курском и Харьковом. Прорыв на узком участке показывал уже явную слабость фашистской армии. Но немцы из всех сил закричали об очередной победе германских войск, о неминуемом теперь разгроме Красной Армии и неизбежном падении Москвы. Этому мы уже не верили, но понимали, что нашей Родине, армии, нам самим предстоит тяжелые испытания. Еще наглее стали вести себя фашистские прихвостни вроде Макарова, Яковлева, Бекешева и им подобных. Опять стали распускаться ими слухи о неспособности Красной Армии к сопротивлению, о выходе немецких войск в предгорья Кавказа и к берегам великой русской реки Волги, в район ее твердыни.

Скоро фашистские газеты завопили о завязавшихся боях в пригороде. Нашлись в лагере люди, которые стали определять сроки окончания войны и открыто обсуждать «новый порядок», который будет теперь введен немцами в России.

В это время положение патриотических элементов в лагере стало особенно тяжелым. Немецкие приспеш-

ники следили за каждым нашим шагом. Полицейские буквально распоясались. Плетка Макарова не знала отдыха.

В госпитале начал работать кружок немецкого языка, созданный отделением гестапо комендатуры и являвшийся самой настоящей антисоветской организацией в лагере. Здесь под видом занятий фашисты разнузданно клеветали на советские порядки и на советских людей. В кружок принимали не всех, а только таких, кто мог быть полезен гитлеровским властям в ближайшем будущем. Начальник гестапо Дидман при помощи Курта Миллера и начальника полиции Макарова лично отбирал пленных в этот кружок. Сначала зачислили сюда человек 10—12 из врачей. Конечно, первыми в списке стояли такие, как Д. И. Яковлев, И. А. Бекешев и начальник полиции Макаров.

На занятиях часто присутствовал сам Дидман — начальник отделения гестапо. Его присутствие ставило кружок в особые условия. Как потом выяснилось из разговоров врачей и фельдшерów, гитлеровские власти возлагали большие надежды на этот кружок. Они думали через него найти себе помощников из числа пленных, готовили, что называется, кадры. Достали откуда-то даже учебники для IX—X классов средней школы.

Руководил этим кружком фашистский офицер. На первом же занятии этот фашист заявил:

— Мы, немцы, народ предусмотрительный. Немецкий язык скоро будет господствующим языком в мире. Чтобы он стал доступен другим народам, сейчас разрабатываются мероприятия по упрощению языка, и скоро его легко будут понимать народы всего мира.

В этих усложнившихся для деятельности нашей группы условиях мы снова дали ряду наших товарищей задание бежать с работы, обязательно добраться до партизанского отряда и оттуда установить связь с нами.

Часть людей сумела бежать, выполнив, таким образом, первую часть задания. Как будет выполнена вторая часть и будет ли выполнена, нам пока ничего не было известно.

И вот в такой тяжелый момент, когда пребывалась особенно напряженная работа советских патриотов, фа-

шисты арестовали, может быть, самого умного и хладнокровного из нас организатора и руководителя — Алексея Захаровича Волкова.

Мы скрывали лейтенантское звание Алексея. Он называл себя рядовым бойцом. Нам казалось, что никто не знает, о том, что Волков офицер. Но, оказывается, за ним следили. Он уже давно состоял на учете в полиции. И стоило только Алексею поговорить крупно с начальником полиции Макаровым, как на второй день его арестовали.

И повод-то для ареста, собственно, был пустяковый. После смерти одного пленного санитары палаты решали, кому отдать его сравнительно еще крепкие ботинки. Но пока санитары это решали, подошел полицейский и попытался взять эти ботинки. Все знали, что они нужны ему как ставка для игры в карты. Среди пленных поднялся шум. Подошел Волков. Узнав, в чем дело, он позвал врача палаты, и тот приказал отдать ботинки раненому, которому обувь была крайне нужна.

Уходя, полицейский пригрозил Волкову:

— Ты еще вспомнишь меня. Подожди...

На другой день Алексея вызвали в полицию, с ним разговаривал Макаров, и после этого он был посажен в карцер около комендатуры.

Все наши попытки выручить Алексея результатов не дали. Волков, разгорячившись на допросе у Миллера, и сам не стал отказываться от своего лейтенантского звания. Этого одного уже было достаточно, чтобы фашисты приняли решение направить Алексея на запад, в офицерский лагерь с еще более жестким режимом.

Через день ко мне прибежал Базаев и торопит:

— Сергей Александрович! Сейчас Волкова в машину сажают.

Я побежал к комендатуре. Алексей уже вышел из карцера и стоял около машины. Он ждал меня. Обнялись, поцеловались... Говорить было трудно... Еще раз пожав мне руку и пожелав здоровья и успехов в борьбе, Алексей сел в машину. Машина тронулась. Мы остались без верного и умного товарища, утрата которого особенно тяжела была в дни наступления гитлеровской армии.

...Я особенно больно переживал выход немцев к Волге: жена и дети мои оставались в маленьком городке Острогжске Воронежской области.

Если раньше я сам не чаял остаться в живых, но был уверен, что семья жива и здорова, то теперь у меня не осталось и этой уверенности.

На ближайшем к нам участке фронта все было без перемен. Здесь происходили бои местного значения. Новых пленных в лагерь не поступало. Фашистская печать неистовствовала. Правильных сведений у нас не было. А тут еще в комендатуре лагеря установили небольшой радиоузел местного значения. Громкоговоритель повесили около кухни и ежедневно в 7 часов вечера по трансляции из Барановичского немецкого радиоузла передавали последние известия. От этих известий руки опускались. Мы старались не ходить к кухне, но голос диктора доносился и до здания госпиталя. Невольно приходилось слушать.

Только Сергей Григорьевич Смирнов, «краснобородый», не вешал головы. В такую тяжелую минуту у него находился неиссякаемый запас шуточек, прибауточек, которыми он ободрял товарищей и старался поднять дух.

— Что, немцы на Волге?.. Враки. Ей-богу, враки. А если и на Волге, то скоро побегут. Ей-богу, побегут. Так наивно старался он нас ободрить.

Насколько лжива немецкая печать, мы знали. Но тут и мы понимали: совершилось что-то важное, чему не верить было трудно. Если немцы не на Волге, то где-то недалеко от Волги.

Что делать? Как и чем убедить наших людей в лживости немцев? Такие мысли не выходили у нас из головы. Наши листовки этого периода не оказывали на пленных большого влияния. Да, откровенно говоря, мы и не знали, о чем в них писать, у нас не было настоящих, правдивых известий о положении на фронтах.

Как и всегда, помощь пришла от наших же советских людей.

В лагере был молодой парень Борис Нырков, лет 20, комсомолец. В армию он пошел добровольцем. В плен взят с тяжелым ранением еще в 1941 году. Раны затянулись, и, чтобы не умереть с голоду, Борис устроился уборщиком в комендатуру лагеря. Свою ра-

боту Нырков выполнял один раз в день и в виде платы получал от коменданта лишний котелок похлебки и кусок хлеба, что было для него значительным подспорьем. Жил он, как и все пленные, в общем лагере.

Убирать помещение Нырков приходил рано утром, когда никого еще в комендатуре не было. В одной из комнат стоял радиоприемник немецкого офицера. Борис, учась до войны в школе, увлекался физикой и особенно радиотехникой. Увидев однажды, как офицер настраивает свой аппарат и ловит станции, Борис быстро сообразил, что нужно ему делать. Однажды, придя рано утром на уборку, Нырков настроил приемник, и ему удалось поймать нашу станцию и прослушать сводку Совинформбюро. О своей радости Борис рассказал Александру Бутенко, с которым дружил. И с тех пор мы имели некоторую информацию о положении дел на фронтах.

Мы понимали, что на Волге решается очень многое и, в частности, решается и наша судьба.

Теперь около кухни, где висел немецкий репродуктор, стали появляться сводки Совинформбюро, в которых опровергалось бахвальство фашистских передач и сообщений.

В середине августа фашисты начали распространять в лагере листовки, сообщающие о взятии волжской твердыни, о громадных трофеях, якобы захваченных там немцами. Мы ответили на это короткой прокламацией:

«...В героическом городе идут бои. Можно ли после этого верить немецким сообщениям?.. Решайте сами».

Подавляющее большинство пленных решало правильно. Это поднимало настроение нашей группы, и мы еще более усиливали разъяснительную работу.

Канун великого дня 7 ноября 1942 года мы ознаменовали беседой из русской истории, интерес к которой среди пленных был необычайный.

Вечером в комнате фельдшеров, где присутствовало много рабочих, врачей, я рассказал товарищам историю Ледового побоища, о битве при Грюнвальде. Коллективно мы вспомнили все случаи, когда немцы и

другие захватчики стремились завоевать просторы России, поработить наш русский народ и как такие попытки иноземных поработителей оказывались битьями.

Много говорили мы и о создавшемся положении на фронтах. Трудно было делать прогноз, но и на сей раз мы сошлись на убеждении: русский народ покорить нельзя. Так весь вечер и прошел в своеобразных воспоминаниях. От далекой истории мы перешли к событиям недавних дней. Вспоминались Октябрьские праздники, парады, торжественные собрания в нашей стране в мирное время. Стали говорить о сегодняшнем дне. Всем хотелось знать, что будут говорить на торжественном заседании в Москве. Никто не сомневался, что заседание будет, и там много скажут такого, что предопределил положение на фронтах.

Борис Нырков стал душой этих бесед. Без его сведений мы не знали бы, что нам делать. Если он задерживался, мы уже волновались, делали нелепые предположения, боялись за его судьбу.

Дня через два после ноябрьского праздника он рассказал нам некоторые подробности из передач. Как на грех, прослушать сводку ему долго не удавалось. Но однажды, случайно, из отрывка одной передачи он понял, что в приказе Наркома Оборона СССР по случаю 7 ноября на параде наших войск в Москве было сказано: «Будет и на нашей улице праздник». Эти слова вдохнули в нас новые силы, вселили уверенность, что победа будет за нами. Нам стало понятно и то, что решающие события еще впереди.

Мы предполагали, что наши войска еще до февраля перейдут в наступление, и это наступление будет решающим. Сроки такие мы определили потому, что если бы наступление предполагалось в срок с февраля по май, то выражение «будет и на нашей улице праздник» могло быть употреблено в приказе по случаю Дня Советской Армии. Если же наступление предполагалось после мая, то оставался майский приказ. Совершенно правильно предположить, что если выражение «будет и на нашей улице праздник» появилось в ноябрьском приказе, то есть все основания ждать этого праздника до февральских дней.

День 24 ноября 1942 года явился радостным для

нас. В тот день мы узнали о переходе советских войск в решительное наступление на Волге, которое началось еще 19 ноября.

Немецкие сообщения все эти дни были обычными. Они в своих сводках говорили о больших контратаках советских войск и всегда указывали: «Контратаки отбиты, и Советы понесли большие потери». К таким сообщениям мы уже привыкли и перестали на них обращать внимание.

Вечером 24 ноября Борис пришел к нам часов в десять необыкновенно взволнованный. Вызвал меня из комнаты и в порыве чувства обнял и закричал: «Пони-маешь, дерешли! Перешли!» Я не понял: «Кто, где перешел?» — спрашиваю.

— Наши! Красная Армия перешла в наступление по всему фронту на Волге,— поясняет Нырков.

Радостная весть сразу же распространилась по всему госпиталю, а наутро ее знали все пленные во всем лагере.

Ежедневные сводки Совинформбюро теперь ожидались с промадным нетерпением. Они вселяли надежду во всех нас. Сводки Совинформбюро явились как бы бальзамом от всех болезней сразу. На глазах всех, прослушав очередную сводку, оживали даже тяжелораненные и больные. Настроение самых угрюмых повышалось.

С тех пор мы стали внимательно следить и за сообщениями фашистского командования. Но они в своих сводках хранили упорное молчание об отступлении. Наконец, в одной из сводок фашисты сообщили о «сокращении» фронта. И сразу же, как по команде, вся немецкая печать заговорила о величайших кровопролитных битвах на Волге, как бы оправдывая этим свое бегство. А то, что немцы побежали, в этом у нас никто уже не сомневался.

Эти события заставили немцев провести тотальную мобилизацию. Они освобождали своих людей от разных второстепенных работ и стали направлять их на фронт. Отправился на фронт и немец с радиоприемником из комендатуры. Снова остались мы без необходимой и такой нужной нам информации. Но теперь нас такое положение пугало меньше. Мы научи-

лись понимать сводки немецкого командования и на основании их вести свою пропагандистскую работу. Немцы сообщали об упорных боях, в результате которых они «разгромили» столько-то советских дивизий и... «сокращали» или «выправляли» свой фронт. Нам этого оказывалось вполне достаточно: мы уже знали, что такое «сокращение» или «выправление» фронта. Было понятно без всякого пояснения.

Настроение у нас несколько поднялось. Зато немцы ходили сердитыми, угрюмыми, изощрялись в издевательствах над пленными, словно бы мстили нам за поражение на Волге.

Прекратились занятия по изучению немецкого языка. Вероятно, офицер, руководитель кружка, вместе со многими другими немцами тоже был отослан на фронт. Однако в лагере некоторые врачи продолжали ходить еще с учебниками немецкого языка, чем вызывали к себе ироническое отношение со стороны раненых и больных.

Собственно, раненых в госпитале уже не было, хотя у многих костные раны продолжали гноиться, не закрывались из-за отсутствия надлежащего питания. В госпитале находились, главным образом, больные. Болезни же в своем большинстве были вызваны протым истощением.

Обмундирование почти полностью износилось. У многих не было даже белья. Кожаная обувь обычно отбиралась немцами. Взамен ботинок давали деревянные башмаки — «сабо». На голое тело сразу же надевалась грязная шинель, подвязывавшаяся веревочкой, на которой сбоку висела консервная банка для баланды. Брюки, гимнастерка, белье или износились или были выменены на лагерном «базаре» на хлеб. Многие не жалели вещей, они рассуждали по-своему правильно: ведь летом в госпитале можно и без одежды лежать, а до осени доживут ли они?

В госпитале по-прежнему не было ни матрацев, ни одеял, не было даже соломы на нарах. Положение больных пленных резко ухудшилось. Раньше все же раненый одет был более или менее сносно, ему не так жестко было лежать на голых нарах. Теперь же и шинелька у него вытерлась, да и под шинелью ничего не было.

Единственным «прогрессом» можно считать введение парикмахеров в каждой палате. Хотя введение парикмахеров — не заслуга немцев. Сами врачи выделяли из выздоравливающих людей, умеющих стричь и брить, вручали им плохонькую машинку, ножницы, двести полузастуренные бритвы, и парикмахер приступал к работе. Кроме того, в лагере появилась вода. Вот и все «улучшения». Даже дезкамерой не всем и не часто представлялась возможность пользоваться. Дров в лагере не хватало. Дезкамера применялась в госпитале вместо ванны, купать больных негде, да и нечем, так хоть одежду раз в месяц жарили и вшей убивали. И то казалось уж хорошо. А общему лагерю дезкамера была вообще недоступна.

А тут еще «петушок» все больше и больше давал себя знать. Многие больные от костной муки заболели еще острее и тяжелее. Костная мука многих свела в могилу.

Еще осенью первого года войны в госпиталь попал к нам один из пленных — Морозов. Морозов хороший художник. Особенно удачно у него получались портреты. Он «открыл» в госпитале целую мастерскую. Наши ребята принесли ему с работы красок, кистей. И всегда он был занят, рисовал портреты, а ребята выносили их в город и меняли на хлеб. Даже немцы стали давать ему свои заказы. Два-три сеанса, и портрет был готов. А получалось у него, действительно, хорошо. Замечательны были у него карандашные рисунки, еще лучше — акварельные, но совсем по-настоящему он писал маслом.

Николай до войны сидел в тюрьме. Когда началась война, он попросился добровольцем на фронт, был зачислен в конную армию Городовикова и, раненный под Рославлем, взят немцами в плен. Несмотря на наказание от Советской власти, как он говорил за «глупость», все же Морозов остался патриотом нашей страны. К гитлеровцам на работу не пошел. Даже, когда ему комендант предлагал уйти в город и открыть там свою живописную мастерскую, он решительно отказался. Здесь сказывалось влияние нашей группы. Он близко сошелся со мной, с Алексеем Волковым и помогал

нам, как мог. Потом мы обсудили предложение, сделанное ему комендантом, и пришли к выводу: на воле Николай сможет принести большую пользу. Мы предложили ему уйти в город, обосноваться и потом попытаться помочь нам бежать из лагеря. Николай начал проситься у коменданта об отпуске на жительство в город, но теперь тот заупрямился и не захотел отпускать.

В начале 1943 года, после долгих хлопот, Николай все же смог получить разрешение выйти из лагеря. Открыв свою мастерскую, Николай установил с нами связь, даже прислал мешок картофеля, немного крупы. А потом связь неожиданно оборвалась, что с ним случилось — мы так и не узнали. Были слухи, что его арестовали и посадили в тюрьму. Но установить, правильны ли эти слухи, нам не удалось. Очевидно, он стал жертвой какой-либо провокации.

Летом же 1942 года нам просто подвезло. Мы получили «дополнительное питание». В трубах госпитального здания поселились галки. Суп из молодых галчат казался нам верхом блаженства. Наш пример заразил многих. За галками установилась настоящая охота, и скоро они перестали залетать в лагерь.

Как уже говорилось, к нам за проволоку комендант доставлял много фашистских газет и на немецком, и на русском языках. Немцы считали своим долгом «пропагандировать», «просвещать» пленных. В лагере появилось немало людей, свободно читающих и на немецком языке. Да и многие из нашей группы уже понимали немецкий язык. С помощью словарика из учебника X класса средней школы мы могли даже разобрать небольшую статью газеты. В газетах нас всех интересовало только одно: как на Волге? Немецкие сводки не давали ответа на этот вопрос, но в комментариях и сводках, публикуемых в немецких центральных газетах, часто можно было прочесть значительно больше, чем в обычной сводке. Однако центральные-то газеты к нам и не доходили.

Эти газеты по нашему заданию изредка приносили нам рабочие, возвращающиеся из города.

Кое у кого в лагере появились даже небольшие кар-

ты. Достаточно было иметь маленькую, хотя бы административно-политическую карту из ученического географического атласа, как на ней появлялась линия фронта; некоторые из пленных, выходящих на работу в город, раздобыли даже карманные атласы. Там фронт обозначался уже значительно точнее. И такая карта интересовала многих.

Вокруг ежедневных немецких сводок поднимались споры, нередко переходящие в дискуссии. Многие проявляли стратегический талант в своих предположениях, предсказаниях. И что интересно: пленные редко ошибались в причинах «сокращения» или «выравнивания» фронта.

Сегодняшнее наше предположение часто подтверждалось завтрашней сводкой. Фронт обычно «сокращался» или «выравнивался» именно там, где мы и предполагали.

Что происходило в действительности, никто не знал, но ясно было только одно: немцы бегут. Бегут быстро, безостановочно, и теперь-то уж побегут до своей берлоги. Наша страна, наконец-то, собрала необходимые силы и стала наносить удары по врагу со всей тяжестью и несокрушимостью, на которую способны только мы, русские.

Положение на фронтах воодушевляло, поднимало нас, но в то же время требовало от нас более активных действий.

Куда-то пропали нытики и маловеры. Если до волжских событий такие, как фельдшера Василий Сергеев и Александр Быченков, критиковали командующих нашими армиями, спорили, то теперь их высказывания приняли совсем иной характер.

И Быченков и Сергеев горячо любили свою страну, свой народ. Попав в концлагерь и вкусив «особого порядка» немцев, они воспылали еще большей ненавистью к врагу и старались всячески помочь своему народу. Теперь их, как и весь лагерь, занимало одно: когда немецкие захватчики будут вышиблены с территории нашей страны?

Занимал нас всех еще и такой вопрос: пойдет ли наша армия освобождать Западную Европу?

Комната фельдшеров превратилась в своеобразный клуб. В спорах участвовало сразу большое количест-

во людей И у каждого свой план, свой замысел и, конечно, одно желание — скорей бы туда, к своим, чтобы бить врага. Перестали бояться даже полицейских. Под влиянием событий на фронте и полицейские в своем большинстве приутихли.

Сергеев часто останавливал начальника госпитальной полиции и задавал ему с самым безобидным видом вопрос:

— Господин начальник! Правда, говорят, немцы бегут с Дона?

Начальник полиции старался его успокоить, думая, что происходящих событий Сергеев не понимает. А Василий не унимался и, желая сразить «начальника», браво державшегося при победах немцев, а теперь потерявшего свой блеск, задавал новый вопрос:

— Господин начальник! А правду ли говорят, что красноармейцы вешают всех полицейских на телефонных столбах?..

Даже на такой издевательский вопрос, вызывающий громкий хохот у присутствующих, прохвост не решался отвечать бранью или угрозами. Он понимал: каждый полицейский под контролем сотен глаз, и эти глаза внимательно следят за его поведением. Предатели хорошо знали: им не уйти от гнева народного. Народный гнев их настигнет, а это самый страшный гнев.

В начале февраля 1943 года главное командование немецкой армии объявило трехдневный траур по случаю гибели шестой армии во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Заходившие в лагерь немцы были сумрачны. Но узнавать у них о подробностях этой гибели было рискованно.

Подробности битвы на Волге в лагерь все же проникали.

Дня через два к нам попали центральные немецкие газеты. Там о происшедших событиях сообщалось скупо. Сводки, вопреки обычаю, были короткие, невразумительные. Точно понять смысл происшедших событий и по немецким газетам не представлялось возможным. О Паулюсе там говорилось кратко: погиб, и все. Его портрет был обведен черной траурной каемкой. Вся шестая немецкая армия тоже считалась погибшей. Во всех сообщениях чувствовались неполнота, фальшь. В скупых радиосводках, в газетных коммен-

тариях было много недосказанного, неясного. Рабочие, приходившие из города, приносили самые разноречивые сведения.

Сопоставляя многочисленные отрывочные сведения, можно было понять только одно: советские войска бьют фашистов, бьют и в хвост, и в гриву. Немцы бегут. Об этом мы смело заговорили не только в своей группе, но и среди всех остальных пленных.

В феврале 1943 года, вечером, санитар Васильев, вышедший в город на работу, пришел взволнованный, отозвал меня в сторону и передал листовку, сброшенную советским самолетом для населения оккупированных областей. Девушка, давшая ему эту листовку, сказала о большом разгроме немцев партизанами и в ряде районов Смоленщины. В сравнительно широкой по формату листовке-газете подробно описывались все события на Волге.

Здесь же было помещено несколько фотоснимков. Многое из недосказанного немцами теперь прояснилось. На одной фотографии показывался момент допроса маршалом артиллерии Вороновым фельдмаршала Паулюса, на второй виднелись многочисленные колонны немцев, сдавшихся в плен советским войскам.

Трудно передать, с какой жадностью, с каким интересом и с каким восторгом читали мы столь желанное послание со своей любимой и такой далекой от нас, как нам тогда казалось, Родины.

Радостная весть не имеет крыльев, но она быстро летит. Один за другим к нам в госпиталь приходили товарищи. Некоторые со слезами радости обнимали и поздравляли друг друга с победой и тут же крепко целовали первого вестника — Васильева. Света в здании госпиталя ночью не было. Здесь горела только маленькая коптилочка, и около нее целую ночь толпились люди. Листовка взволновала нас и настоятельно потребовала от нас сделать эту радость достоянием всего лагеря. Тут же у стола мы составили небольшую прокламацию, и к утру ее читал весь лагерь.

«Загудел» госпиталь, заговорили и в общем лагере. Волжская битва не сходила ни у кого с языка. Радостная весть действовала, как живительный бальзам. Многие лежачие больные, казавшиеся до того безнадежными,

услышав о событиях на Волге, поднимали голову и буквально на глазах оживали.

Если советские люди и в неволе не теряли своего лица, оставались верными своей стране, своему народу и с нетерпением ожидали возможности активно включиться в борьбу против фашистов, иное положение приходилось наблюдать среди перешедших на работу к фашистам. Человек, дрожащий за свою шкуру, в конце концов готов на любую подлость и низость. В своем абсолютном большинстве полицейские — трусы и шкурники. Февральские события подействовали и на полицейских. Среди них наблюдалось открытое беспокойство. Боясь за свое будущее, чуть ли не половина из них открыто зароптала на свою судьбу и начала явно заигрывать с пленными. Но нашлись и такие, которые на возбуждение пленных ответили новыми расправами и жестокостями.

Однако жестокость полицейских уже мало устрашала пленных. Пленные открыто, в глаза называли полицейских предателями, изменниками и грозили им расправой народа и приходом советских войск.

Фельдшер Сергеев решился «разыграть» даже начальника полиции Макарова, хотя «розыгрыш» мог закончиться плачевно не только для него, но и для других.

Взяв немецкую листовку, где сообщалось о взятии немцами героического города на Волге еще в августе, и, выбрав время, когда Макаров в сопровождении полицейских и немецкого унтер-офицера совершал свой обычный обход госпиталя, Сергеев обратился к немецкому сатрапу:

— Господин Макаров! Можно попросить у вас разъяснения? — и стал по команде смирно, вытянувшись в струнку.

— Пожалуйста! Что вам угодно? — с готовностью ответил Макаров, и на его жирном лоснящемся лице заиграло некоторое подобие улыбки. Немецкий цепной пес любил, когда перед ним вытягивались, а тут еще рядом фашист стоит и смотрит.

Мы тоже были в палате, стояли в стороне и молча наблюдали. Сергеев с невинным видом протянул листовку о взятии немцами города-героя и спросил:

— Когда же советские войска вернулись в город?

Ведь о таком факте нигде не сообщалось, я внимательно читал все немецкие сводки.

— Было дело. Было. Вы плохо читаете немецкие сводки. Они не врут. Но успокойтесь. Оставление города — просто военный маневр, — елеиным голоском пытался успокоить больше себя, чем Сергеева, Макаров.

А Сергеев, продолжая разыгрывать из себя доверчивого простака, с таким же невинно-простодушным выражением лица продолжал:

— Господин начальник лагерной полиции! Можно еще один маленький вопросик задать?

— Пожалуйста! Пожалуйста! Очень рад разъяснить непонятное.

— Господин начальник полиции! Что будет с вами, когда сюда придут советские войска? Куда вы денетесь? Неужели побегите в Германию с немцами? Ведь они своих слуг с собой, говорят, не берут?

Сначала Макаров, как видно, не понял. До него не сразу дошел издевательский смысл вопроса. Потом маленькие глаза Макарова помутнели, бычья его шея надулась, сам он покраснел, молча развернулся и изо всей силы ударил Сергеева по голове. Сергеев, как подкошенный, упал. А Макаров, ни слова не говоря, повернулся и пошел к выходу. За ним так же молча последовала и его свита.

Мы подбежали к Сергееву. Но он уже пришел в себя. Правда, ухо оказалось рассеченным, кровь заливала лицо и грудь, но сам он улыбался.

Мы стали укорять его за необдуманный поступок. Сергеева мы считали своим, хотя он активного участия в нашей группе и не принимал. Много раз его уговаривали различные вербовщики перейти на службу к немцам, предлагали даже уйти на работу в город. Но Сергеев на предложения немцев твердо заявлял:

— Я пленный. Мое место в лагере. На работу идти — значит изменить своему народу. А я русский...

Зная мстительность Макарова, мы ждали арестов, жестокой расправы. Думали, в первую очередь придется расплачиваться Сергееву.

Однако все обошлось. Макаров, очевидно, почему-то не донес о Сергееве в гестапо. Как видно, он и сам испугался.

Но целую неделю мы волновались. Только дней через семь, когда Макаров снова пришел на свой очередной обход и сделал вид, что ничего не произошло, мы успокоились. На Сергеева он не смотрел.

Возбужденное состояние пленных заметили и в комендатуре Гестапо решило успокоить лагерь.

Еще летом в лагере установили репродукторы, а лагерное начальство через местную радиовещательную станцию отдавало по радио некоторые распоряжения пленным. Часто у микрофона выступал и «господин» Макаров. Над его бессвязной речью потешался весь лагерь. И сейчас Макаров решил «объяснить» создавшееся положение. Но вместо услуги немцам, он им просто напакостил, сам того не понимая. Неумный и невежественный цербер допускал в своем бормотании различные «оговорки». Вместо того, чтобы сказать: «фронт «выровнили», как немцы писали в сводке, он заявлял: «немцы бегут», потом делал паузу и извинялся за допущенную ошибку. В «своей тарелке» Макаров почувствовал себя только тогда, когда перешел к угрозам в адрес большевиков. Здесь сатрап фашистов не стеснялся. Забористый мат перемешивался с различными немецкими ругательствами. Речь Макарова еще больше взбудоражила пленных. Из нее пленные поняли только одно: дела немцев плохи. На утверждения о предстоящем летнем наступлении немцев никто уже не обращал внимания.

К концу февраля Советская Армия полностью ликвидировала летние успехи немцев. Больше того. В марте советские танковые колонны с ходу ворвались в Харьков и выбили оттуда фашистов. И хотя удержать в своих руках Харьков советские танковые войска без пехоты не смогли и добровольно оставили город, хотя немцы затрубили и в печати, и по радио о «новой» своей блестящей победе в Харькове, опять закричали о предстоящем лете, в течение которого немецкие войска якобы теперь-то уж окончательно разгромят Советы и обязательно возьмут Москву, пленные понимали другое. Пленные видели, что летнее наступление 1942 года не принесло немцам успеха и показало неспособность гитлеровского командования к длительной войне. Начались разговоры о слабости немецкой армии и ее сателлитов. Мы тоже всеми способами ста-

рались разъяснить: время работает на нас. Дни германского фашизма сочтены. Разгром его не за горами.

...Нас волновало и другое. В госпитале работали пленные врачи, фельдшеры, некоторые рабочие. Находились люди, которые заявляли, что работа в концлагере с ранеными и больными равносильна работе в немецкой части. По такому вопросу среди нас часто поднимались споры. Всех нас беспокоил вопрос, можно ли работу врачей, фельдшеров, санитаров и рабочих в госпитале лагеря считать службой у немцев? Одни утверждали, что любая работа на оккупированной территории есть работа на немцев. Другие оспаривали это утверждение: нет, дело обстоит не так. Работа на своих, хотя они и пленные, не есть еще работа на немцев. И действительно, наши люди, обслуживавшие лазарет, работали на советских людей, раненых и больных, попавших в тяжелое положение. Можно было не сомневаться, большинство из пленных еще будет воевать за свою Родину и будет воевать с такой энергией, от которой не сдобровать фашистским мерзавцам. Люди видят издевательства немцев, сами переживают ужасы плена, учатся, как надо ненавидеть врага, и потом-то они покажут, как надо бить его.

Так оно и было на самом деле. Громаднейшее большинство пленных, оставшихся в живых, впоследствии, освобожденные или убежавшие из плена, дрались, как львы, за свою Родину и в рядах Советской Армии, и в партизанских отрядах.

Врачи, фельдшеры, санитары, да и рабочие, находящиеся в госпитале, — такие же пленные, как и все остальные. Они находятся в лагере, за колючей проволокой. На них распространяются все правила, как и на остальных. Они не получают от немцев никакой заработной платы, даже питание их — та же баланда и тот же хлеб с «петушком». Работа в лагере есть работа из сострадания и не может рассматриваться как служба у немцев. Считать на службе у фашистских властей тех, кто работает в госпитале, никак нельзя.

Другое дело в отношении лагерной полиции. Здесь совсем иная картина. Полицейские находились на особом положении. Они и жили-то отдельно, одевались лучше, питание у них было не чета лагерному, они пользовались правом выхода в город. На рукаве у

них висел ярлык, определяющий их положение. Полиция служила немцам против Советской власти и ее политики. Пусть полицейские не получали жалованья (начальник и его помощники даже и жалованье получали за усердие). Дело не в жаловании!

Из полицейских фашисты впоследствии формировали особые отряды для борьбы против Советской Армии. В отношении людей, продавших свою совесть за кусок хлеба, другого мнения быть не могло. Человек, с дубинкой в руках расправляющийся с несчастными людьми, не может считаться честным, и ему нет оправдания. И если некоторые из полицейских пошли потом в партизанские отряды и воевали, то и этим они еще не полностью искупили свою вину перед нашим советским народом.

ГЕРОИ ЛАГЕРЯ

События на Волге во всех отношениях изменили настроение пленных. Многие, очень многие ободрились. Повысилось настроение и нашей группы. Люди рвались к активным действиям против фашистов и их пособников. Хотелось хоть чем-нибудь помогать своей Советской Армии. Участились случаи побегов из рабочих команд. Многие пленные на работе чаще и в больших размерах стали совершать диверсионные акты. Более активно и решительно стала действовать и наша группа.

Инженер Андрей Васильевич Федин получил от немцев задание ремонтировать мост через реку Остер. Правда, Федин сам не являлся ответственным за стройку. Руководящее положение там занимал немецкий инженер из войск «Тодта». Но и Федину принадлежала сравнительно ответственная роль. Рабочие состояли исключительно из пленных и во многом, если не во всем, зависели от Фебина. А работа предстояла большая. Мост, длина которого достигала более 20 метров, имел важное стратегическое значение. Он стоял на магистрали Варшава—Москва, его разрушали и до нас, но оккупанты быстро его восстанавливали, так как этой дорогой шли грузы к Юхновскому участку фронта. Немцы торопились с ремонтом и на этот раз. Предстояло весь мост перебрать заново и полностью заменить мостовой настил и отдельные фермы.

Всего на ремонте моста участвовало до 70 человек. Строительство тщательно охранялось. Какое серьезное значение придавалось стройке, можно судить по тому, что все рабочие персонально переписывались, и каждое утро немцы брали на работу только тех, кто раньше уже был занесен в такие списки. Новых рабочих, как правило, не брали. Пленных рабочих привозили к месту ремонта и отвозили в лагерь на специальных машинах. Даже питание дали рабочим усиленное. Федин не один раз приносил в лагерь хлеб, консервы, сыр и даже шнапс и угощал инженеров в землянке.

С самого первого дня работы на мосту Федин знал наш приказ: мост не должен служить немцам. Но как это сделать? Долго ни Федин, ни мы не могли этого придумать.

Мы понимали: если удастся уничтожить переправу, то грузовое движение к фронту, да и от фронта надолго остановится.

Ремонтные работы проходили без прекращения движения, то есть ремонтировался он в порядке очередности.

Нам стало ясно: одному Федину не удастся выполнить намеченный план. Ему обязательно надо было подобрать туда помощников. Скоро, с большим трудом, в строительную команду удалось определить вместо одного заболевшего пленного — Ивана Васильева. Да и себе помощником инженер Федин мог взять товарища-единомышленника, инженера из пленных — Алексея Петровича Грайворонского. Васильев скоро освоился среди рабочих, и около него быстро сгруппировались человек 12 таких, которые полностью разделяли мысли по уничтожению моста. Первый шаг был сделан.

Но как сделать второй шаг, как добиться того, чтобы мост вывести из строя? Такой вопрос мы чуть не каждый день страстно обсуждали на своих «чердачных» заседаниях, но к определенному решению прийти смогли не сразу. Различные рискованные планы после их обсуждений обычно отвергались. Подпиливание мостовых ферм, укреплений не подходило — слишком заметно, да и трудно было такое дело осуществить. Поджог? Но многочисленная охрана мешала этому. Наконец, решили все-таки остановиться на поджоге. Васильев нас убедил.

— Самое лучшее — поджечь мост, — сказал Васильев. — Опасно, говорят здесь. Верно, опасно. А что делать? Другого и лучшего не придумаешь. Только надо торопиться. Немцы сейчас беспечны, но придет время, они опомнятся. Пока они на нас мало обращают внимания. Что ж, тем хуже для них. Беспечностью врага надо воспользоваться. Доверьтесь мне, я постараюсь обмануть фашистов.

Нас увлекла страстность Ивана Васильева, его настойчивость, решимость, и мы в его план поверили.

Надо сделать так, решили мы, чтобы мост вспыхнул весь сразу и охрана его не смогла бы потушить пожар. Значит, надо облить мост керосином или бензином и поджечь его тогда, когда не будет там рабочей команды.

Приступили к осуществлению своего плана. Работы предстояло много и очень тяжелой. Первая трудность была в том, как достать горючее.

Васильев со своими ребятами вырыл под мостом небольшую пещеру и установил там жестяной бак. Начали ежедневно носить туда флягами керосин, бензин и сливать все вместе.

Но тут возникло новое препятствие. В госпитале мы смогли достать только литров пять керосина. Этого было слишком мало. Где еще добыть горючее?

Мы решили искать его за пределами лагеря. С этой целью стали посылать своих людей в рабочие команды в город и там буквально выпрашивать у немецких шоферов, у населения по фляге бензина, керосина, лигроина — всего, что удастся достать.

Монов, Бутенко, Крицкий, Ешкалов и некоторые другие наши товарищи носили ежедневно с работы по фляге горючего, а на второй день утром все принесенное мы отправляли через группу Васильева к мосту.

Мы хорошо понимали, что в случае неудачи команду снимут и расстреляют. Но мы не могли даже сократить срок накопления горючего: оно нам доставалось с большими трудами. А время шло. Ремонт подходил к концу. На глазах людей вырастал новый мост, по которому непрерывным потоком уже стали проходить в две колонны автомашины, танки. Оставались отделочные работы.

Существенную помощь делу оказал инженер Алексей Грайворонский. Однажды недалеко от моста отдыхала моточасть немцев. Среди них нашлись и знающие русский язык. Завязалась беседа. Говорили долго и оживленно. Немцы даже угостили русского своей водкой, а потом продали ему чуть ли не полную бочку лигроина. Это было настоящим счастьем, ускорило всю подготовку. За марки немцы готовы были отца родного продать. Нам были известны случаи, когда они продавали полицейским даже оружие.

Подкатить бочку с горючим в нужное место не составило труда. Немецкая охрана не вникала в действия рабочих. Она следила лишь за тем, чтобы рабочие не разбежались. Больше ее ничего не интересовало.

Покупка горючего завершила подготовку.

Наконец, бензина в смеси с керосином и лигроином собрался целый бак. Даже удалось налить горючего в бочку, стоящую на самом мосту. Вместе с купленным его оказалось вполне достаточно. Нашли ребята и паклю, тоже положили ее под мостом. Теперь предстояло самое ответственное дело — зажечь мост.

У нас не было никакого зажигательного снаряда, изготовить такой снаряд своими силами мы тоже не могли. После долгих размышлений пришли к одному: надо оставить там, у моста, своего человека, а когда все уйдут, он подожжет мост.

Для того чтобы привести в исполнение это решение, нам надо было послать в рабочую команду из лагеря еще одного верного человека. Он требовался для того, чтобы заменить оставляемого на мосту. Обычно машина приезжала за пленными во двор, в лагерь. Рабочую команду выстраивали, подсчитывали, проверяли по списку и потом уже сажали в крытую машину. Погрузкой всегда руководил немецкий инженер. Прием рабочих обратно в лагерь происходил уже не по списку, а просто по счету.

Предстояло постараться посадить лишнего человека в машину при погрузке.

Диверсию должен был произвести сам Васильев, и в лагерь вместо него возвратился бы этот лишний человек.

Это было главное затруднение, так как не всем из работавших на мосту мы могли доверять.

Но Васильев нас на этот счет успокоил и, как потом оказалось, он был прав.

Заменить Васильева мы решили Михаилом Семиречным. Он родом из Сибири, комсомолец, лет 22—23, старший сержант по званию. Смелый и довольно решительный парень. Несколько раз Семиречный выполнял наши поручения по распространению листовок. Семиречный, как и все мы, ненавидел немцев и страстно хотел им отомстить за муки и страдания советских людей.

Михаил несколько напоминал своей фигурой Ивана Федоровича Васильева. За несколько дней до взрыва они поменялись обмундированием, и Семиречный стал каждое утро вертеться около комендатуры при отправке рабочих команд, норовя нырнуть незаметно в машину, отвозящую рабочих к мосту. Но все попытки обычно оканчивались неудачей.

И в то утро он в нужную машину так и не сел. Однако и к нам не вернулся. Пропал наш Михаил. Мы терялись в догадках, конечно, беспокоились. Ведь Антон Крицкий видел, как поехали рабочие, а Семиречный остался в лагере. Приходилось ждать конца дня. Вечером возвратились рабочие. Приходят Федин, Васильев. Федин-то все и рассказал нам.

Оказывается, к мосту в то время, как они там работали, совершенно неожиданно пришел Михаил Семиречный. Не сумев забраться в нужную машину, он сел в другую, которая везла рабочих на железнодорожную станцию. Там ему ребята помогли скрыться, и он, помня о своем задании, пешком по дороге отправился к мосту. Дошел благополучно. Его спрятали под мостом. Ночью он должен был облить весь мост бензином, обложить мостовые фермы лаكлей, намоченной в горючей смеси, поджечь все, а сам низом, руслом реки, уйти в лес.

Васильев хотел сам остаться для поджога, как раньше было договорено, но Семиречный упросил переверить дело ему. Члены нашей группы, работавшие на мосту, на свой риск поручили диверсию Михаилу, так как он уже показал свою смелость, настойчивость, мужество. Отдали ему немецкий пистолет, который был

у Васильева. Ведь человек нашел средство не только выбраться из лагеря, но и пришел к мосту — уже рисковал собой, так как днем идти по городу, по дороге не каждый осмелится. В человеке не просто было желание убежать из лагеря, а горела настоящая страсть выполнить свой долг до конца.

Их действия мы одобрили — и не ошиблись.

Утром машина за рабочими уже не пришла. На второй день в лагерь приехал немецкий инженер, а с ним несколько офицеров из гестапо. Они потребовали всю команду рабочих, ремонтировавших мост. Рабочих им построили. В строю стояли и инженеры Федин, Грайворонский и все рабочие. Гестаповцы каждого вызывали по списку, пристально всматривались в лицо, зачем-то тщательно обыскивали и отводили в сторону. Потом, оживленно что-то обсуждая, долго размахивали руками перед покорно стоящей группой пленных. В конце концов они вынуждены были дать команду разойтись. Нам стало понятно лишь одно: моста больше нет. Семиречный выполнил свой долг.

Так оно и было в действительности. Вечером рабочие принесли в лагерь весть: «Вчера ночью партизаны налетели на новый мост через Остер и сожгли его».

В городе передавали подробности этого «налета». Мостовая охрана заметила пожар и бросилась тушить его. Кинулись к противопожарным бочкам, но в них не оказалось воды. На середине моста в одной бочке до половины находилась какая-то жидкость. Немцы зачерпнули ее ведрами и вылили на огонь. В бочке, как уже говорилось, был керосин, заботливо налитый нашими людьми, и огонь еще быстрее охватил весь мостовой настил. А тут еще из-под моста раздались pistolетные выстрелы. Немцы с перепугу быстро отошли, беспорядочно стреляя по горящему мосту. Расстреляв все свои патроны, охрана отступила. Мост же сгорел дотла.

Мы ликовали.

Один героический парень навел страх на десяток фашистов и смог успешно сделать полезное дело! За судьбу Михаила мы были спокойны. Он знал дорогу, куда ему надо было идти дальше.

...Из лагеря часто брали рабочих на работу и вне Рославля. В каком-то направлении от Рославля находился немецкий аэродром. На нем стояло большое количество истребителей и бомбардировщиков. Расположенный поблизости от фронта аэродром, конечно, мешал нашей армии.

Часто с этого аэродрома в наш лагерь приезжали немецкие летчики и отбирали себе наиболее здоровых военнопленных для тяжелой работы по уходу за самолетами. Для пленных там были построены специальные землянки, особая от немцев кухня, и все эти постройки также обнесли колючей проволокой и надежно охраняли. Но в своем лагере немцы долго пленных не держали. Дней через десять-пятнадцать их обычно меняли, одних и тех же фашисты боялись допускать к самолетам. Боялись, вероятно, как бы пленные, осмотревшись, не взялись ухаживать за ними по-своему.

Один срок там отбыл Петр Шатилов. Петр жил в общем лагере. В плен он попал еще в начале войны, лежал, как раненый, в нашей палате, потом, когда рана зажила, перешел в общий барак. Часто он ходил с рабочей командой на железнодорожную станцию.

Человек он был малоразговорчивый, и никто, кроме членов нашей группы, не знал, что Шатилов кадровый летчик Советской Армии.

Вскоре после того, как его взяли на аэродром в первый раз, Петр Шатилов подробно рассказал нам о возникшем у него замечательном плане. А план этот состоял в том, чтобы захватить самолет и улететь к своим.

— А ты сможешь? — задал ему вопрос Шабаров.

— Мне почти все понятно в немецком самолете, — ответил Петр — Вот только не разобрал еще секрета сбрасывания бомб. Больно скоро уж меня отправили оттуда. Да и хорошего напарника у меня тогда не было. А мечта и сейчас меня не покидает. Думаю, меня уже забыли, и я хочу снова туда попасть на работу. А там будет видно.

Рассказал нам Петр и о типе стоящих самолетов на этом аэродроме. Самолетов стоит около двухсот. Больше бомбардировочных. Много сделано хороших

аэродромов, но почти все машины стоят открытыми. Бомбовые склады расположены под землей и тоже недалеко. Аэродром сильно охраняется. Масса прожекторов, аэшиток, да и дежурные истребители всегда наготове.

Петр Шатилов добился своего: его вновь взяли на аэродром. На этот раз с ним попали и два его товарища. О них он говорил коротко, но выразительно:

— Свои в доску. Хоть в огонь, хоть в воду.

Больше ничего не добавлял. Всюду они были с Петром, хотя познакомился он с ними уже после первой своей поездки на аэродром. Вернее, познакомился он с ними там, а близко сошлись они уже потом, когда их вновь пригнали в лагерь.

С первых же дней его с товарищами поставили обслуживать пикирующие бомбардировщики типа «Юнкерс 88». Он убирал кабину, протирал тряпкой мотор, пополнял бомбовый запас. Конечно, вся эта работа проходила под наблюдением немцев. Но немцы прязной работы чурались, да и мало их было в это время: все более или менее здоровые немцы в результате тотальной мобилизации попали на фронт.

Немецкий пилот радовался сообразительности русского «Ивана». А надо сказать, что немцы всех русских называли «Иванами», при этом старались в это слово вложить как можно больше презрения. Однажды «Ивану» поручили протереть мокрой тряпкой кабину, а два его товарища чистили фюзеляж самолета. «Арийца» — механик и пилот — отошли к группе гитлеровцев, стоящих невдалеке, закурили и стали громко говорить. Моторы самолета прогревались на малых оборотах. Вдруг моторы заработали на полную силу, и машина стремительно двинулась по взлетной дорожке. Когда фашисты опомнились и поняли, в чем дело, машина была уже в воздухе, а «Иваны» стали поливать их пулеметов стоящих здесь немцев. Немцы разбежались, некоторые попадали.

Появилась паника. Затарахтели зенитки. А «Иван», появившись, развернулся над аэродромом и весь свой запас бомб сбросил на немецкие самолеты, стоявшие на поле. Мало того, «Иван» спикировал и на брющущем полете прошел еще раз длинной пулеметной очередью немецкие самолеты, а потом развернулся и полетел на восток.

С тех пор в районе нашего лагеря немцы перестали пользоваться услугами «Ивана» на своих аэродромах, а пленные в лагере с восхищением вспоминали о героическом подвиге наших советских людей.

В лагерь попадали и женщины: военнопленные врачи, фельдшерицы, медицинские сестры и иногда женщины-солдаты (добровольцы).

Женщин было немного. Их долго в лагере не держали, а обычно отправляли дальше на запад, в специальные женские лагеря. Однако были случаи, когда они в лагере задерживались и жили по несколько месяцев. Помещали их сначала в маленькой комнатке на втором этаже первого корпуса, а потом выстроили для них из самана специальный барак, огородили его проволокой. Доступ в этот барак для мужчин был строжайшим образом запрещен.

Положение женщин было таким же тяжелым, как и пленных мужчин. Все тяготы заключения они переносили без ропота, стойко и мужественно. И в плену, в трудную для них минуту, советские женщины не уронили своего достоинства, остались верными своей стране, своему народу, а многие из них прославили себя героическими делами, самопожертвованием.

Иногда женщин набиралось до 25—30. По мере своих сил и возможностей, они старались облегчить страдания раненых и больных в госпитале. Теплая, мягкая женская рука, тихое, ласковое, задушевное слово ободряли отчаявшихся людей, потерявших веру в будущее. Вместе с врачами-мужчинами пленные женщины многое сделали для того, чтобы вырвать из рук костлявой смерти как можно больше обреченных.

Глубокой осенью 1941 года в лагерь попала Наталья Федоровна Федюкова. Ей шел только 21-й год. Это была высокая красивая девушка с большими серыми глазами и золотистыми волосами.

Перед войной она училась в институте иностранных языков. И в первые же дни боев с немецкими захватчиками добровольно пошла на фронт. На фронте Федюкова работала переводчицей в одной из оперативных групп. Вскоре ей присвоили воинское звание лейтенанта. В форме советского офицера, в петлицах кото-

рого атели малиновые кубики, раненная в левую руку, она попала в плен под Вязьмой и была доставлена в наш лагерь.

Рана на руке не особенно беспокоила Наташу, она на нее как-то не обращала внимания и все свое свободное время старалась проводить в палатах госпиталя, в беседах с несчастными тяжело ранеными людьми, утрачившими духом. Ее беседы воодушевляли пленных и заставляли по-иному оценивать свое положение.

Однажды подошла она и к нашим нарам.

Здравствуйте, товарищи! — произнесла она своим задумчивым голосом и при этом улыбнулась, показав два ряда своих замечательных, словно из жемчуга, зубов. — Ну, как у вас идут дела? — Став у окна и держа правой рукой свои большие и тугие косы, переброшенные на высокую грудь, она внимательно смотрела на нас. Мы поздоровались. Познакомились. Ей указали на меня, как на капитана, а на Градского, как на инженера. Разговорились. О себе она почти не говорила, только досадливо отмахнулась, когда Василий Сергеевич Градский спросил ее про обстоятельства плена.

Рука подвела. Растерялась, — только и сказала она, недовольно кивнув головой на левую руку, которую держала на перевязи.

И вот в комнате женщин, где она жила, участились визиты гестаповца Курта Миллера. Было ясно, что он начинает добиваться ее расположения. Часто с ним приходили и другие немцы. Им доставляло удовольствие поговорить с красивой советской девушкой-офицером.

Нам стало известно, что Курт Миллер сделал предложение Наташе перейти к нему и жить в городе. Наташа возмутилась и решительно отклонила домогательства фашистского унтера. Тогда Миллер решил купить любовь Наташи. Фашист предположил: раз в плену на кусок хлеба можно купить и молодую советскую девушку. Если раньше Курт Миллер два раза в неделю заходил в комнату женщин, то теперь он стал там бывать ежедневно, а иногда в день по два-три раза. И каждый раз он не отпускал от себя Федикину. Теперь визиты унтера сопровождались обиль-

ными приношениями. В качестве подарков он приносил хлеб, конфеты, печенье, сыр, колбасу, консервы и многое другое.

Наташа отвергала подарки, не брала их, отказывалась. Но фашистский унтер и слушать ее не хотел. Он просто оставлял их в комнате, а сам уходил. Все продукты Наташа раздавала своим подругам по комнате, а часть приносила тяжелобольным и раненым.

Мы знали о домогательствах Миллера, но ничем не могли помочь Наташе. Не раз Миллер приходил в госпиталь, поднимался наверх и брал Наташу с собой. Где она бывала, что там делала — никто не знал. Даже своим близким подругам она ничего не рассказывала. Только после каждой такой прогулки она долго плакала, несколько дней ходила особенно грустной.

Под Новый год гестаовец снова пришел за Наташей и заявил, что теперь она останется у него. Заявил он это в шутку, но его пророчество оправдалось. Не было Наташи несколько дней, никто про нее ничего не знал, да и Миллер не приходил. Только на третий день разнесся слух: труп Наташи с приклеенной запиской лежит около комендатуры.

Многие побежали посмотреть. И действительно, Наташи не стало. Ее зверски замучили. Левая грудь у нее отрезана, тело проколото в нескольких местах штыком, один глаз вытек, нога в бедре переломана и неестественно подвернута. Труп лучше всяких слов говорил, что Наталья Федюкова умерла как настоящий советский человек.

Во время очередного обхода некоторые врачи попросили переводчика Бифеля рассказать, что произошло с Наташей. И когда немецкий врач ушел, Бифель рассказал:

— Она убила немецкого офицера. Мне это известно потому, что три дня ее мучили в гестапо. Вы знаете, что Миллер пригласил ее к себе под Новый год. Несколько раз он уже ее приглашал к себе, но она упорствовала, даже не пила никогда вина. А теперь он думал, что момент очень удачный. Напит ее вином и с пьяной можно будет легко сделать, что угодно. У него на квартире собралось человек десять немцев, были и офицеры. Началась попойка. Миллер представил Наташу, как свою жену. Все восхищались ею,

поздравляли Миллера. А один офицер даже предложил Миллеру уступить ее ему и давал за нее изрядную сумму марок. Ночью вся пьяная компания ездил в тюрьму смотреть «допросы» коммунистов. Взяли с собой и Наташу. «Пусть посмотрит», — говорил Миллер. С Наташей там сделался обморок. Потом все они приехали вновь на квартиру к Миллеру и опять продолжали оргию. Наташа попросила себе вина, залпом выпила стакан. А когда пошла танцевать, то положила руку на кобуру Миллера, выхватила пистолет и выстрелила в Миллера, но неудачно. Миллер увернулся. Пуля попала в немецкого офицера, и тот был убит. Допрашивал ее сам Миллер, и он же ее собственноручно убил.

Вот и все. Труп замученной советской девушки был выставлен для устрашения в лагере. К трупу фашисты приколотили записку: «Она убила немецкого офицера».

Мы хотели выяснить подробности о Наташе: кто она, откуда, но точно никто из ее подруг ничего не знал. Не знали даже, настоящее ли ее имя Наталья Федюкова.

ПАРТИЗАНЫ РАССКАЗЫВАЮТ

Сведения о партизанской войне начали проникать и нам в лагерь уже осенью 1941 года. Особенно много о героических делах народных мстителей стали говорить в начале 1942 года. Все больше и больше в рассказах идеальных стали упоминаться Мухинские леса. Рассказывали, что там действовал не один партизанский отряд. Мухинские леса расположены к юго-востоку от Ростова и находятся примерно в 30—40 километрах от него.

Рассматривая карту Смоленской области, мы неизменно останавливались на заштрихованной зеленым полосе. Масштабной линейкой мы определили расстояние до ближайшей опушки, изучили рельеф и ландшафт местности. Знали мы и о деревнях, и о селах, расположенных на пути в эти леса.

Ченьольно свои мысли мы связывали с Мухинскими лесами, с людьми, находящимися там. Сюда устреми-

лись все наши помыслы. Здесь, в лесах Смоленщины и Брянщины, в рядах советских партизан предполагали мы отомстить фашистским мерзавцам за страдания и пролигую кровь советского народа.

О партизанах говорили в лагере положительно все. Много возникало различных планов, предположений о побеге туда, в леса, в отряды. Однако на пути в лес стояла густая колючая проволока в два ряда да все более усиливавшаяся наружная охрана немецких войск.

Слушая скупые рассказы о боевых подвигах отважных патриотов, мы представляли себе партизан необычными людьми. Уже одно то, что они воевали в окружении врага, делало их в наших глазах героями из героев.

Даже полицейские редко решались вслух ругать отважных патриотов.

В лагере упорно утверждали, что немцы в плен партизан не берут, а всех захваченных расстреливают на месте. Рассказывали и о массовых расстрелах мирного населения за одно подозрение в связях с партизанами. Долгое время в лагерь не попадало ни партизан, ни людей, связанных с ними. Уже это одно говорило о беспощадном отношении фашистов к народным мстителям.

† Первые достоверные известия о партизанской борьбе принес к нам Петр Муковкин. Петру Прохоровичу было 24—25 лет. Это молодой веселый человек. Даже в трудную минуту своей жизни он, вероятно, улыбался. А улыбка ему шла. Простое русское лицо становилось еще более привлекательным.

Осенью 1942 года он был доставлен в наш госпиталь раненным в ногу. Одет в полувоенную форму, но красноармейские документы свои сохранил. По документам значился бойцом армии генерал-лейтенанта Ефремова, что и сохранило ему жизнь.

В госпитале он встретился с Александром Бутенко. Они оказались земляками, из одного даже района. В тяжелую минуту такие встречи особенно радостны. Соседняя область и то кажется близкой. А тут соседние районы. У них нашлось много общих знакомых, начали вспоминать различные знакомые места и, ко-

нечно, подробно рассказывали друг другу о своих военных делах.

Петро — так стали звать Муковкина — оказался партизаном.

Он действительно воевал в армии генерала Ефремова, которая действовала в тылу врага под Вязьмой. Но с группой товарищей отбилась от своих. Пошли дальше на запад и попали в партизанский отряд Бати. Отряд Бати в основном состоял из «окруженцев», но было в нем немало и местного населения.

— Наша рота, — говорил Петро, — была самая боючая в отряде. Все хорошо вооружены, много немецких автоматов, пулеметов. Хватало и патронов. Да и дрались у нас храбро. Я пробыл в отряде около шести месяцев, и мы, партизаны, почти каждый день воевали. Когда не случалось боевых операций, небольшими группами ходили на немцев, чтобы добыть оружие, патроны, продовольствие, курево...

— Мы часто проводили боевые операции, — рассказывал Муковкин. — Часто нарушали вражескую связь. Найдем телефонный провод, определим укромное местечко, перережем проволоку, спрячемся и сидим ждем. На войне связь должна действовать бесперебойно. Я сам связист, знаю. Если связь не действует, то командир обязательно пошлет солдат искать повреждение. Это закон. Ну, а нам того и надо. Вот, слышим, ползут. Если один, то хорошо. Ничего и двое. Трое тоже еще не страшны. Мы приготавливаемся, распределяем между собой немцев и неожиданно для них выбегаем. Убьешь фашистов, возьмешь у них противные сигареты и день кое-как перебиваешься. Правда, немецкие сигареты вонючие, не то, что наша русская махорка, а курить надо.

Так что вы думаете, — говорит дальше Петро, — ведь догадались, сукины дети. На исправление провода стали посылать целое отделение. И вот однажды, нам пришлось держать бой с целым таким отделением. Тут меня и ранили.

Скоро Петро вошел в нашу группу.

Трудолюбивый и очень способный парень целые дни возился на нарах и что-нибудь мастерил. Особая была у него страсть к механике. Громадным удовольствием

для него оказывалось разбирать и собирать часы. И скоро он стал заправским часовых дел мастером. Слава о новом часовщике пошла гулять по всему лагерю. Многие стали обращаться к Петру. Понесли свои трофеи и полицейские, и немцы. А у немцев и полицейских часов было много. Ведь если немцы и полицейские увидят их у пленных, то тут же отберут.

За свою работу Петро брал без запроса: сколько дадут. Только немцы и полиция обижали мастера. Полбуханки хлеба за чистку часов — на их взгляд было слишком дорого.

Оправившись от раны, Муковкин остался в госпитале на правах «часовых дел мастера». Часовое дело расширило круг знакомых Петра. Ему часто приходилось ходить по баракам лагеря, заходить к полицейским, в комендатуру. И всюду Петро смотрел, изучал и самое важное и нужное передавал нам. Его сведения для нас имели большое значение.

Рассказы Петро о партизанском отряде Бати мы всегда слушали с большим интересом. Но отряд Бати скорее напоминал войсковую часть, действующую в тылу врага, чем партизанский отряд в нашем понятии. Нам же хотелось познакомиться с боевой жизнью местных партизан.

И вот однажды, в начале 1943 года, разнеслась весть: в корпус № 2 нашего госпиталя доставлен больной партизан. Мы — туда, проверить слухи. Фельдшер И. К. Емельяненко подтверждает: да, действительно, утром к нему в палату из комендатуры доставлен больной мужчина лет 25—26. Одет в дубленый полушубок, валеные сапоги, брюки военного образца и холщовую рубаху. Парень без сознания. Очевидно, сыпной тиф. Больного приказано положить отдельно от находившихся в палате и установить полицейский пост. Начальник лагерной полиции распорядился никого к партизану не подпускать и взял подписку от фельдшера палаты, что больной будет цел.

Я и Сергей Григорьевич Смирнов вошли в палату. В углу, на топчане, лежал новый больной, а недалеко от него сидел Базаев — охрана. Мы подошли поближе. Больной метался в жару, что-то бессвязно выкрикивал, вероятно, бредил.

— Видите,— говорил Базаев, показывая на лист бумаги и карандаш. — Мне приказано записывать бред партизана. Ну, да я им напишу.

Мы поинтересовались, что же он пишет. Заглянули в бумагу. Там стояли отдельные бессвязные слова и точки.

Как видно, допросить партизана немцам не удалось. Теперь они рассчитывали, что в бреде он проговорится.

Наконец партизан стал поправляться. Молодой организатор делал свое дело. Пристальное внимание оказывали больному немецкий врач, начальник полиции и командант. Штабсаржт даже «сниходил» до принятия в свои руки температурного листа и внимательного анализа кривой, чего он обычно никогда не делал.

Когда больной пришел в себя, он рассказал нам немало интересного. Федор Поспелов — так звали партизана — родом с Урала. Попал в окружение, остался в одной деревеньке Смоленской области. Сначала жил в примаках, как многие, а потом ушел в лес, нашел партизан.

Федор рассказал нам некоторые подробности о партизанской жизни и борьбе. Рассказал и о том, что народ на оккупированной территории оказывает большую помощь партизанским отрядам, да, по существу, сам-то народ и воюет.

— Слышная Поспелова, мы еще больше преклонялись перед мужеством и стойкостью народных мстителей, борющихся за честь советского народа, еще сильнее стремились попасть к партизанам.

А пока нужно было во что бы то ни стало спасти Федора Поспелова. Ясно, что немцы готовили ему жестокую участь.

В наших условиях трудно было придумать что-либо новое для спасения жизни Федора. Обсудив с товарищами создавшееся положение, мы решили попытаться «поименить» и его.

Встал вопрос: как обмануть Макарова? Ведь он знал Поспелова в лицо, часто бывал в госпитале, разговаривал с ним, да и полицейские знали его.

И все же мы решили действовать. Врач А. К. Головинский играл здесь первую скрипку. На него возлагалась вся надежда. Как мы знали, с его мнением считался и Макаров. Головинский приступил к осуществле-

нию нашего плана. Сначала по этому плану у Пospelова началось «двухстороннее воспаление легких». Больной перестал есть, пить, отвечать на вопросы полицейских. Макаров мог убедиться лично — несколько раз подходил к больному, — что он вряд ли будет жив. Развитию «болезни» партизана помог и кратковременный отъезд немецкого врача из комендатуры. Другие немецкие врачи в госпиталь не заходили, а немецкий санитар, обходивший палаты вместо врача, вряд ли вообще что-либо понимал в медицине. Да к тому же немецкий санитар, из боязни заразиться, не прикасался ни к чему и к больным близко не подходил.

И вот на дежурстве полицейского Базаева Пospelов «умер». Ночью на место партизана мы подложили труп умершего за день до этого другого пленного, переодетого в одежду Федора, и с нетерпением ждали утра. Федора же мы перенесли в другое здание госпиталя и положили на верхний этаж нар.

Больных в госпитале всегда было много. В их лица никто не всматривался и поэтому мы не особенно волновались за Пospelова. Разыскать его не могли.

Утром разразилась гроза. В гестапо метали громы и молнии. Базаеву досталось больше всех. Миллер посадил его в яму на трое суток за недосмотр. А в чем сказался недосмотр, вряд ли Миллер и сам понимал.

Миллер с Макаровым и немецким санитаром долго стояли около трупа, не решаясь дотронуться до него руками, разглядывая его со всех сторон. На наше счастье, труп был подобран удачно. Нельзя сказать, что похож. Нет! Просто труп не старого еще человека, и волосы его тоже остриженные. Вот и все. Первые признаки, с точки зрения Миллера, налицо. Только на второй день было дано разрешение вынести труп, чему несказанно обрадовался Головинский, да и все мы.

Федор поправился, остался в рабочей команде. Он оказался хорошим, мужественным и жизнерадостным человеком. Его рассказы о партизанской жизни и борьбе действовали лучше всяких листовок. Глаза слушающих всегда горели ярким огнем, и все невольно представляли себя там, в Смоленских или Брянских лесах, борющимися против фашистских поработителей. В своем кругу мы также часто слушали такие рассказы. Выступать ему открыто в лагере все же было опасно, и мы

ему этого не разрешали, тем более, что Федор брался провести нас в партизанский отряд.

На работу в город часто выходил и Сергей Васильев, санитар госпиталя. Сергей и в Советской Армии служил и санчасти полка. Это был молодой, скромный парень, несколько даже застенчивый. Всегда тихий, аккуратный и исполнительный в работе, Сергей считался хорошим санитаром, внимательно относился к нуждам больных и раненых.

Но на одной баланде не проживешь. Надо было думать о себе, да и товарищам помогать. Выходя в город, Васильев старался устанавливать связь с местным населением. К нему охотно подходили местные женщины, девушки и наделяли хлебом, картошкой.

Была у Сергея и вторая цель. Входя в патриотическую группу, он искал связей с местным подпольем. Из бесед с женщинами на работе он знал о партизанской борьбе и о тех поистине драконовских методах, которыми фашисты пытались заглушить народное движение.

Летом 1942 года, работая на разгрузке железнодорожных эшелонов, Васильев познакомился с девушкой, которая назвалась Шурой и через которую он очень надеялся связаться с подпольщиками. Работы было не так уж много. Да и начальник конвоя попался человечный. Ему самому доставляло больше удовольствия лежать в тени, чем на жарком солнце подгонять измученных, обессиленных, истощенных людей. И пленные это ценили. Они старались его не подводить и при приближении начальства разыгрывали большое старание. Поэтому Сергей имел возможность довольно часто разговаривать с Шурой.

Однажды он прямо спросил ее, не поможет ли она связаться с партизанским отрядом.

Ну что ж! — сказала девушка. — Завтра приведи своих двух товарищей. Их будут ждать.

Мы очень обрадовались.

Назавтра Василий Мазный и Семен Антонов пошли в немецкий госпиталь убирать двор. Через забор к ним обратился пожилой мужчина с условным вопросом, и они вышли на улицу. Свободно прошли через несколько улиц и на дворе одного дома, в погребе, дождались ночи. А ночью их направили в Дорогобужские леса.

Утром Шура рассказала Сергею об удачном выходе наших товарищей, договорились о побеге новой группы.

Но неожиданно Шура исчезла. А тут и Сергей заболел сыпным тифом и пролежал около трех месяцев в госпитале. Так прервалась наша кратковременная связь.

Только в феврале 1943 года Сергей случайно вновь встретил Шуру, обрадовался, но поговорить не удалось: конвой был строгим.

Дня через два Шура передала Васильеву листовку Советского командования о капитуляции немецких войск на Волге. Мы вновь воспрянули духом. Но девушка исчезла во второй раз. Больше никто из пленных ее не видел.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЖЕТОН

В начале 1943 года комендатура получила приказ произвести точный учет всех пленных, находящихся в лагере. Для этой цели приехала специальная комиссия: офицер из комендатуры, врач-расовед и унтер-офицер, хорошо владеющий русским языком.

Комиссия долго ходила по баракам, землянкам и разъясняла, что такая регистрация полезна для пленных и проводится она по предложению международной организации Красного Креста. Списки якобы будут переданы в эту организацию, и она возьмет содержание пленных под свой контроль.

В лагере начались всевозможные разговоры, споры. Некоторые легковверные люди заявляли, что теперь даже можно будет послать письмо родным. Приводились примеры из практики первой мировой войны. Утверждали, что англичане, французы и пленные других национальностей и теперь получают продовольственные посылки из дому.

На каждого пленного заполняли особую карточку. В ней было много различных вопросов. Требовалось назвать место рождения, занимаемую до войны и во время войны должность, указать воинское звание. Тут были и такие вопросы: национальность, рост, цвет волос, цвет глаз, цвет кожи, форма носа и другие. Ответы на эти последние вопросы записывались самой комиссией.

После заполнения карточки пленный получал желез-

ный жетон с выбитым на нем номером. Этот жетон каждый пленный должен был постоянно носить на шее надетым на веревочке через голову, как крест. Такой же номер белой масляной краской наносили на гимнастерку и шинель.

Пришлось записываться и мне. Фамилию, имя и отчество я сообщил правильно, указал и место своего рождения. Но скрыл воинское звание. Про партийность не спрашивали. А национальность мою определила комиссия. После этого мне выдали жетон, где немецкими буквами было выбито: «Рославльский концлагерь № 130», а под надписью стоял номер — 933.

Я получил сравнительно небольшой номер лишь потому, что перепись начали с госпиталя и как раз с нашего корпуса.

С введением жетонов пленный как бы терял свое человеческое имя. Правда, и раньше немцы не считали пленного за человека и лишали его самых элементарных прав, теперь же он становился просто безличным номером. Когда пленный выходил на работу, то в комендатуре записывали только номер, по которому его и принимали при возвращении обратно, при этом немец и полицейский требовали еще от пленного показать железный жетон, чтобы сличить с номером на гимнастерке.

Многие немцы и полицейские утверждали, что такой «новый порядок» давно введен в лагерях Западной Европы и приносит какую-то пользу пленным.

Трудно сказать про другие лагеря. Мне в них не пришлось бывать. Про Рославльский же лагерь можно точно сказать, что «новый порядок» не принес пользы ни пленным, ни даже самим немцам. Уже через месяц трудно было разобраться, кто и за каким номером записан. Многие растеряли свои жетоны, нашлось немало и таких, которые продали, обменяли на хлеб свои шинели, гимнастерки. Все перемешалось, получилась полная неразбериха.

Скоро про списки забыли. Если вначале и находились еще некоторые наивные люди, ждавшие улучшения питания, то теперь уже все поняли: ждать улучшения положения нечего. Жизнь рассеяла все иллюзии. По-прежнему фашисты и полицейские продолжали издеваться над несчастными людьми, морить их голодом, расстреливать без суда и следствия.

На просьбы об улучшении положения немцы и их приспешники отвечали:

— Международная организация Красного Креста ничего нам не дает. У немецкого командования тоже ничего нет. Изменить положение не можем.

Вот и все. Перепись понадобилась для другой цели: немцам надо было еще раз проверить состав пленных и всех подозрительных, то есть тех, кто мог бы быть организатором, выявить и изолировать. Известно, что в ходе самой переписи, да и после переписи некоторая часть пленных (уже по номерам) была вызвана и отправлена из лагеря.

О международном Красном Кресте в лагере знали очень многие. Эта организация создана давно. Еще перед самым нападением Германии на нашу Родину в печати нет-нет да и мелькнет замечание о каких-то ее делах во время войны Германии с Англией, Францией. Нам было очень удивительно, почему эта так называемая международная организация, целью которой было облегчение участи раненых во время войны, ничего не захотела сделать для советских раненых, попавших в плен, и смирилась с тем, что фашисты истребляли людей?! Ведь Рославльский лагерь был крупным лагерем стационарного типа. О его существовании Красный Крест, безусловно, должен был знать. Но вот в наш лагерь ни один представитель из этой «гуманной» организации за все время его существования так и не приезжал.

Пленный профессор И. И. Соколов еще осенью 1941 года, воспользовавшись обходом лагеря комендантом, на чистейшем немецком языке обратился к лагерному начальству с просьбой передать прошение пленных в организацию Красного Креста.

Немецкий майор выслушал заявление Соколова, накричал на него, бумагу из рук Соколова взять отказался. Повернулся и зашагал из госпиталя, что-то выкрикивая и энергично жестикулируя руками.

К оторопевшему от такого приема и неподвижно стоящему русскому профессору подошел переводчик Бифель. Спокойно взял бумагу, сложил ее вчетверо и спрятал в планшетку со словами:

— Попытаюсь передать это заявление в штаб дивизии.

Дня через три Бифель пришел в комнату врачей, пошел к профессору Соколову и сказал, возвращая взятое заявление:

— Ничего не вышло. Меня же обругали, зачем я вмешиваюсь не в свои дела. Как я понял, командование немецкой армии не хочет, чтобы где-либо знали о наличии Рославльского лагеря и делах, какие здесь происходят.

На одном из очередных субботних подсчетов, месяца через два после переписи, фашистский унтер Миллер со злобой объявил:

— Тут некоторые жалуются на Красный Крест, что, дескать, эта организация не помогает пленным. Так вот, я должен объяснить, что международная организация Красного Креста отказалась от советских пленных и не будет им помогать. Жаловаться туда бесполезно. Да и жалобы ваши никто рассматривать не будет.

Мы пришли тогда к убеждению, что международный комитет Красного Креста, вольно или невольно, стал верным слугой Германского вермахта и предпочел «не знать» о массовом истреблении людей гитлеровцами.

За слезы, за кровь и смерть многих тысяч советских военнопленных в Рославльском лагере должна ответить и эта, с позволения сказать, «гуманная» международная организация.

ПРОДАЖА В РАБСТВО

Весной 1943 года в лагере начались необычные приготовления. Первым делом отобрали большую группу здоровых пленных и отправили их на запад. Отправка проходила не так, как всегда. Раньше пленных осматривали медицинские комиссии, отбирали здоровых и отправляли их на машинах, а иногда и поездом. Теперь просто приказали всем построиться с вещами, пересчитали, окружили конвоем и погнали на запад пешком.

Куда? Зачем? Почему? Вот вопросы, которые волновали оставшихся в лагере людей. Через два дня к госпиталю стали подходить грузовые машины. На них приказано было грузить тяжелораненых и больных, которых стали спешно вывозить из лагеря.

Как и всегда, по лагерю начали распространяться самые невероятные слухи. Одни утверждали, что здоро-

вых погнали на каторгу в Германию на шахты и в рудники. В отношении раненых и больных предполагали, что их или расстреляют, или отвезут на запад и станут лечить.

Когда грузили тяжелораненых и больных, некоторые из них о себе так и говорили: «На свалку везут. Наша песенка спета».

Все в лагере знали о многочисленных примерах, когда фашисты сжигали целые дома с ранеными и больными русскими людьми.

Многие рассказывали, как немцы расстреливали больных психолечебниц, сыпнотифозных больных. Вот почему прощанье с отправляемыми было тяжелым и грустным.

Боясь за жизнь некоторых наших тяжелораненых и больных, мы постарались многих из них отстоять и не дать для отправки из госпиталя. Это было трудно. Немцы сами ходили по палатам и намечали людей к отправке, не привлекая к этому русских врачей. Видят — лежит, значит тяжелобольной, в машину его. Вот и вся их логика.



Главный хирург Славянской больницы Виктор Борисович Бражников, бывший узник Рославльского лагеря смерти.

Наши советские врачи В. Г. Попов, А. К. Головинский, В. Б. Бражников и другие ходили за немцами

по пятам и доказывали, что многих, кого немцы намечали к вывозке, нельзя было трогать с места.

Очень много здесь сделал Виктор Борисович Бражников, хорошо владеющий немецким языком и не нуждающийся в услугах переводчика. Высокая фигура, выразительное лицо и небольшая бородка делали Виктора Борисовича привлекательным человеком, а его свободная, независимая манера в обращении с немцами вызвала уважение к этому человеку, ничем не запятнавше-

му себя даже в исключительно трудную минуту жизни.

Виктор Борисович Бражников — кадровый офицер Советской Армии. Мы с ним были знакомы еще в далекие довоенные времена. Он работал начальником медсанбата нашей дивизии. В начале августа 1941 года вместе с походным госпиталем, где лежало большое количество раненых, Виктор Борисович попал в руки немцев.

Как хорошо владеющего немецким языком, командование одной немецкой части задержало его. Но и здесь он остался честным человеком. Знание немецкого языка он использовал для помощи русским людям, попавшим в беду. Не одна группа пленных при его содействии ушла в лес и стала активно бороться против фашистов. Весной 1942 года Бражников вновь готовил большую группу пленных к побегу. Казалось, все идет хорошо. Но в группе оказался провокатор. Побег не состоялся, а Бражникова арестовали.

Шесть месяцев Виктор Борисович просидел в Рославльской тюрьме. Много пришлось перенести и пережить советскому врачу. Не один раз его вызывали на допрос. Прекрасное знание им немецкого языка, умелая защита без переводчика, независимость в обращении сделали свое дело, и его не расстреляли. Да и провокатор не имел доказательств и строил свое обвинение на предположениях.

Бражникова из тюрьмы направили в рабочий лагерь, а в начале 1943 года он попал в наш госпиталь.

В серый зимний день, когда в вестибюле нашего здания стоял густой полумрак, я увидел поднимающегося по лестнице худого человека, обросшего бородой, в порванной шинели. Он только отдаленно напоминал командира нашего санбата. Я невольно отошел в глубь помещения, чтобы не попадаться ему на глаза. Потом мне передали, что в комнате врачей он называл мою фамилию и просил помочь ему меня увидеть. Остаток дня и ночь я был сам не свой. Все это время тревожила мысль: кто сейчас Бражников? Свой или чужой?

С такими мыслями, расстроенный, на другой день рано утром я столкнулся с Бражниковым на лестнице. Уклониться от встречи уже было нельзя. Виктор Борисович улыбнулся, дружески обнял меня, поцеловал и сказал:

— Рад видеть вас живым. Пойдемте поговорим.

Мы вышли из здания и пошли по лагерю. Долго ходили и вспоминали свою жизнь. Особенно много страшного рассказал Виктор Борисович о Рославльской тюрьме.

Там над дверью одной камеры черной краской написано: ВКП. Туда сажали коммунистов и комсомольцев, но часто попадали люди, которые не были членами партии, но вели себя, как коммунисты. Камера эта всегда была настолько переполнена, что в ней нельзя было ни сесть, ни лечь. О питании арестованных никто не думал. Каждое утро оттуда вытаскивали трупы умерших в давке людей. И тот, кто туда попадал, мог выйти только на Вознесенское кладбище. Рано утром из этой камеры по несколько десятков человек сажали в «душегубку» и отвозили на кладбище.

В лагере было известно о «душегубке». Не один раз из окон госпиталя мы видели, как немцы выгружали из серовой машины трупы и сбрасывали их в яму. Доходили до нас и рассказы «капутчиков» о какой-то адской машине. Но мы не знали, что это и есть «душегубка», как прозвало ее население. Но теперь, когда все это пришлось услышать от своего боевого товарища, сомнений в существовании и назначении такой машины не оставалось.

Особая комната в тюрьме была отведена для допросов и соответствующим образом оборудована. Бражников сам был в этой комнате и видел длинные бичи, которыми глубоко рассекали человека, самые настоящие дыбы — все это немцы считали нормальным.

После разговора с Бражниковым я перестал в нем сомневаться и предложил включиться в активную борьбу против фашистов.

В апреле лагерь разгородили колючей проволокой на две части. Северо-западную его часть освободили от пленных. Зачем все это делалось, удалось узнать Бражникову, которого поселили в бараке инженеров. Оказывается, гитлеровское командование решило выселить из партизанских районов все местное население. Как видно, партизаны здорово донимали немцев.

Фашисты рассудили так: если лишить партизанские отряды поддержки местного населения, то партизанское

движение неминуемо затухнет. Фашисты обнаружили тут полнейшее непонимание сущности партизанской войны. Это и понятно. Ведь на протяжении многовекового существования немецкого народа у него не возникало партизанского движения, если не считать одного маленького партизанского отряда, существовавшего в XVI столетии и прожившего очень короткую жизнь.

И теперь свирепыми методами фашисты решили свой план провести в жизнь. Вот через наш-то лагерь немцы и намечали вывозить на запад местное население, организовав здесь нечто вроде пересыльного пункта.

Скоро к нам в лагерь потянулись целые обозы женщин, детей и стариков. Трудоспособных мужчин почти не было видно. Они еще раньше ушли или в леса — в партизанские отряды, или же были отправлены немцами в лагеря, в тюрьмы, а частью расстреляны.

Лагерь гражданских, или пересыльный пункт, организован был большой. От пленных он отделялся только проволокой, да и охранялся-то одним полицейским. Установить общение с людьми не представляло значительного труда. Из пленных врачей туда направили В. Б. Бражникова, В. А. Короткова и некоторых других близких нам людей. Они нам помогли установить с населением нужный контакт.

Сразу же с утра здесь, под открытым небом, шла проверка и сортировка собранных людей. Большая группа немецких офицеров допрашивала и проверяла каждого пересылаемого. Кто они?.. Что они?.. Откуда?.. Состав семьи?.. Есть ли родственники в партизанах?.. Не поддерживалась ли с ними связь?.. Такие и много других подобных вопросов сразу обрушивались на женщин, детей, стариков и старух. Тут же за столом располагалось и местное деревенское начальство — староста, полицейский. Если то или иное семейство не вызывало сомнений, выписывали особое свидетельство и семью направляли дальше на запад, обычно на поселение в более «надежный» район.

Но на поселение отправляли только нетрудоспособных. С трудоспособными обычно решали по-другому. Всех работоспособных женщин, начиная с 15—16-летнего возраста, отделяли от семьи и отправляли на станцию, там их грузили в специальный эшелон и увозили на каторгу в Германию.

Вот здесь-то мы и возложили на В. Б. Бражникова задачу — сколько возможно семей спасти от угона.

Хорошо знавший немецкий язык, он интересовался судьбой каждой семьи. И бесстрашно вступал в спор с подполковником, руководившим всей этой операцией. Независимая манера Бражникова, его твердый и уверенный тон производили на немцев соответствующее действие. Где не могла помочь просьба, слезы, там помогал Виктор Борисович своей невозмутимой настойчивостью.

Молодая женщина лет 24, Галина Пояркова, имела двоих детей: мальчика лет шести и девочку не больше четырех годиков. Все ее имущество заключалось в нескольких узлах. Немецкий фельдфебель записал ее в списки для отправки в Германию. Ей даже не разрешили попрощаться с детьми, сразу же повели и посадили в машину. Душераздирающий крик детей, плач Галины нимало не тронули фашистскую охрану.

Виктор Борисович подошел к машине. Расспросил Пояркову и тоном, не допускающим возражений, приказал освободить ее и повел к подполковнику. Бражников показал на Пояркову и детей и потребовал не разлучать ее с детьми. Трудно сказать, что подействовало на подполковника гитлеровской армии: или прекрасное знание Бражниковым немецкого языка, или невозмутимое спокойствие, но его просьбу он удовлетворил. Подполковник потом подозвал к себе Бражникова и долго распространялся перед ним о немецкой какой-то особой гуманности, хотя спасена была всего одна семья, а десятки, сотни других безжалостно разлучались на наших глазах.

Люди на пересыльном пункте находились в невыносимо тяжелых условиях. Стояла еще холодная, сырая погода, а располагаться приходилось прямо на земле, без всякой крыши. Разводить костры можно было только днем, ночью костры зажигать не разрешалось. Да и дров не было.

Среди пересылаемых начались всевозможные болезни, быстро стал распространяться сыпной тиф, буквально косивший людей. Умирали, главным образом, дети до 12—13 лет. Трупы вывозили раз в три дня, вывозили на «огненных колесницах». А до этого мертвецы лежали здесь же, рядом со здоровыми.

В лагерный госпиталь больных из гражданского населения не разрешали направлять, хотя пленные врачи и добивались этого.

Как правило, эвакуированные должны были брать с собой продукты из дому. По инициативе лагерных рабочих на кухне им кипятили воду. Продуктов у значительной части переселяемых не хватало. Положение эвакуированных ухудшалось с каждым днем. Отправка шла медленно, а люди из новых районов все прибывали и прибывали.

Положительно негде было повернуться.

Кипучую деятельность развернул начальник полиции Макаров. Он со своей плеткой старался навести порядок. Нередко его голос раздавался по местному лагерному радио.

— Граждане выкурированные... — громко кричал он. Слово «эвакуированные» оказалось трудным для его произношения и он выговаривал его по-своему. В его же устах оно как нельзя полно отражало настоящее положение несчастных. Фашисты их действительно выкуривали с родных мест. Каждый пленный, слушая речь неумного немецкого цербера, невольно улыбался. Но смеяться открыто над «начальством» было не безопасно.

Рассказы прибывающих были один ужаснее другого. Говорили неохотно, с опаской, но все говорили одно, что немцы сжигали целые районы, не говоря уже об отдельных селах или деревнях. Там же на месте расстреливали семьи партизан и всех подозреваемых в связи с партизанами, не жалели детей, стариков и старух. Продовольствие и скот забирали себе.

Однако самое ужасное было впереди. Очень скоро пересельный пункт был превращен в настоящий невольничий рынок.

Говорят, рабство давно отменено, утверждают, что в наше время торговать людьми нельзя. Чепуха! Вздор! Кто был в начале 1943 года в Рославльском лагере, может подтвердить, как немецкие фашисты торговали живыми людьми. Отношение немцев к славянам даже не может быть сравнимо с отношением американцев к неграм в XIX веке. Что там Бичер-Стоу со своей «Хижиной дяди Тома»!

Людей продавал подполковник немецкой армии

Иоган Фичер, а в продажу шел любой человек, поступивший на пересыльный пункт. Покупать, конечно, мог только ариец, то есть чистокровный фашист.

Ежедневно фашистские мерзавцы приходили на пункт и выбирали себе служанку, уборщицу или няню, а то и наложницу. Они могли купить девушку или женщину и оставить ее здесь, могли купить и для отправки в Германию. Плати только денежки. Как немцы тогда говорили: надо уплатить «комиссионные».

И покупали сравнительно недорого. Девушка 15—16 лет стоила от 30 до 60 марок. Женщина от 25 до 30 лет — 40 марок. Не важно, если у женщины дети, семья. Для фашистов семья ничего не стоила. Они разлучали понравившуюся им женщину с детьми, оставляя детей на произвол судьбы.

Однажды на пересыльный пункт пришла большая группа немцев, среди которой выделялся подполковник, затянутый желтыми ремнями, в ярко начищенных сапогах, замшевых перчатках, со стеклом в руке. Он важно ходил по лагерю, играя стеклом. Офицеры его свиты внимательно рассматривали людей и отбирали молодых девушек. Подойдут к группе, заметят сравнительно хорошо сложенную девушку или женщину, сейчас же выведут ее. Тут же производили осмотр. Осмотрят со всех сторон, заставят открыть рот, потрогают своими грязными пальцами зубы, ощупают груди, мышцы на руках, на ногах, и все время что-то оживленно обсуждают на своем языке.

Если девушка отвечала их «требованиям», ее отводили в сторону и тут же сажали в закрытую машину. Ни плач разлученных людей, ни просьбы — ничего не помогало.

Среди переселенцев своей неутомимой энергией отличалась одна девочка лет 15. В лагерь она попала с матерью, бабушкой лет 70 да двумя младшими сестренками. Мать болела и не могла даже подняться. Все лежало на девочке-подростке. И она как-то успевала и мать горячей водой напоить, и бабушку накормить, и о сестренках позаботиться. Но Вера — так звали девочку — не унывала. Ей помогали пленные лагеря. Старался помочь ей и Бражников. Под предлогом болезни матери он отстоял Веру от посылки в Германию и добился того, что ей уже выписали проходное свидетельство для от-

правки в Мстиславль на поселение. Ждали только попутную машину.

И вдруг ее увидел подполковник.

— Ком, ком! — закричал фашистский офицер и начал манить Веру пальцем к себе. Поняв, что зовут ее, она подошла к немцам. Один из фашистов схватил подростка, снял с нее шубку и перед немцами предстала по существу еще девочка: с растрепанными косичками, еле заметными очертаниями груди, еще не развитыми по-настоящему, в коротеньком платице. Девочка заплакала и стала что-то объяснять.

Немцы, не обращая внимания на плач, ошупали ее всю и закричали: «гут», «гут». Фашистский подполковник бросил несколько слов солдату, и тот потащил ее к машине. Вера отчаянно закричала, обхватив голову руками. Подошел Бражников и обратил внимание подполковника на тяжелое положение семьи Веры и попросил не трогать ее. Но подполковник досадливо отмахнулся от него, что-то отрывисто выкрикнул, как бы недовольно пролаял по-собачьи. Бражников отправился к начальнику пункта и пытался убедить его в бесчеловечности поступка. Но тот беспомощно развел руками и заявил:

— Комиссионные деньги уже получены. Бесплезно протестовать.

Потом Бражников выяснил, что фашистские офицеры комплектовали для своих солдат дом терпимости. Вера была куплена туда же. Дом терпимости — коммерческое предприятие, а подполковник являлся одним из его пайщиков и, надо думать, получал немалый доход от такого заведения.

Протесты, просьбы обреченных — ничего не помогало. Веру и многих ей подобных немцы отдавали на утеху солдатам. Вот как вели себя фашистские мерзавцы в Рославльском лагере весной 1943 года! Так не всякий колонизатор вел себя в завоеванных странах даже в прошлые века.

Отбор русских людей на германскую каторгу, в услужение к немцам, в дома терпимости происходил весь апрель и май. Одна сцена была страшней другой. Лагерь эвакуированных превратился в место ужасов и несчастий. Много, очень много людей было разлучено со своими семьями, отправлено в Германию на работу или же продано немецким солдатам и офицерам на насилие

и забаву. Видя ужасы и страдания нашего русского населения, весь лагерь пленных ни о чем другом не мог ни говорить, ни думать. Пересыльный пункт и дела в нем — вот что занимало помыслы советских людей.

С помощью Бражникова нам удалось некоторых пленных пристроить к гражданскому населению. Мужчин среди гражданских почти не было. Только изредка мелькнет среди женщин какой-нибудь старичок. Федор Поспелов нашел знакомых из района, где он жил в при-маках, и с их помощью переделался в гражданское платье. Пользуясь отсутствием деревенского начальства, Бражников занес его в список, благо и бороду он себе отрастил большую, и Федор был вывезен из лагеря как эвакуированный.

Поспелову мы дали задание, которое не один раз давали многим своим людям: связаться с партизанской группой и попытаться связать ее с нами.

Выехал из лагеря и Семен Логинов. Семену с его большой черной бородой на вид было не меньше 50 лет, хотя он и имел только 35 лет от роду. Семен договорился с одной молодойкой, она подобрала ему костюм, и под видом ее отца Бражников записал его в список, и он также поехал на запад.

Только к июню пересыльный пункт опустел.

Видя муки и страдания русского народа, мы как-то мало говорили и про военные дела. На фронтах было затишье. Но немецкие газеты опять трубили о предстоящем летнем наступлении. Однако лето уже было в разгаре, а наступления все не было и не было. Еще усиленной пленные заговорили об ослаблении гитлеровской военной машины, о невозможности ее нового наступления. Такие разговоры радовали нашу группу, и мы всячески их поддерживали.

ЭВАКУАЦИЯ ЛАГЕРЯ

В июне 1943 года немцы начали спешно расширять и ремонтировать лагерь. Рылись новые землянки, полностью ликвидировали пересыльный пункт, даже сняли разделяющую лагерь проволоку. Часто ходили по лагерью высокие немецкие чины, внимательно осматривали

помещения, отдавали распоряжения коменданту. Завезли на кухню большое количество костной муки. Среди плененных начались шутки по такому случаю. Особенно неумолим был Сергей Григорьевич Смирнов.

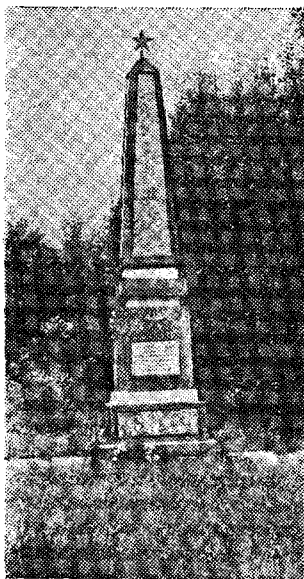
— Ну, яйценоскость пленных теперь повысится: «петушка» привезли много, — горько иронизировал он.

Замечено было большое движение войск в городе, по дорогам. К фронту от Рославля войска уже не шли, как в сентябре 1941 года, а наоборот, двигались от фронта и от Смоленска. Двигались они в одном и том же направлении: на юго-восток, к Орлу. Войска шли и своим ходом, ехали и по железной дороге.

Все говорило за то, что события назревают большие и, видимо, где-то на юго-востоке от нас. На расположенном близко от нас участке фронта, как видно, больших изменений не предполагалось.

Ночь прошел спокойно. На фронтах происходили лишь бой местного значения.

И вот 5 июля началось. Грохот орудийных раскатов доносился и до нас. Началось последнее немецкое наступление — на Орловско-Курской дуге. Лагерь заволновался. Уже на второй день некоторые немцы заговорили об успешном продвижении гитлеровских войск. На третий день в госпиталь доставили новых раненых пленных. Привезли немного, всего человек 12. А немецкое радио, захлебываясь, закричало о неминуемом разгроме Советской Армии и обязательном предстоящем взятии Москвы.



Обелиск, установленный на территории бывшего концлагеря на месте, где заковано 70 тысяч замученных фашистами советских людей.

Рассказы новых пленных были односложны, на многие вопросы они совсем даже не отвечали.

— Да. Немцы прорвали фронт, — говорил младший лейтенант в новой, еще до сих пор не виданной нами форме, в гимнастерке со стоячим воротником и с широкими зелеными погонами, на которых блестела маленькая светлая пятиконечная звездочка.

О новой форме, о погонах мы в лагере слышали, но видеть ее пришлось первый раз. Слышали мы и о больших изменениях, происходивших в Советской Армии: повышения роли и авторитета командиров, об официальном наименовании командного состава офицерами. Но видеть первого офицера в новой форме, хотя и с полевыми погонами, пришлось нам только теперь. Понятен интерес пленных, проявленный к человеку, официально именовавшемуся офицером, в погонах. Скупость же ответов младшего лейтенанта многих из нас просто обижала, Антон Крицкий даже рассердился:

— Вы что же, товарищ младший лейтенант, — сказал ему Антон, — нас за изменников считаете и говорить даже не хотите? Так, что ли?

— Нет. Почему же, — отвечает тот. — Просто сказать нечего. Сам толком ничего не знаю. Прорвать фронт немцы прорвали, а что будет дальше, увидим...

Скупость ответов вновь прибывших нам казалась непонятной, загадочной. У некоторых сохранились обрывки газет недельной, а то и двухнедельной давности, но для нас они были свежими. Мы с жадностью прочитали все, вплоть до объявлений на последней странице.

Через 10—12 дней привезли еще одну небольшую партию раненых. Снова возбуждение среди пленных, и снова нет полной ясности. Тон немецких газет к этому времени, правда, значительно изменился. Теперь говорили об упорных боях, а не о победном продвижении. Все газеты стали кричать о новом особенном каком-то немецком танке «тигре», которому якобы море по колено. Этот танк, по словам писак, ни одна пушка не берет.

Новые пленные в один голос твердили:

— Да, верно. Фронт прорван. Немец наступает. Но это еще не все. Ему будет там...

В сводках гитлеровского командования появились сообщения о больших и упорных контратаках русских. При этом подчеркивалась безрассудность советского

командования, перешедшего в контрнаступление, в результате чего, мол, только будет «отодвинут срок разгрома Советов и Советы понесут лишние людские потери». Вновь на юго-восток потянулись войска и с севера и с востока. Теперь их шло значительно больше, чем в июне.

Мало-помалу мы стали разбираться, всем стал ясен провал летнего наступления немцев. Атаки гитлеровских войск захлебнулись, и, даже по тону сообщений фашистской печати, стало понятно, что фашистское командование радо было бы восстановить на фронте ранее существовавшее положение.

Характер немецкой пропаганды менялся день ото дня. Скоро немецкие писаки стали говорить о наступлении советских войск в районе Орловско-Курской дуги. Вновь полились в адрес большевиков грязные потоки лжи и угроз. Мы уже знали: если крепко ругают большевиков — значит у немцев дела на фронте плохие, их планы срываются. Долгожданное наступление не принесло фашистам желанной победы, лето перестало действовать оккупантам. Положение дел резко изменилось, и наступать летом немцы оказались не в состоянии.

Уже к концу июля все только и говорили о грандиозной ловушке, устроенной советскими войсками для немцев в районе Орла и Курска. Позволив «прорвать» небольшой участок фронта, как мы тогда понимали, и заманив ударные германские части в глубоко эшелонированный мешок обороны, перемолов лучшие немецкие силы и сделав из них «фашистскую отбивную», советские войска сами перешли в большое наступление.

Гул артиллерийской канонады теперь можно было слышать не только на рассвете, она не смолкала уже целый день. Настроение пленных резко повысилось. Лица стали радостными. Вот оно долгожданное наступление. Теперь и победа близка!

Трудно передать то возбуждение, радость, которые охватили всех нас. Все мы чувствовали силу, мощь родной Советской страны. О себе, о своей судьбе мы меньше всего беспокоились. Что будет с нами? Об этом как-то не думалось. Наши идут — вот что главное, и это всех нас занимало. Только о скором приходе наших и были все помыслы.

К середине августа, когда эвакуация стала делом ближайших дней, мы повели подготовку к побегу с этапа.

Наша группа в это время доходила до 300 человек. Каждый товарищ, близкий к нам, имел, в свою очередь, связь с другими. У Юнина насчитывалось около 20 проверенных товарищей во втором здании, Сипягин готовил человек 30 из рабочих, Виноградов был связан с 20 пленными в бараке, Дрожжин регулярно давал задания рабочим кухни. Крицкий, Ешкалов, Монов, Бутенко, Емельяненко, Попов и другие наши товарищи, в свою очередь, связывались с пленными в госпитале и в общем лагере и готовили их к предстоящей активной борьбе в лесах против фашистов.

Мы разработали несколько планов побега. Самое хорошее и заманчивое — освободить всех пленных на этапе. Так думали мы и к этому готовили своих товарищей.

Чем выше поднимали головы пленные, тем нервной становились гитлеровцы и их прислужники. Командование лагеря и полиция ходили, словно пришибленные, даже вещи перестали отбирать у пленных, и пленные не прятали уже ни обуви, ни алюминиевой посуды, у кого они еще сохранились.

Макаров, кроме пистолета, стал носить и автомат. Без автомата и один он теперь в лагере перестал появляться, причем за автомат держался обеими руками, словно боялся, как бы его кто у него не вырвал. Некоторых полицейских из макаровского окружения оккупанты вооружили винтовками.

Первое здание госпиталя освободили от пленных и проволокой отгородили от общего лагеря. Изгородь перенесли несколько внутрь, и здание очутилось вне лагеря. В этом здании разместилась немецкая войсковая часть. Легкие орудия и станковые пулеметы, расположенные около здания, стояли наготове, а некоторые из них были наведены на лагерь.

Кругом лагеря были вырыты окопы в полный профиль. Фашисты опасались, как видно, внешнего нападения на лагерь или возмущения внутри его. Но агрессивные меры лагерного начальства мало кого из пленных беспокоили. Всех занимала мысль об эвакуации и о предстоящем побеге.

С первой партией эвакуируемых покинул лагерь Виктор Борисович Бражников.

Долго сидели мы молча, не зная, что предпринять. Подходила тяжелая минута.

— На, возьми, — сказал Бражников, протягивая мне несколько фотографических карточек, — может, пригодятся. Вчера я в столе комендатуры нашел.

Мы посмотрели на карточки и содрогнулись. Немцы — любители сильных ощущений. Еще в начале лагерной жизни, а особенно первой зимой, многие из них ходили с фотоаппаратами и щелкали. Им особенно нравилось подбирать грязных, оборванных, заросших бородой русских, обвешанных банками, и фотографировать эти группы. Такие карточки они посылали домой и, надо думать, писали: «Вот, смотрите, такова армия большевиков». Подобные снимки публиковались в центральных немецких газетах, журналах с лаконичными подписями: «Что мы видели в стране большевиков». Такими фотографиями фашисты предполагали извратить историю.

Любители сильных ощущений фотографировали «огненные колесницы», штабеля трупов, которые особенно были велики зимой 1941—1942 годов. И теперь несколько таких карточек попали в наши руки. Если бы их опубликовать, было бы еще одно грозное и обличительное документальное подтверждение зверств фашистов. Да, уничтожать такие фотокарточки было нельзя. Хотелось сохранить их, хотя я и понимал, конечно, что за хранение документов, столь обличающих фашистов, они немедленно расстреляли бы каждого!

Настала минута разлуки с Бражниковым. Мы встали. Крепко обнялись, расцеловались с ним, пообещав друг другу оставаться верными до конца своей Родине, своему народу. Расстались...

Проводив Бражникова, я спать уже не мог. Позвав Антона Крицкого, Аркадия Ешкалова и Александра Бутенко, я показал им карточки и сказал, что их необходимо сохранить. Товарищи тоже понимали важность сохранения обличительных документов и предложили закопать их. Мы написали большое письмо, объяснили историю фотографий, описали положение пленных... Завернули карточки и письмо в бумагу, обернули сверток куском брезента и вложили все это в небольшой ящик,

сбитый Антоном из толстых дубовых досок. В здании третьего барака, в кубовой (где стоял котел для воды), вырыли яму около полутора метров глубиной и закопали ящик, обложив его сначала кирпичом. По нашему убеждению, сверток в таком состоянии долго мог пролежать в земле.

Совсем неожиданно к вечеру в лагерь пришли машины за ранеными и больными. Эвакуация началась. Вместе с ранеными приказано было ехать многим врачам и фельдшерам. Должен был отправляться и Виталий Григорьевич Попов. Еще одна тяжелая разлука. Попрощались.

В госпитале осталось не больше 30—35 тяжелобольных и раненых, брать которых не решались даже немцы. С ними предложено было оставить одного фельдшера. Оставаться ему было рискованно. Все знали практику фашистов. Они не любили оставлять за собой следов. В самую последнюю минуту гитлеровцы обязательно уничтожили бы свидетелей. Так происходило в Вязьме, в Юхнове и во многих других местах.

У всех свежи еще в памяти зверства в Дебревском госпитале Семлевского района, о которых мы узнали от врача Владимира Ивановича Кутузова. Мы боялись за его психическое состояние. Да и не мудрено. То, что он пережил, поистине трагично.

Госпиталь, где он работал, размещался в здании школы. Всего там было 68 раненых и 12 больных. Врачом работал только один Владимир Иванович. Под натиском Советской Армии фашисты побежали. Госпиталь эвакуировать они не смогли, и туда явилось несколько фашистов, облили все бензином, двери заперли и подожгли. Протестов, просьб Кутузова никто не стал даже выслушивать. Крики, плач пленных не тревожили фашистов. Всех, кто пытался выскочить в окно, мерзавцы хладнокровно расстреливали из автоматов. Только Кутузова они взяли с собой и доставили в Рославльский лагерь.

И все же Сергей Григорьевич Смирнов добровольно решил остаться в госпитале с ранеными и больными. Желание как можно скорее попасть к своим пересилило. На всякий случай под полом третьего барака нами бы-

ла вырыта для него яма, обложенная кирпичом, чтобы в ней можно было спрятаться и переждать, если потребуется, несколько дней.

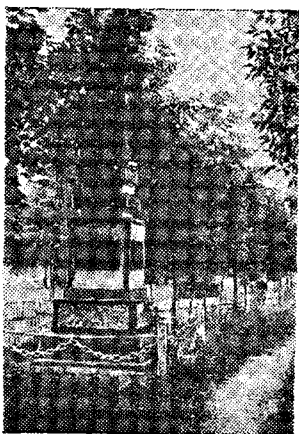
Как потом стало известно, Рославль был взят нашей армией настолько неожиданно для немцев, что они не успели уничтожить раненых. Смирнов же дал ценные показания советским властям о положении пленных в лагере и дошел впоследствии с нашей армией до Германии. После войны он возвратился к себе — в город Кунцево Московской области.

Однажды ночью в первых числах сентября нас всех подняли и приказали построиться. В лагере оставалось не более четырех — четырех с половиной тысяч человек. Это из несколько сот тысяч пленных! Некоторую часть из них немцы силой отправили на запад. Какая-то мизерная группа пленных добровольно пошла в услужение к немцам. Громадное же большинство пленных умерло от голода, холода и различных эпидемий и осталось лежать в длинных и широких пирамидах Вознесенского кладбища.

Сейчас на Вознесенском кладбище стоит обелиск, на нем написано, что на кладбище похоронено 130 тысяч советских людей. Второй обелиск стоит на территории бывшего лагеря. Там

тоже есть братские могилы. На втором обелиске значится, что здесь похоронено 70 тысяч человек.

Что будет дальше? Какой путь предстоял нам? Этого мы еще не знали. Поведут ли этапом или повезут поездом — все равно. К своей цели мы придем, это было нам ясно. Наша цель одна — лес и партизанский отряд.



Обелиск на братской могиле замученных фашистами людей.

Нужно будет — будем прыгать с поезда, но уйдем, не дадим увести себя на запад.

Стали выводить из лагеря. Выводили медленно и долго. Начался рассвет. У ворот комендатуры слышался большой шум. Оказалось, здесь открыли вещевые склады. О таких складах многие из нас и не подозревали. В складах хранилось постельное белье, одеяла; не то французские, не то голландские шинели серого и голубоватого цвета, но слишком уж маленького размера. На русских людей они не подходили. Все новое, еще не использованное. Когда немцы сумели перевезти шинели с запада, этого никто из нас не знал.

Пленных заставили взять, кто сколько сможет нести вещей. Нам показалась странной такая щедрость фашистов. Это не в их натуре. Но потом все разъяснилось.

Гитлеровская армия отступила поспешно, транспорта вывезти награбленное не хватало. Бросать же имущество им было жалко. Тогда комендант лагеря нашел выход. Он приказал раздать все имущество пленным. Пусть, дескать, донесут до конечного пункта, а там никогда, мол, не поздно снова все отобрать у пленных. Вот простой план фашистов.

Взял и я два новых шерстяных одеяла. Ведь в случае чего, можно и дорогой бросить, думалось мне. Нагруженных имуществом пленных выводили на Варшавское шоссе и строили в направлении на запад. Охрана колонны оказалась солидной. Человек 350 фашистов-конвойных, из них до 200 с автоматами, да около 80 полицейских. Стояли на дороге и два броневика, а вдоль дороги взад и вперед курсировали мотоциклетчики. Как видно, немцы готовились к долгому, длинному и не совсем безопасному для них пути.

Пошли. Уже после первого привала через 3—4 километра на земле осталось много одеял, шинелей и других вещей. Обессиленные, измученные люди сами еле-еле шли и не могли нести хотя и небольшой, но груз. Одно одеяло пришлось бросить и мне. Нас утешала такая мысль: в складе имущество фашисты могли сжечь, а тут население все равно подберет.

Шли медленно и тяжело. Начался дождь. Положение наше еще более ухудшилось. О питании никто и не думал. На большом привале, кроме воды, мы ничего не нашли. Многие из нас не смогли идти и оставались ле-

жать. Пинок конвойного и угрожающее движение автоматом делали дело, и пленный с трудом поднимался, но далеко не всегда.

Часам к четырем пополудни прошли не более 15 километров и остановились на ночлег. Всех нас согнали на большой двор, видно, в прошлом здесь размещался совхоз. На дворе стояло с десятков повозок с картофелем. На середине двора мы увидели колодец. По сторонам — несколько сарайчиков. Пленным разрешалось брать картофель и устраиваться тут же, кто как знает. Скоро затрещали сараи, и доски от них быстро растащили на дрова. Большое здание уцелело потому, что построено было из кирпича. Крыльцо же, ставни, двери этого дома тоже разломали. Подошло и местное население. Завязались переговоры. Охрана выступала в качестве посредников между пленными и населением. Пленные через них передавали населению одеяла, шинели и другие вещи в обмен на различные продукты. За такой обмен приходилось немцу или полицейскому отдавать добрую половину. Некоторым из нас население давало хлеб, помидоры, картофель без всякого обмена.

Все страшно устали. Большинство из нас выбилось из сил еще с первых километров пути и еле-еле дошло до ночлега. В начале этапа позади двигались несколько грузовых машин, подбирали отстающих и отвозили их в совхоз, к месту ночлега. К ночи отставших набралось много. Конвойные на глазах у всех застрелили трех пленных, потерявших силы.

Несколько километров желающих ехать на машинах не находилось, а потом снова хвост стал растягиваться. Опять в конце колонны начали раздаваться выстрелы, крики, шум. На многих из нас такое положение действовало угнетающе: люди боялись даже оглядываться.

Наша группа держалась хорошо. Ослабевающих и выбывающихся из сил мы сами подбирали и помогали идти.

Но, помню, я на ночлег пришел совсем больным как от того, что ничем не мог остановить расстрелы, так и от страшной усталости.

Спасибо Бутенко и Ешкалову. Они оказались намного сильнее меня. Им приходилось выходить на работу, да и вообще они физически оказались выносливей. Я же за все время пребывания в концлагере не выходил

из лагеря и физической работой не занимался. Да и изнурен, и истощен был так же, как и многие другие. Вот и ослабел. Товарищи сварили суп, дали горяченького и мне. Один, без поддержки, я не был бы способен и суп себе сварить, да и что там говорить, пропал бы с первых же дней пути.

Подвели итоги первого дня. Бежать нашей группе не удалось. Леса еще лежали впереди. Мысль бежать занимала не только наши головы. Такая мысль владела, пожалуй, абсолютным большинством пленных. Петро Муковкин отправился на разведку к полицейским, расположившимся в кирпичном доме, около двора. Возвратившись, он рассказал:

— По дороге четыре человека сделали попытку бежать. Их поймали, и сейчас Макаров с Миллером их допрашивают. Макаров допрашиваемых избивал автоматом. Одному глаз выбил, а второму череп проломил. Били и автоматами, и пистолетами. Я видел, — говорит он, — они лежат в чуланчике страшно окровавленные, а двое даже без сознания.

Ночь прошла тревожно. Часто зажигались ракеты, раздавались крики, стрельба.

Утром нас подняли рано. О еде никто не думал, да и когда тут варить. Ноги и все тело страшно болели, даже рукой трудно было пошевелить. Подниматься не хотелось. Многих конвойные поднимали ударом пинка или приклада. Через час примерно вся колонна построилась на шоссе.

В голове колонны Макаров «держал речь». Мы стояли далеко и не слышали, что он там кричал. Хотя он кричал иступленно. Потом он отошел в сторону, ему подвели вчерашних беглецов, и он их собственноручно пристрелил из автомата. Трупы бросили в заранее вырытую большую яму. Ночью охрана застрелила еще 12 человек «при попытке к бегству». Прошли одни сутки, а человек около 50, вместе с отставшими, уже погибли. А ведь мы шли не зимой и по сравнительно легкой дороге.

Пошли дальше. Лицо горело, во рту все пересохло. Единственной отрадой являлся глоток холодной воды. Небольшую мою вещевую сумку взвалил себе на плечи Бутенко. Даже флягу я не мог нести. Ни о чем ни хотелось ни думать, ни говорить. Все казалось безразлич-

ным. Часа через два, однако, разошелся. Повеселело и на небе. Рассеялись свинцовые тучи, и выглянуло солнце. Одежда, вещи просохли. Стало легче идти.

Рядом со мной шли Юнин, Емельяненко, Ешкалов, Бутенко, Монов, Крицкий, Сипягин, Васильев и некоторые другие. Снова заговорили о побеге. Петро Муковкин утверждал, что гонят нас за Днепр. Если так, то по дороге обязательно будут леса. При удобном случае надо бежать, бежать и бежать.

— Вот что, товарищи,— сказал я.— Вряд ли нам удастся бежать всем вместе. Придется бежать маленькими группами по 3—5 человек. Адрес вы знаете— лес и партизанский отряд. Так и давайте держаться. Коллективного побега не надо ждать, удастся— давайте бежать. В лесах мы еще встретимся.

Мое предложение после некоторых споров все же одобрили и приняли.

Этап продолжался дней пятнадцать. Втянувшись, мы проходили иногда по двадцать километров в день. Стало уже привычным, что дневки и ночевки устраивались на открытых загонах, вблизи невыкопанных картофельных полей.

Когда перед Днепром комендант стал проверять имущество, то ничего не нашел. План немцев не удался. Вещи, взятые в Рославле, не были донесены даже до Рогачева.

Наша группа сделала несколько попыток бежать с этапа, но безуспешно. Ошибка заключалась в том, что мы все же хотели бежать все вместе, хотя и договаривались бежать маленькими группами. Нам жалко было расставаться. Хотелось прийти в отряд такой группой, которая была бы сплочена и могла бы сразу участвовать в боевых операциях. Несколько раз возникали планы разоружить охрану. Но к осуществлению такого плана мы приступили слишком поздно. Нам удалось нащупать среди полицейских людей, недовольных своим положением и готовых бежать с нами, да схватились мы уже около Днепра. А план хороший, и он мог быть вполне реальным.

До Днепра из общей колонны все же разбежалось около 600 человек. Убежать удалось и некоторым нашим друзьям. С тремя товарищами ушел Сергей Васильев; Михаил Потеев с двумя своими товарищами

сумел отстать и скрыться в Черикове. Остался на первой дневке после Пропойска Андрей Тимофеев, ушел Алексей Матусевич и еще некоторые не растерялись. Наконец все, кому мы были обязаны помочь, бежали. Наступала наша очередь.

ПОБЕГ

Загнали нас на обширный двор на окраине города Рогачева. Раньше на этом месте был, видимо, рабочий лагерь для пленных, обнесенный высоким забором и колючей проволокой. Даже наблюдательные вышки не были сломаны. В середине лагеря стояли большие сараи барачного типа. Первую ночь мы провели в закрытом помещении. Однако спать не смогли. Всю ночь в городе раздавалась стрельба, кругом лагеря трещали пулеметы и автоматные очереди. А артиллерия, расположенная на берегу Днепра, посылала снаряд за снарядом в большой лес, начинавшийся сразу же за городом.

Среди пленных шли разговоры, что кругом действуют многочисленные отряды партизан. Вот против партизан гитлеровцы и вели ночной артогонь.

Около меня собрались товарищи: Ешкалов, Крицкий, Муковкин, Бутенко, Сипягин, Емельяненко и другие.

— Ну что, дорогие друзья,— сказал я.— Дальше Рогачева не пойдем. Надо теперь же разведать обстановку в городе и выбраться маленькими партиями. На меня не смотрите. Если мне не удастся бежать, действуйте самостоятельно.

На другой день Петру Муковкину удалось пойти на разведку в город. Бутенко и Крицкий с такой же целью отправились в рабочую команду. Юнин и Ешкалов пошли в немецкую часть рабочими. Хотелось сориентироваться: каково положение в городе, много ли фашистов.

К вечеру товарищи возвратились из города. Крицкий и Бутенко принесли много свечей с тракторов. Они попали в ремонтную мастерскую, где не ремонтировали, а «раскулачили» 12 уже отремонтированных тракторов. Муковкину удалось нащупать нужных нам людей в городе. Он познакомился со связными партизан. Юнин и Ешкалов тоже провели разведку. Выяснили, что кругом Рогачева, действительно, стоят партизанские отря-

ды. Партизан много. Достаточно выйти за город, и уже попадешь в партизанскую зону, а туда гитлеровцы носа своего не показывают. Из города не возвратился В. А. Сипягин со своими товарищами. Значит, бежал. Не пришел и Дрожжин с группой.

Мы распределились по группам в 2—3 человека.

Еще одна тревожная ночевка, такая же беспокойная. Стрельба, как и в предыдущую ночь, не прекращалась все время.

Утром многие вновь вышли на работу. Прощаясь с друзьями, я знал: как пленных я их больше не увижу.

Я должен был выйти в город вместе с Муковкиным. Решили «поехать» за водой.

За водой нужно было ехать в город к колодезю. В бочку впрягалось человек по 15 пленных, и под охраной одного или двух полицейских, группа выезжала из лагеря. Мы решили поездку за водой использовать для выхода. Командовал группой полицейский Опухтин. Мы с Муковкиным ухватились за дышло, и бочка тронулась. Немцы, стоявшие в дверях, пропустили нас без разговоров и даже, как мне показалось, не сосчитали, сколько людей выходит за ворота.

Когда вышли в город и отошли метров 200 от лагеря, Опухтин командовал:

— Стой!

Все остановились.

— Вот что,— продолжал он,— два часа срока. Через два часа сбор всех около бочки, а сейчас ступайте в город и не попадайтесь на глаза патрулям. Ищите себе хлеба и чего хотите.

Я, Муковкин и Демидов пошли. Демидова Николая я и раньше знал. Он одно время служил в госпитальной полиции. Ничем особенно он не выделялся, правда, к пленным относился по-человечески. Несколько раз еще в лагере мы говорили с ним о положении пленных. Он и тогда жаловался на свою судьбу.

— Вы сами себе хозяин,— отвечал я ему.— За пребывание в полиции вам все же придется ответ держать, хотя вы и не истязали людей. В партизаны надо идти— вот путь вашего спасения.

Вскоре он из полиции вышел и был простым рабочим в лагере.

Теперь он увязался с нами. Пошли. Шли на окраи-

ну по адресу, имевшемуся у Петра. Зашли в одну избу. Там были женщина и девочка лет 12. Мужчин не было никого. Встретили нас дружелюбно, накормили.

Часа через два пошли на другую окраину, оттуда, как нам сказали, должны нас вывести из города. Нужный дом нашли скоро. На стук в дверь вышел молодой парень, мы попросили его показать нам дорогу в лес. Но он, как видно, испугался.

— Да вы идите одни. Идите вон по той улице все прямо и прямо. Выйдете за город, а там лес рядом. Немцы туда не ходят.

А сам проводник решительно отказался идти с нами.

— Что ж. Пойдем одни,— сказал я.

Пошли. Шли долго и осторожно. Часто останавливались. Заходили в дома. Демидов и Муковкин надели на рукав повязки полицейских, заранее приготовленные для этой цели еще в лагере. Они встали по обе стороны от меня, и мы шли, не вызывая сомнений у встречаемых. Казалось, что двое полицейских ведут пленного. Ребята исправно козыряли встречающимся немцам. Никто нас не задержал.

Вот уже скоро и дома кончаются. Вдали чернел большой лес.

Уже около самого выхода из города откуда-то показался пьяный немец.

— Ком, ком!.. — закричал он. В руках у него был автомат, а сам он покачивался из стороны в сторону.

Что делать? Не идти к нему — неизбежна тревога. Идти — может все дело провалиться. После некоторого раздумья решили подойти. Увидев повязки на рукавах моих спутников, немец закричал:

— Полицай! Полицай!

Ребята жестами и несколькими словами объяснили: дескать, идем за хлебом. Немец махнул рукой, приказывая идти в обратном направлении. Мы сделали вид, что послушались его, но, как только немец свернул на другую улицу, пошли своим путем.

Вот и крайние дома. Почти рядом и лес. Но на огородах немцы рыли окопы. Выйти из города у них на глазах трудно. Так хорошо все шло...

Зашли в ближайший домик. В комнате увидели

старика и девушку лет 20. Без всяких вступлений я прямо обратился к девушке:

— Товарищи! Помогите нам выбраться за город.

— Вы что, к партизанам хотите?— просто спросила девушка.

— Да,— отвечаю я.— А тут немцы на окраине.

— Ну что же, обождите немного, а потом я вас выведу,— так же просто отвечает она.

Через некоторое время девушка вывела нас на огород и говорит:

— Идите болотом. Там в кустах обождите до темноты, а потом в лес добирайтесь.

Болото лежало прямо за огородом.

Крепко пожав руку отзывчивой дивчине, я обратился к ней:

— Пойдемте с нами?..

— Нет,— ответила она,— мне деда бросить не на кого. Да я все равно там скоро буду.

Пошли к болоту. Идти предстояло метров около 300. Немцы нас заметили. Что-то закричали и замахали руками. Мы побежали. Раздались выстрелы. Затрещали автоматы. Пули ложились около нас, но мы только ускоряли бег и минуты через 3—4 были уже в спасительных кустах. Теперь нас ничто не пугало. Вода доходила до колен. Ноги мокрые, но мы не обращали внимания ни на холод, ни на сырость. В болоте просидели часа три, до наступления полной темноты. Немцы с окраины города ушли. Мы выбрались на дорогу за город и уверенно пошли в лес.

В лесу, на первой же полянке, сели, сняли сапоги, отжали портянки, растерли ооченевшие ноги, переобулись и пошли дальше. Идти глубоко не решились. Теперь мы свободные люди. Теперь уже в руки фашистов живыми не дадимся. В густых кустах, крепко прижавшись друг к другу, легли спать. Но спать не могли. На окраине, да и в городе, всю ночь снова продолжалась стрельба. Опять кого-то немцы обстреливали из орудий.

Встали утром рано. Пошли дальше. Лесок оказался небольшим. На окраине его стояла маленькая деревушка. Приблизились к ней и залегли на огороде. Хотелось знать, кто в ней?.. Есть ли немцы?.. Но так ничего и не увидели. Потом встали и пошли огородом

к хате. Около избы встретили женщину лет 30. Она нас не испугалась, как будто она привыкла видеть таких людей. И на наш вопрос: «Как пройти к партизанам?» ответила: «Идите прямо по дороге, там и встретите их. Партизаны часто у нас бывают, а немцы сюда не заходят».

Такой ответ нас окрылил. Мы забыли о еде и уверенно двинулись дальше. Легко стало на сердце. Все ликовало и пело. Дорога была накатанная, идти хорошо, легко. Солнце светило ярко. Шли мы около часа, не встречая никого.

И вдруг впереди из кустарников показались две подводы. Мы остановились. Остановились и подводы. С одной телеги слез человек, в руках у него оказалась винтовка. Мы осторожно пошли навстречу подводам. Около них стояло уже человек десять мужчин: кто с винтовкой, а кто с пистолетом.

Сближаясь, мы увидели людей, одетых в гражданское платье, с оружием в руках. У некоторых из них на шапках и груди алели красные полосочки.

— Партизаны! Партизаны! — закричали мы и побежали теперь уже без всяких опасений.

Люди, смеясь, тоже шагнули нам навстречу. Мы обнялись и от волнения не могли вымолвить ни одного слова. Нас спросили только — откуда мы и, услышав ответ — «из плена», стали дружески жать нам руки. Многие предлагали, кто табачку, кто хлеба, кто яблок, и помидоров.

В партизанском отряде мы встретили 27 товарищей из патриотической группы Рославльского концлагеря. Тут были и Емельяненко, и Юнин, и Сипягин, и Дрожжин, и многие другие.

Началась для нас новая жизнь — жизнь активной борьбы против фашистских мерзавцев.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

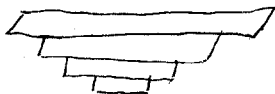
После бегства из плена я воевал в 8-й Рогачевской партизанской бригаде, а затем в рядах Советской Армии. С частями 3-го Белорусского фронта участвовал в уничтожении вражеской группировки восточнее Минска, в освобождении Белостока. Отгремели залпы орудий. Наши люди стали возвращаться к мирному труду. Возвратился и я к любимому делу — воспитанию детей. Разыскал жену, дочь, сына. Казалось бы, началась спокойная жизнь, о которой я мечтал всю войну, к которой стремился. Но я обязан был рассказать о преступлениях фашизма: так появилась книга.

Побывал я и в Рославле. Прошел по территории бывшего лагеря смерти. На могилах Вознесенского кладбища возложил венок в память погибших моих товарищей.

В райкоме партии меня познакомили с итогами Государственной комиссии по расследованию зверств фашистских захватчиков. По определению Государственной комиссии, в могилах Вознесенского кладбища похоронено 130 тысяч трупов советских людей.

На цементной ограде Вознесенского кладбища, около центральных ворот, кто-то мелом крупными буквами написал: «ГОРОД МЕРТВЫХ». Говорят, что эта надпись сохранилась со времен оккупации. Цифра 130 тысяч написана и на установленном в центре «города мертвых» обелиске.

Другой такой же обелиск установлен на территории бывшего лагеря, около корпуса № 2, где также находятся братские могилы. Надпись на этом втором обелиске указывает, что здесь погребено 70 тысяч советских пленных. Говорят, что в братские могилы центра города перенесено и захоронено еще 30 тысяч трупов наших советских людей, расстрелянных и замученных фашистскими мерзавцами. Значит, в Рославле фашисты замучили, расстреляли, голодом и холодом свели в могилу больше 230 тысяч человек.



На территории бывшего лагеря смерти сохранились большие серые кирпичные здания тогдашнего госпиталя военнопленных, кухни и дом, где находилась комендатура. Теперь здесь размещены городская больница и поликлиника. Вся территория, представляющая собой в прошлом пустыню, в которой гуляла смерть, засажена фруктовыми деревьями. Тянутся вверх липы, клены, кусты сирени...

Врачи предложили мне осмотреть больницу. Здание первого корпуса, где мне пришлось провести страшную зиму первого года войны, внутри немного переделано. Но когда я проходил по палатам, мне казалось, что я слышу стоны и хрипы умирающих от ран, голода и холода советских пленных. Долго оставаться в помещении я не мог. Тяжело. Я поспешил на воздух, в молодой сад, и там вздохнул полной грудью.

После выхода из печати первого издания моей книги в 1958 году я со всех концов нашей страны получил больше двух тысяч писем. Они приходили и еще приходят буквально со всех концов страны: из Москвы и Ленинграда, далекой Якутии и с Украины, из Красноярска и городов и сел Урала, Калининграда и с целины, из Архангельска и Астрахани...

Книга помогла разыскать тех немногих моих сотоварищей, с которыми вместе я испытал муки плена. Пишут родственники и друзья погибших, и, что мне особенно дорого, много писем от молодежи, — для нее, не знавшей ужасов войны, главным образом, писалась эта книга...

Пишут русские, украинцы, чуваша, якуты, азербайджанцы, грузины, армяне, ненцы, таджики. Нет ни одной национальности в нашей стране, чтобы она осталась равнодушной к несчастью наших людей, которых истязали фашисты.

Лагерь смерти в Рославле не представлял собою чего-то исключительного. Такие лагеря были в Борисове, Орше, Минске...

Модест Яковлевич Казаков из Ленинграда, бывший узник многочисленных лагерей, пишет: «Вы рассказали не только то, что видели Ваши глаза, но Вы рассказали о том, что было в других лагерях. Мне и моим товарищам пришлось все эти ужасы перенести в других местах и даже в лагерях самой Германии. Всеми ла-

герными порядками фашисты старались как можно больше уничтожить советских людей. И они в этом преуспевали». Василий Петрович Шলেখовецкий из города Андижана Узбекской ССР был заключенным лагеря на Украине. Он утверждает: «Книга Ваша воскресила в моей памяти все то, что мы пережили в Житомирском лагере. И я это не должен забывать никогда во имя памяти погибших моих товарищей». Павел Федорович Горшенин из города Чистополя (Татария) не был в лагерях у немцев. Но он с 1941 года по 1944 год прошел большой путь в тылу у немцев от Брянских до Лепельских лесов, когда его с группой в 19 человек забросили в тыл врага. Он утверждает: «Все, что было в Рославльском лагере смерти, я видел своими глазами во многих лагерях, созданных немцами на оккупированной территории. Там наши люди тоже тысячами умирали от голода, холода и жестокости фашистов». Такие же порядки были в «Уманьской яме» под Киевом и во многих других местах.

Не будучи литератором-профессионалом, я взялся за написание книги с единственной целью: показать людям звериное лицо фашизма, призвать всех, выражаясь словами замученного гитлеровцами Юлиуса Фучика: «...Люди, будьте бдительны».

Сознавая все несовершенство своей рукописи, я, тем не менее, могу быть доволен: меня поняли.

Из далекого поселка Тура Эвенкийского национального округа преподаватель Иван Иванович Суворов от целой группы учителей пишет: «У нас не было войны. Мы не видели ее ужасов и, прочтя Вашу книгу эвенкам, мы слышим от них одно: что нам сделать, чтобы не допустить повторения новой войны и создания подобных лагерей? На это мы говорим: трудиться и еще раз трудиться. В самом деле, кто дал право американским империалистам вооружать немецких фашистов в Западной Германии? Надо всем честным людям земного шара помешать осуществлению их черных замыслов против человечества. И лучшим ответом на это будет честный и добросовестный труд советских людей. Только так мы сможем предотвратить преступление».

Читатели проявляют вполне понятное беспокойство по поводу политики Америки. Леонид Ильич Пермаков из города Глазова в своем письме прямо указы-

вает: «Сейчас, когда американские империалисты разжигают новую войну, мы должны быть особо бдительными. Только при этом условии мы сможем не допустить новой войны и спокойно работать, жить и учить своих детей».

Солдаты из пограничной войсковой части Михаил Архипов и Евгений Русьянов заверяют: «Мы, советские воины, приложим все усилия, чтобы не повторился 1941 год, и дадим отпор врагу еще на границе. Живите и работайте спокойно. Мы всегда наготове». Александр Гвоздев из поселка Левково Смоленской области в своем письме дает обещание: «Я как комсомолец заверяю, что не пожалею своих сил, даже самой жизни, для защиты своей родной страны Советов. Я не хочу лагерей смерти».

И таких писем много. Когда наши советские люди и особенно молодежь будут еще более подробно знать о зверствах фашистских палачей, гнев удесятерит их силы, и наши люди будут с еще большей настойчивостью строить свое будущее.

Нашли меня и многие мои товарищи по плену. Виталий Григорьевич Попов теперь ведущий терапевт Центральной Московской клиники; Виктор Борисович Бражников — главный хирург Славянской больницы на Кубани; Василий Сергеевич Градский работает инженером в Туле; Иван Владимирович Шибакин — хирург Свердловской больницы, Георгий Константинович Павлов, экономист, живет в Воронеже; Александр Кузьмич Головинский, врач, недавно ушел на пенсию, живет в Грозном; Александр Васильевич Бутенко и Петр Прохорович Муковкин — колхозники в поселке Таловая.

Мысль всего нашего советского народа одна: мы помним и никогда не забудем наших павших друзей и товарищей. Их кровь нам дорога. И горе тому, кто попытается нарушить наш мирный труд, за который мы заплатили дорогой ценой. Пусть это знают все, кто еще не отказался от своих сумасбродных целей и хочет напасть на нас. Тогда ему несдобровать. Пошады не будет, ибо мы уже видим горизонты коммунизма и никогда не забудем, какой ценой куплено счастье нашего народа.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте свои отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении этой книги, а также свои пожелания автору и издательству.

Пишите по адресу: Смоленск, ул. Большая Советская, 12/1, Дом книги, Книжное издательство.

**ПРИБРЕТАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ КНИГИ,
ВЫШЕДШИЕ В СМОЛЕНСКОМ
КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ**

- В. Шурыгин.** Октябрьские зарницы (повесть).
Цена 72 коп.
- В. Кетлинская.** Мужество (роман). Цена 1 руб.
23 коп.
- В. Кудимов.** Мартын-живописец (роман).
Цена 60 коп.
- Е. Марьенков.** Вдалеке от больших городов
(повесть). Цена 71 коп.
- И. Соколов-Микитов.** Былицы (рассказы и
очерки). Цена 48 коп.
- В. Святченков.** Крепче стали, сильнее огня
(партизанская быль). Цена 31 коп.
- М. Твед.** Подпольный госпиталь (из записок
очевидца). Цена 40 коп.
- Н. Майоров.** Незабываемые дни (записки пар-
тизана). Цена 36 коп.
- Ю. Королькович.** Так пахнет хлеб (стихи).
Цена 10 коп.
- Н. Поляков.** Наташа (стихи). Цена 11 коп.
- В. Поддубный.** Валеркины початки (рассказ
и сказка). Цена 10 коп.

